

*НОВЫЙ  
Журнал*

*78*

*THE NEW  
REVIEW*

**STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT  
AND CIRCULATION**

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1964.
2. Title of Publication—The New Review.
3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.
5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.
6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 10025, N. Y.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York 10025, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 10032, N. Y.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. This items must be completed for all publications except those which do not carry advertising other than the publisher's own and which are named in sections 132.231, 132.232, and 132,233, Postal Manual.

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Single issue nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed	1200	1200
B. Paid circulation		
1. To term subscribers by mail, carrier delivery or by other means	835	948
2. Sales through agents, news dealers, or otherwise	320	—
C. Free distribution by mail, carrier delivery, or by other means	40	40
D. Total No. of copies distributed	1195	988

I certify that the statement made by me above are correct and complete  
*Roman Goul, Managing Editor*

**THE**  
**NEW REVIEW**  
**Новый Журнал**

---

*Основатели*

*М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН*

*С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ*

*Двадцать четвертый год издания*

КН. 78

НЬЮ ИОРК

1965

**РЕДАКЦИЯ:**

**Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ**

*NEW REVIEW, March 1965*

*Quarterly, No. 78*

*2700 Broadway, New York 25, N. Y.*

*Subscription Price \$9. — for one year*

*Publisher: New Review, Inc.*

*Second Class Mail postage paid  
at New York, N. Y.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Борис Зайцев</i> — Река времен . . . . .	5
<i>Дм. Кленовский</i> — Стихи . . . . .	29
<i>Гайто Газданов</i> — Пробуждение . . . . .	33
<i>Алексис Раннит</i> — Стихи . . . . .	56
<i>Н. Ульянов</i> — Последний . . . . .	59
<i>Ирина Одоевцева</i> — Стихи . . . . .	69
<i>Дмитрий Чижевский</i> — Две родословных Гоголя . . . . .	71
<i>Иван Елагин</i> — Стихи . . . . .	79
<i>Вера Булич</i> — Финские поэты . . . . .	81
<b>ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:</b>	
<i>Елена Ишутина</i> — Нарым . . . . .	96
<i>Н. Валентинов</i> — Встречи с М. Горьким . . . . .	120
<i>К. Померанцев</i> — Во что верит советская молодежь? . . . . .	140
<i>Икс</i> — Послание из СССР на Запад . . . . .	159
<b>ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:</b>	
<i>Д. Анин</i> — Вожди уходят, проблемы остаются . . . . .	192
<i>Ю. Гринфельд</i> — Экономическое соревнование СССР с свободными странами . . . . .	205
<i>Н. С. Тимашев</i> — Московские суды в наши дни . . . . .	224
<i>С. Кучеров</i> — Судебная реформа Александра II . . . . .	231
<i>Н. С. Трубецкой</i> — Творчество Достоевского перед каторгой . . . . .	253
<b>ПАМЯТИ УШЕДШИХ:</b>	
<i>Р. Г.</i> — <i>Н. В. Вольский</i> , <i>Ю. П. Денике</i> . . . . .	275

### БИБЛИОГРАФИЯ:

*Глеб Струве* — И. Анненский и Н. Гумилев. *И. А.* — О романтических цветах. *М. Поливанов* — A. Bogolepoff. Toward an American Orthodox Church. *Н. Тимашев* — G. Tschebotarioff. Russia, My Native Land. *Зоя Юрьева* — M. Friedberg. Russian Classics in Soviet Jackets. *В. В.* — О промышленной демократии. *Б.* — G. Fisher. The New Sociology in the USSR. Письма в редакцию.

---

Когда эта кн. Н. Ж. была уже сверстана, из Мюнхена пришла горькая весть о внезапной кончине Ф. А. Степуна. В след. книге мы напечатаем рассказ Ф. А. «Ревность», присланный нам Ф. А. за месяц до смерти, а также дадим отзыв на его последнюю книгу о русском символизме, вышедшую недавно в Мюнхене по-немецки. РЕД.

---

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET, NEW YORK, N. Y. 10013**

## РЕКА ВРЕМЕН

За оградой небольшой холм, на нем храм, несколько немолодых простеньких домов. С улицы ведет ввысь тропинка-лестничка, а вокруг разрослись каштаны, вечно переливается листва их, тени перебегают по земле, зеленоватый полумрак, зеленая мурава по склону, так до самой церкви.

Это русский монастырек имени великого Святого. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызванивают колокола, идут службы, в соседнем помещении юноши изучают богословие.

Немного не доходя до храма, в двух домах, нехитрых, по обеим сторонам дорожки, живут некоторые насельники из духовенства и светские профессора науки богословской.

В одном строении, от тропки влево, архимандрит Андроник, монах ученейший, автор трудов по Патрологии. Прямо напротив, через дорожку, тоже во втором этаже, окно в окно с Андрониковым — настоятель храма и прихода архимандрит Савватий. Оба хоть и архимандриты, а совсем разные. Но в весьма добрых между собой отношениях. Андроник вовсе еще не стар, но с проседью уже, худой, высокий, несколько чахоточного типа, с огромными прекрасными глазами, молчаливый и всегда задумчивый. Савватий много старше, сильный, плотный, румяный, с ослепительно серебряной главой, бородой белейшею. Вид его столь внушителен, что он прозван Богом-Саваофом. Сколько учен Андроник, столько жизнен Савватий. Сколь много книг у Андроника — любит он переплеты, *ex-libris* — столь много смётки житейской у Савватия — некогда управлял он в России даже церковным предприятием, а в средневековье мог бы собственноручно монастыри строить.

— Великой мудрости и познаний муж, говорит об Андронике Савватий.

— Настоящий кондовый, коренной монах, — говорит о Савватии Андроник.

Из своих окон через дорожку, перекликаются они иной раз, часто и бывают друг у друга.

Утро. Могучая, в седеющих волосах рука Савватия отворяет свое окошко, на подоконнике горшочек герани, вьющаяся зеленая «борода» спускается вниз. В прямоугольнике окна голова Микель-Анджелова Вседержителя.

— Хорошо ли почивали, дорогой отец архимандрит?

Савватий хоть и много старше, и к епископству представлен, и начальственно несколько выше Андроника в монастыре, но весьма уважает ученость и некий аристократизм соседа.

— Вашими молитвами, Владыко. Пока жив. Только сон неважный.

И Андроник устало, задумчиво смотрит на седую бороду Савватия, поправляющего на груди наперсный крест.

— Я хоть и не Владыка еще, но Первосвяtitель митрополит изволил недавно подтвердить, что к осени вполне можно ожидать из Византии утверждения.

Архимандрит Савватий давно мечтает о епископстве. Но дело это длинное. У Константинополя — неизменно называет он его Византией — немало и своих дел. Не весьма торопится Его Блаженство.

— Знаю, знаю, дорогой авва, что сон ваш неоснователен. От чрезмерных трудов научных. Я нередко наблюдал свет поздней ношью в вашем обителище. Иной раз подымешься на минутку, а вы всё над своими Отцами Церкви. Я науку весьма уважаю, но и здоровье необходимо плотской природе нашей.

— Да, — говорит Андроник: — вот Пасха выдалась, хоть и поздняя, а и погода прекрасная, и службы, говорят, прошли отлично...

— Душевно сожалею, что Пасхальную Заутреню не сослужили мне, о. архимандрит. Знаю, у вас свой приход, и сколь далеко от нас, на другом конце города, а всё же жалею, что не вместе встречали светлый праздник.

— Ах, кстати: нам сюда доставили артос, приношение.

О. Савватий надевает очки почти на кончик носа и будто вдаль, как на планету астроном, смотрит на Андроника. Лицо сразу становится серьезнее, внушительней.

— И хороший артос?

— Превосходный, и очень большой. Но ведь у нас артос есть уже. Что же с этим прикажете делать?

— А который же из них больше?

— Новый гораздо больше.

Архимандрит Савватий снял очки. Лицо его выразило некую удовлетворенность. Медленно протирая разноцветным платком очки, он ответил:

— Не оскудевает вера православная. Дай Бог здоровья дарителю.

— А как же быть с прежним артосом? Ведь нам два не нужны.

Савватий медленно вложил очки в футляр, цветной платок вложил в карман подрясника, где много чего может поместиться, неторопливо ответил:

— А прежний, дорогой о. архимандрит, вмените в оптический обман. Пользоваться будем тем, который больше.

Лицо его приняло совсем спокойное, прочное выражение.

— Тем, который больше.

\* \* \*

О. Савватий занимает квартиру небольшую, всё же двести комнаты. Обстановка простецкая. В углу, конечно, иконы, в шкафу одеяния, туда же он думает упрятать епископскую митру, ее он почти уже присмотрел и вот-вот приобретет. В особой шифоньерке, тщательно запертой, чековая книжка — небольшой текущий счет — и кое-какие деньжонки. Скуп он вовсе и не был, но «златниц» не презирал, кое-что сберегал. «Дым есть житие сие, пар, персть и пепел», — повторял иногда. Всё же мощной своей натурой персть эту любил. Посты соблюдал, но в скоромные дни не прочь был «вкусить», иногда ездил к знакомым прихожанам и не без понимания пропускал другую, третью рюмочку «во благовремении».

У архимандрита Андроника одна комната, с крохотным чуланчиком-кухонькой. Его обиталище совсем не похоже на савватиево. Древнего письма икона в углу с неугасимой лампадой. Стены сплошь в книжных полках, книги затопятют комнату. Зеленоватый отсвет каштанов за окном дает ей полусумеречный, спокойный тон. Глубокая и как бы нерушимая тишина в этой келии, где недалеко от икон висят: портрет Константина Леонтьева, император Александр I на коне, Леон Блуа — все любимцы архимандрита. Разумеется, никак непохож он на рядового монаха, но и нечто весьма древнее и вековечно православное есть в его огромных, глубоко сидящих и глубоких глазах. Мать у него была старообрядка, святой жизни женщина, отец ученый.

Теперь, в преддверии лета, он особенно завален работой. Кроме экзаменов в Академии — читает он Патрологию — подготавливает международный научный съезд, здесь же в монастыре. Это нелегко. Переписка с Англией, Германией, не говоря уже о Франции. Хлопот много. Один ученый извещает, что придет, а потом извиняясь отказывается, другого надо убедить, что больше сорока минут читать нельзя, третий хотел бы знать, возможен ли тут режим питательный, разместить богословов этих по отелям, достать и златниц достаточно.

Но архимандрит упорен. И кроме лекций своих и Патрологий наводняет почтовый ящик письмами на разных языках, ходит по ближайшим отелям, хлопочет об устройстве кое-кого здесь же при монастыре.

Худеет еще более, но увлекается. Ему по сердцу вся эта затея — **его** детище — невиданный еще выход православия на европейский простор. Католические богословы, протестантские, французы, немцы, англичане встретятся в скромном российском монастыре, под иконой смиреннейшего Святого, в братском общении с православным духовенством и учеными православия.

Но спит Андроник из-за этих трудов всё меньше. И не об одном съезде думается ему в эти ночи.

Воспоминание невольно предо мной  
Свой длинный развивает свиток.

Архимандрит Савватий некогда был женат, служил священником, а когда жена скончалась, принял монашество. Оно пришло просто и естественно, в не весьма ранних годах. Много уже улеглось в натуре. Архимандрит Андроник в ранней молодости, из-за неудачной любви совершил прыжок, в минуту бедственную по отчаянию перескочил в другой мир. Был студентом, стал монахом. В одни сутки.

В эти летние дни чаще, дольше видел Савватий свет в окошке соседа. Про себя шептал: «Ах, ученость! Ученость! Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь неба и земли славы Твоя!»

Кое-о-чем в Андронике он догадывался. «Труден путь иноческий, труден», говорил вздыхая. «Помоги Господи!» — Переворачивался на другой бок, засыпал безмятежно.

\* \* \*

Дни раннего лета плыли как облака, тихо и незаметно. Каштаны как всегда осеняли горку Святого, зеленоватые их тени блуждали и по взгорью, по крышам домов Савватия и Андроника, по цветнику близ церкви — детищу архимандрита Андроника. В храме шли служения, хор студентов пел древние распевы, небогатый колокол однообразно вызванивал, что полагается.

Архимандрит Савватий вел храм в простоте, силе, спокойствии. «Чудный наш боровик, лесной дух», — думал иногда о нем Андроник. «Кондовый, народный... ну, это не из изощренных наших, простецкий, но он мне нравится». Ему нравилось даже, как безхитростно сосед желал епископства.

После службы в приходе к вечеру возвращался Андроник в келию свою в зеленоватом полумраке колеблющейся листвы каштанов.

Некогда был он иеромонахом в Сербии, с Балкан вывез пристрастие к турецкому кофе. И вернувшись, нередко варил его у себя в маленькой кухоньке — тогда к запаху ладана (им пропитана была его комната) примешивался благородный запах кофе — крепчайшего.

Раздается легкий, но и значительный стук в дверь.

— Аминь.

В растворенной двери седовласая голова на могучих плечах.

Зашел на минутку навестить усердного отца архимандрита.

Всегда рад, всегда рад видеть.

По благоуханию замечаю, что турецким кофейком утешаетесь. Знаю, по пребыванию в балканских странах приобшились вкусам их.

— Да и подкрепляет очень. Вот вы попробуйте. Кофе как раз готово, — Андроник выносит на подносе небольшой кофейник и две чашечки. Савватий грузно садится в старинное, вытертое кресло у стола.

— Вкушу охотно, хотя в балканских странах побывать не приходилось.

И два архимандрита не спеша, но сознательно принимаются за кофе, благоуханно дымящееся.

— Напиток сладостный, — говорит Савватий. — И точно: оживляет усталого человека. Вы, ведь, дорогой авва, в Сербии блаженной памяти митрополиту Антонию сослужили?

— Да, и сохранил о нем хорошее воспоминание.

Император Александр на коне и красавец Леонтьев молча смотрят со стен.

— Слышал я, что Владыка Антоний предлагал вам даже хиротонию во епископа?

Лицо Андроника делается серьезней, несколько суровой.

Предлагал.

— А вы?

— Отказался.

Наступает молчание. Архимандрит Савватий расправляет знаменитую свою бороду — точно серебряные струи текут меж его пальцев.

— Прошу прощения, дорогой авва: могу ли осведомиться о причине?

Лицо Андроника становится опять спокойным, как бы и

отдаленным: было — и прошло. Мало ли чего не было в его жизни? И утекло.

Отвечает он негромко, ровно.

— Не нахожу в себе способностей. Да и желания. Плохой бы я был архиерей. Вы меня знаете. Вот, службы в церкви, книги, рукописи, это мое, а управление епархией — другое. И молод я тогда был для епископа.

— Слышал я, что Первосвятитель наш и здесь предлагал вам митру?

— Совершенно верно.

Савватий замолчал. «Хоть и не так молод теперь, а отказался. Отец архимандрит упорен, его с места не сдвинешь. Что решил, то и делает», — подумал Савватий. «А может, и гордыня какая...» Но осуждения в этом не было. «Все — люди, все — человеки. У каждого свое».

— А вот я, грешный, не отказываюсь. Не скрою, дорогой о. архимандрит: с неким нетерпением даже ожидаю. Из Византии вести хорошие. Но не торопятся.

— Я очень рад буду. Вы отличным будете епископом, у вас и опыт, и жизненность и вы достаточно потрудились для действия церковного. Всячески вам желаю успеха и здоровья на более обширном поприще.

Андроник встал во весь огромный свой рост и показался уж особенно худым и длинным. Подошел к уголку комнаты, достал бутылку, из кухонки принес две посребренных чарочки.

— Хочу приветствовать вас сливовицей, только что из Сербии прислали.

Савватий разгладил бороду.

— Весьма признателен. Вино веселит сердце человека, по слову Псалмопевца. Не упиваясь им, разумеется. Да, у вас всё особенное. И чарочки эти даже.

Они чокнулись — за здоровье будущего епископа Савватия.

— Здоровье, здоровье... — задумчиво сказал Андроник. — Великая вещь. И преходящая, как и многое. Вот, я натолкнулся нынче у Державина...

Оду «Бог» с юности моей знаю. Великой силы творение.

Да, конечно. Но я не о ней говорю. Незадолго до кончины написал он иное. Быть может, в минуту тоски... Вот... хотите, прочту?

— Прошу усердно.

Андроник вытянулся в кресле, слегка закинул назад голову. Руки с длинными, изящными пальцами положил на колени. Чуть прикрыл огромные глаза.

«Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей,  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается,  
Чрез звуки лиры иль трубы,  
То вечности жерлом пожрется,  
И не уйдет своей судьбы».

Савватий не сразу отозвался. Потом вздохнул, поправил наперсный крест — в движении этом была спокойная, непобедимая сила, как бы исходящая из самого креста.

— Написано знатно, дорогой авва, но не христианского духа. Господь больше и выше этого жерла. У Него ничто не пропадает. Всё достойное живет в вечности этой.

— Верно, верно... — Андроник совсем раскрыл свои огромные глаза и глядел ими на Савватия как бы потусторонне. — Я ведь и сказал: в томлении написано, в тяжкую минуту. А ведь натура наша не ангельская. Не только светские поэты, но и святые испытывали минуты Богооставленности. Думаю, автор «Бога» и написал это в такую минуту. Да ведь и накануне смерти.

— Очевидно, дорогой о. архимандрит, очевидно.

Потом прибавил вдруг.

— Кончину же да встретим в тишине, покорности.

Разговор перешел на другое — на церковные дела, приближающийся съезд.

— Вот и каникулы близятся, — сказал о. Савватий. — Видимо, вы в одиночестве будете принимать инославных. Я же приглашен на некий летний отдых в семью состоятельного прихожанина, в окрестностях града сего.

Через полчаса, уходя уже, архимандрит Савватий вдруг рассмеялся.

— Беседовали мы и о значительном, и о нашем житейском, а мне сейчас, неведомо почему, вспомнился мелкий случай из довольно давних лет. Представьте себе, дорогой мой авва, при пострижении в монашество мне чуть было не дали престранное и неблагозвучное имя: Кукша. Вообразите себе! Был, действительно, такой святой, если память не изменяет, просветитель зырян. Великих подвигов, конечно, муж, но представьте себе... я — Кукша! Слава Господу, в последнюю минуту Владыка Ианнуарий отстоял. Савватий — это благолепно. Зосима и Савватий Соловецкие. Но Кукша!

И архимандрит Савватий вновь засмеялся, заколыхалась вся его могучая грудь. Андроник тоже улыбнулся. Да, епископ Кукша! «*Ça sonne bien*», подумал почему-то по-французски и взглянул на портрет Леона Блуа на стенке.

Когда Савватий ушел, архимандрит Андроник опять улыбнулся, несколько и с грустью. «Ведь придет же в голову такое имя для монаха. А всё-таки... в нем есть нечто и лесное, перво-бытное, в нашем Савватии Соловецком. Может и правда от Кукши». Потом мысли его вновь перешли на Державина. «Кукша этот, конечно, прав. Чужда вере нашей безнадежность стихов этих. Радость, радость! Но горестности разве мало? И как бежать от нее. А надо. Ему, седовласому, легче. Он весь отлит цельно. Вряд ли знает тоску».

На ночь, полураздевшись, опускаясь на колени, архимандрит всегда молился. Поминал ушедших, живых любимых, и о себе молился, о многим запутанной душе своей... стать бы детским, бездумным, ясным! И с Иисусовой молитвой на устах заснул, наконец. Но спал, как всегда, плохо. То боли какие-то в

желудке, то тоска, прежняя жизнь, тяжело дающееся монашество.

Утром он обычно чувствовал себя неважно.

\* \* \*

Лето подвигалось дальше. Каштаны зеленели вокруг Андроника, но стали появляться листья и коричневатые, сухие, скромно кружась падали на землю.

Лекций уже не было. Почти все разъехались или разбрелись на летний отдых — и студенты, и профессора. Прежде уезжал и Андроник, любил соборы Средневековья, музеи, заезжал в соседние страны. Последнее же время как-то осел в домике своем. «Сторожевой пес монастырский» — говорил о себе. «И садовник». Действительно занимался цветами особенно. Раздобыл редких роз, тюльпанов разных, вскопал землю, насадил всякого добра цветочного. Обложил клумбы камешками, в жаркие дни начала июля выходил с лейкой от своих Патрологий, в облегченном костюме (рейтузы времен войны, до-монашеские — жердеобразными казались в них длинные его ноги) — неустанно поливал свой уголок.

— Монашествующему весьма прилично цветоводство, — говорил архимандрит Савватий, благосклонно бороду поглаживая. Но сам этим не занимался. Пока еще не покидал надолго зеленой горки, но нередко ездил в гости «неподалеку, к усердному прихожанину». И по тону его при возвращении садовод мог судить, как его принимали. Если угощали хорошо, возвращался благодушный. Одобрял Андроника за садик.

— Пышно разрастаются насаждения ваши, дорогой о. архимандрит. Цветы — Божие детища. «Посмотрите на лилии...» Как в Евангелии-то сказано? Великая краса мира сего преходящего.

Но однажды Андроник зашел к нему как раз когда он вернулся от прихожанки какой-то, пригласившей его к себе. Он был не в духе. Ни о лилиях, ни о царе Соломоне речи не было, он даже довольно рассеянно взглянул на соседа, принесшего

ему новый номер церковного журнала. Наскоро поздоровался, прошел к себе в кухню.

— Прошу прощения, о. архимандрит, по слабости человеческой поискать должен, не осталось ли чего из снеди. Оскудела вера православная. Вообразите, приглашен был в небедный дом, даже весьма зажиточный, не столь от нас близкий, к лицам значительным... — и вместо обеда или закуски хотя бы — пустой чай с крендельками!

Но через несколько минут вышел уже более спокойный, жуя что-то.

— Слава Создателю, и дома оказалось чем подкрепиться. Пирожки с рыбой хоть и вчерашние, но довольно таки знатные. Приношение благочестивой старушки. Вот, не угодно ли вкушать...

И подал на тарелке Андронику изделия боголюбивой старушки.

— Весьма признателен, но не могу. Аппетита нет.

— От чрезмерных умственных трудов. А питаться вам, авва премудрый, следует. Ума палата, а физикой вы против меня не вышли.

Он засмеялся.

— Впрочем я поповской породы, крепкий. А вы барственной и ученой. Ведь ваш батюшка профессор были?

— Так точно, о. архимандрит.

О. Савватий, поев, несколько оживился.

— А вы знаете, какую я митру присмотрел.. и не весьма дорогую. Она, конечно, весьма подобна архимандричьей, но моя уже не без древности. Панагия же мне уже обещана одним лицом немаловажным. По последним письмам видно, что хиротония совершится ранней осенью, но не здесь, а на юге, где Первосвяtitель наш будут отдыхать у моря.

И как бы то ни было, мелкие ли, немелкие дела монастыря совершались, время съезда близилось. В соседних отельчиках появились иностранные головы, высокие воротнички из-под черного протестантов, сутаны ученых из Бельгии, спокойные лица англичан.

Как всегда, был молебен, торжественное открытие — Савватий передал всё в руки Андроника, сам уехал в более долгий отпуск.

— Трудно мне, многолюбезный авва, и по незнанию языков, и по непривычке, иметь дело с инославными. При том вполне на вас полагаюсь, зная усердие ваше и ясный ум.

Андроник кланялся и благодарил. Да, конечно, Савватий для такого дела неподходящ.

Но немало — и приятно — был удивлен, узнав, что Первосвяtitель, еще не уехавший на юг, намерен посетить съезд.

Митрополит Иоанникий был родом из северо-восточной Руси, из семьи скромного священника, лицом прост и некрасив. Некогда был миссионером, посещал инородцев. Ученостью не отличался, но всем видом своим худенький, невыигрышный, с несколько гнусавым голосом — простотой и легкостью являл облик древней православной Руси, даже вроде иконы. Жизни был высокоаскетической, веры незыблемой. И незыблемой доброты. (Иногда близкие отбирали у него его же собственные деньги, чтобы хоть что-нибудь сохранить ему же: а то всё раздаст).

Раньше он никогда на таких съездах не бывал. Как и Савватий, иностранных языков не знал, с инославными христианами общения не имел и можно было даже думать, что к «затее» Андроника относился прохладно. (Но Андроника самого ценил, он-то и предлагал ему уже здесь епископство).

День выбрал заранее, Андроника известили и о часе, и к тому времени, в перерыве между докладами наверху у дома Андроника ждала его уже группа — православные возглавлялись Андроником, католики и протестанты с любопытством смотрели вниз, на пологую лесенку-тропинку под зеленым осенением каштанов. Довольно точно у входной сторожки с образом Святого появилась небольшая группа: прибыл Митрополит. Белый клобук издали завиднелся над худеньким полудетским телом в черной простой рясе. Митрополит расправлял, поглаживал серо-рыжеватые усы, каким-то робким жестом, будто говорил: «Ничего, что я митрополит. Я такой же русский

человек Вятской губернии, как и другие, столь же грешен и подвержен смерти, как и все».

Его сопровождали кое-кто из духовенства, будто старались поддержать при подъеме на горку, но он легко, как-то невесомо взлетал, точно земля и не очень притягивала его. «Вот, восходит», думал Андроник: «а ведь сердце у него слабое, недавно был обморок». И действительно, человек этот, со слабым сердцем, питавшийся больше чаем да сухариками, почти птичьим полётом возносился кверху. Аббаты и пасторы с любопытством смотрели на него.

Архимандрит Андроник выступил вперед, для встречи. Встречу вызванивал и монастырский колокол, довольно скромный.

Митрополит улыбнулся, погладил пышные свои усы, слегка кошачьи, обнял Андроника.

— Рад видеть, рад цветению наук под сению Преподобного, — произнес довольно пронзительно носовым голосом.

И троекратно облобызал архимандрита, приветливо поклонился иностранцам.

— Рад видеть и инославных у врат нашей обители, ласково сказал по-русски. Андроник повторил по-французски. Инославные вежливо поклонились.

И тут произошло нечто небывалое. Молодой аббат, особенно внимательно, как бы с волнением всматривавшийся в еще приближавшегося снизу митрополита, вдруг теперь отделился от своей группы, подошел к нему, упал на колени и в ноги ему поклонился — прямо лбом бухнул в землю.

Митрополит быстро схватил его, Андроник поднял.

— Господь вас храни... что же это так мне. Зачем, зачем...

Митрополит явно смутился. Андроник был бледен, аббат тоже. Митрополит трижды его облобызал.

— Приветствую дорогого гостя, приветствую, пролепетал гугниво, сам не зная, что делать дальше. Но обошлось всё правильно: гурьбой направились в аудиторию, митрополит занял

председательское место, поправлял белый свой клобук, выравнял наперсный крест и панагию на груди, усы выглаживал. Андроник же начал собрание, в котором митрополит Иоанникий не понимал ни слова, но выслушал что полагается покорно.

\* \* \*

Вечером того же дня в комнате у Андроника сидел англичанин, католический богослов, читавший утром доклад. Он был тоже высок ростом, строен, не стар и спокоен. «Вековая культура», думал Андроник, наливая ему чашечку своего турецкого кофе.

Взглянув на Леона Блуа, богослов сказал:

— Вы поклонник его?

— Почему вы думаете?

Англичанин прихлебнул кофе.

— Мне так кажется. Вы вот и русский ученый, а вам близок этот трудный французский человек. Иначе вряд ли вы повесили б рядом с иконами портрет его.

Андроник серьезно на него посмотрел.

— Вы угадали. Мне нравится его тяжкая и одинокая жизнь, его дар писательский, такой особенный. Его отверженность. Хоть и католик. Но по-моему, простите, мало подходил к тогдашнему католицизму.

— Да, конечно. Это и есть слабое место католицизма. Надо быть шире и больше вмещать.

Архимандрит Андроник помолчал. Потом вдруг сказал:

Я хоть и русский, и для вас скиф, несколько и анархист...

Я вовсе этого не говорю.

Ну, другие. И в чем-то они правы. Но может-быть потому, что во мне и германская кровь, не то что одна знаменитая *âme slave*... ну, так вот, несмотря на то, что весьма преклоняюсь перед Леоном Блуа, ссорившимся постоянно со своей собственной церковью... впрочем, он, кажется, и со всеми вообще ссорился... Несмотря на всё это я как раз ценю силу, поря-

док и дисциплину католицизма. Единство его, крепость... то, чего у нас, православных, как раз мало.

Богослов не сразу ответил.

— Да, единство и сила у нас есть, конечно. Больше чем у вас. Многое есть у нас. И папа, и кардиналы, и ученые, и миссионеры... — но вот **такого**, как сегодня...

Он остановился. Продолжал потом в задумчивости.

— В белом клобуке... такого у нас нет.

У Андроника несколько перехватило дыхание. Гость молчал. Потом повторил негромко:

— Да, такого, к сожалению, нет.

— Но у вас есть тот, кто поклонился ему в ноги.

Богослов неожиданно перекрестился.

— Слава Богу, есть и у нас живые души.

Через несколько минут, в зеленоватом полумраке, он поднялся.

— Мне пора. Позвольте поблагодарить вас.

Архимандрит встал тоже. Лицо его нервно вздрагивало. Не сговариваясь, братски поцеловали они друг друга.

\* \* \*

Приближался день отъезда архимандрита Савватия на юг. Митрополит уже довольно давно жил там, в приморском городе. Хотя считался на отдыхе, но служил иногда в Соборе, хуленькая его фигура появлялась на амвоне с крестом. Пронзительным своим голосом, некрасивым, но трогательным в беззащитности, благословлял приморских старушек и бывших белых воинов. Но уже скоро надо было возвращаться. Савватий знал это и торопился с отъездом — задерживали разные хозяйственные мелочи и подробности облачения.

Накануне его отъезда архимандрит Андроник под вечер зашел в храм — службы не было, он хотел повидать кое-кого и в левую дверь выйти в библиотеку. Был он с утра в нервно-подавленном духе — это у него случалось.

В глубине церкви стояли ширмочки, над ними слегка виднелась серебро-белеющая голова Савватия. Он исповедывал. Невидимый грешник бормотал что-то. Жогда Андроник проходил

мимо, знакомый баритон серебряной головы произнес громко и раздельно:

— А велика ли была сумма?

Грешник невнятно залепетал.

Андроник содрогнулся: «Ну вот опять...» Он отлично знал, что больше всего уязвимы кающиеся по «не прелюбы сотвори» и по «не укради», но сегодня раздражило особенно это плебейское «велика ли была сумма». «Наверно растратил в Благотворительном Обществе или в Союзе» — и вовсе он не сердился на грешника, но задела убогая будничность жизни, даже самого Савватия. «Велика ли была сумма!» Если не велика, так еще ничего, а то уж совсем скверно. «Да, жизнь... это вот именно 'жизнь как она есть', без наших романтических и поэтических прикрас». И стоя в библиотеке, ища справку о Григории Нисском, не без горечи думал он о том, о чем не раз думал. «Какой я монах? Сам-то? Нервная баба...»

Вечером он зашел к архимандриту Савватию попрощаться — тот завтра уезжал. Теперь оканчивал укладывание, был сдержанно возбужден, краснота лица особенно выделяла серебро его волос. На столе стоял самоварчик («дар благочестивой прихожанки»), недопитый стакан чаю. Чемоданы уложены, в особой картонке ехала митра — с ней архимандрит никак не мог расстаться, не архимандричья, а епископская.

— Рад видеть дорогого соседа, сказал он. — Перед отплытием, так сказать, в дальнее странствие.

— И я рад пожелать вам доброго пути и всяких благ.

— Недостоин награждения, посланного Господом и не скрою, что не могу быть спокойным. Не могу. Чайку стаканчик? Еще не остыл. Утешите меня.

Но Андроник не утешил. Не хочется ему чаю, он зашел просто попрощаться, пожелать благополучия.

— Сердечно признателен, сердечно.

Архимандрит недолго посидел у Савватия. На прощание облобызались, он ушел. Савватий довязывал последние пустячки.

Андроник поднялся к себе. В комнате было полутемно.

Лампадка в углу пред иконою Богоматери не могла осветить ни Филарета, ни Александра I, ни Константина Леонтьева. Пахло сладковато и ладаном — было довольно душно.

Архимандрит отворил окно, сел около него. Длинные худые руки его лежали на коленях бездвижно. Всё говорило об усталости, оцепенении — обычный приступ уныния. «Что я, собственно, такое делаю, чтобы уставать? Григорий Нисский, томы Миня... Да, всё это надо, и без этого совсем бы уж... ах, жизнь моя не то, не то...» Он бы не мог сказать что именно должна быть его жизнь. «Председатель общества пессимистов» — в монашеской одежде! (И всё-таки, когда он исповедывал и говорил, наедине, пред Евангелием и крестом, глаза его сияли тем особенным светом, которого он хотел бы и для себя самого). Но потом начинались будни и серость.

Он положил голову и руки на подоконник, лбом к нему приник.

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!

К Иисусовой молитве, многократной, прибегал нередко, особенно когда было плохо. Тогда как-бы отходила действительность, окружающее, «велика ли была сумма?» — погружался он в стихию иную. Это облегчало.

Несколько минут так прошло. Потом он поднял голову. Высоко над ним, в просвете каштанов, сияла альфа Капеллы. «Да, скоро осень, и Сириус появится, и Орион». Звезды он любил. Они действовали на него успокоительно. «Всё пройдет, и меня скоро не будет на земле, но Господь, мир, звезды, и еще какой-то мир, неведомый нам, пребывает и пребудет».

Окно Савватия светилось еще. Андроник улыбнулся. «И он пребудет. В вечности. Кряж, древо прямое, корни в земле глубоко, но пребудет. И на земле долго ему жить. Старше меня, а надо мной будет Евангелие читать, когда я вот тут вытянусь навсегда».

\* \* \*

Савватий уехал, архимандрит остался один. Один со своим Леонтьевым, Александром Первым и Григорием Нисским. Писал много писем богословам иностранным. Сняв рясу, в во-

енных своих рейтузах времен белого движения, мало походя на архимандрита, поливал цветы. Иногда заходил в сторожку, вниз к Леониду Иванычу — привратнику, жившему в домике, на наружной стене которого, лицом к улице и входу, вделана была икона Преподобного, под стеклом. Смирренный Преподобный как бы осенял жилище Леонида Иваныча, бывшего некогда юристом, ныне скромного невысокого человека, не быстрого в движениях, тихого в разговоре — никак нельзя было представить себе, что Леонид Иваныч этот, с высшим образованием, служил в Петербурге не привратником, а по судебному ведомству. Ныне же молчаливо охранял обитель Преподобного, убирал комнаты архимандрита Савватия, подавал чай на подносе в заседаниях Совета Академии.

Этот Леонид Иваныч оказывался теперь чуть не единственным, с кем Андроник мог общаться.

— Скучаете, о. архимандрит, всё один да один с книгами со своими... — говорил Леонид Иваныч, подавая ему чашку чаю (у него Андроник даже чай пил довольно охотно, хотя вообще признавал только крепкий кофе).

— Вон все на отдых разъехались, а вы хоть бы куда...

— Никуда и не хочется, Леонид Иваныч. Да и здоровье неважно — то в сердце боли, то в желудке.

— Да, вот архимандрит Савватий покрепче будет. Теперь на юг уехал, архиереем приедет, наверно, еще прибодрится.

— Наверно. Он всех нас переживет, хоть и всех старше.

— Этого никто не знает, о. архимандрит. Кому какой конец назначен и когда — воля Божия. А наше дело — жить, кто как умеет. Получше, то есть, поблагодарнее.

— Правильно. Всё правильно.

— Знаете, как Апостол сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите».

Андроник вздохнул.

— Как не знать Павла, к Фессалоникийцам. Я сам эти слова люблю. И вот самое трудное, по-моему: «всегда радуйтесь». Молиться не трудно и благодарным быть нетрудно, а радоваться... как заставить себя радоваться?

Леонид Иванов помолчал, потом сказал робко:

— Может, это через смирение дается?

И окончательно заробел (куда уж ему, бывшему человеку, сторожу, учить ученого архимандрита!)

Но Андроник ласково взглянул на него, прекрасные глаза его посветлели.

— Верно, верно... — но смирение — дар, великий дар, не всякому дается. Стремиться надо, да как у кого выходит. Вот вы смиренный. Это Божия отметка. Избранности.

Тут Леонид Иванов вполне смутился. Так с ним еще никто не говорил.

— Что вы, что вы, о. архимандрит, какая у меня избранность.

Возвращаясь к себе, Андроник зашел к своим розам и тюльпанам. Но не поливал их, а сел на скамеечку, опустил голову. «Леонид Иванов всё потерял, жену, детей, родину, и из юриста обратился в привратника, а у него есть смирение, уныния же нет. А у меня, хоть я и монах, и доктор богословия и архимандрит, смирения как раз мало».

И он стал творить Иисусову молитву. Потом поднялся в свою комнату и отворил окно. По-прежнему недостижимые как Вечность сияли над ним звезды. Он вздохнул, почувствовал особенный прилив в душе, как бы смывающий и подымающий. Положил голову на подоконник, и вдруг почувствовал волну и радости, и умиления. В горле стояли слезы. «Благодарю Тебя, Создатель, за всю милость Твою ко мне, грешному». Он показался себе теперь совсем другим, почти ребенком.

\* \* \*

Бывший архимандрит Савватий, наконец, вернулся — теперь не архимандритом, а епископом. Бодр, свеж, от него исходило неудержимое архиерейское сияние. Скрыть его он не мог. «Лобызание» не только соседа Андроника, не только Леонида Иваныча, он как бы готов был обнять и расцеловать любого иностранного человека, проходящего по тротуару близ монастыря.

Чин хиротонии протекал благолепно, рассказывал он Андронику, попивая у себя чай с блюдечка — кончики серебряных его усов слегка орошались. — Вообразите, о. архимандрит, Собор там знатный, еще императорских времен, хор для провинции превосходный. Епископы съехались, стечение православных большое, храм переполнен. Первосвяtitель наш, знаете, он не Иоанн Златоуст и голос с гугнивей, но преисполнен святости и мира, столь просто и прочувствованно сказал, благословляя меня на новое поприще, обширнейшее прежнего, что уверяю вас, у многих на глазах слезы были, особенно у лиц женского пола. Да я и сам, отнюдь не женщина... — Савватий весело улыбнулся — я сам готов был проследиться. И по правде сказать: волновался. Знаете, сердце так и колотилось...

— Я уж буду звать вас теперь «Ваше Преосвященство», сказал Андроник, улыбувшись. — До вас теперь и рукой не достать.

Савватий благодушно рассмеялся.

— Что вы, что вы, дорогой о. архимандрит! Годы жили бок о бок, дружественно, никогда размолвки ни малейшей, и вдруг... Нет, я для вас всегда попросту о. Савватий.

Допив чашку свою, он обтер усы епископским уже платочком, поглядел направо, где на особом столике, покрытом темным бархатом, стояла новая его епископская митра.

— Благослови Боже на более высоком посту стоять прямо и твердо перед Господом, сказал он вдруг несколько поиному, почти торжественно.

Андроник склонил голову. «Вот и митрой доволен, и благодушествует, а есть в нем настоящее, неколебимое».

Переходя от его дома к своему, под теми же всё каштанами — вершины их слабо зашуршали под налетевшим ветерком — Андроник думал о том, как всё сложно, запутано и двойственно в человеке. «Да, может быть, в каждом из нас сидит два или больше человека. Иногда они живут мирно, а то вдруг ссорятся, противоречат друг другу. Всё-таки, у этого

сœur simple есть что-то основное, простецкое и сильное — и вера его проста, незыблема. Дай Бог здравствовать ему. Меня он переживет намного».

\* \* \*

Неделю спустя, около полуночи, когда архимандрит Андроник лег уже в постель, ожидая полубессонной ночи, в дверь к нему постучали.

— Кто там? (голос у него был недовольный).

— Отворите, о. архимандрит. Это я.

В полусвете лампы перед образом в углу, длинный и худой Андроник поднялся, отворил дверь, увидел Леонида Ивановича.

— О. архимандрит, пожалуйста к Преосвященному.

У Андроника забилось сердце. Леонид Иванович был какой-то другой. Что изменилось в нем, не сразу можно было определить, но изменилось.

Владыка заболели.

— Что с ним?

— Не знаю, — пролепетал Леонид Иванович. — Не то с сердцем, не то еще что... они ничего сказать не могут.

Андроник быстро накинул подрясник, перебежал тропинку, всё под теми же каштанами (но теперь казались они ему совсем другими, как и мрак этой одинокой ночи).

— Я у них нынче долго убирал в комнатах, — где-то сбоку говорил Леонид Иванович, и его голос казался Андронику немногим громче шелеста листьев вверху, где каштаны ограждали архимандрита и привратника от звездного бездонного неба.

— Владыка вдруг плохо себя... почувствовал, застонал, только успел лечь...

Войдя, Андроник включил свет ярче. Владыка Савватий лежал на спине, ничего владычного не было в этом крупном теле с серебряною бородой.

Он дышал, всё-таки, но тяжело и прерывисто. Если бы Андроник мог видеть сейчас свое лицо в зеркале, на него смотрели бы два огромных глаза на очень бледном лице.

Звоните сейчас же доктору, сказал он Леониду Иванычу.

Тот ушел.

Андроник остался. Взял руку Савватия. Пульс был еще, но очень слабый и неровный, нитеобразный. Да, вот оно, вот через что всем проходить. Глаза Савватия были закрыты, но лицо спокойно. «Епископ Савватий... переходит через реку». Архимандрит вздохнул, привычным жестом оправил низ рясы, чтобы не зацепиться, привычно вытянул вперед и вниз руки, и легко, согнувшись вдвое, прочертив головой нисходящую кривую, опустился на колени, лбом приложился к полу у изголовья серебряного Владыки.

В монастыре уже засуетились. Кой-где в саду замелькали тени, кто-то входил, выходил из квартиры Савватия. Дежурный врач прибыл довольно скоро, со впрыскиванием своим. Пульс немного поднялся, но к утру всё уже было кончено.

Теперь квартира была полна: студенты, заспанные профессора, священники.

Андроник и Леонид Иваныч долго, тщательно облачали Савватия. Андроник всё делал как-будто спокойно, молчаливо, лишь изредка негромко говорил Леониду Иванычу: «Выше... переверните побольше. Рука застряла». Преосвященный Савватий был нем, бездвижен. С ним что угодно можно было делать.

Когда совсем рассвело, Андроник сказал молодому священнику, кратко и как-бы начальственно:

— Евангелие. Первым читать буду я.

Позже главу укрыли черным крепом и лицо Савватия отгородилось. Нельзя было уже более увидеть его. Не был он более ни архимандритом, ни епископом. Мерно и торжественно читал над ним Андроник неиссякаемую книгу.

Потом передал ее молодому священнику. Да и другие были извещены, из иных церквей города приехали.

Архимандрит Андроник ушел к себе. Заснуть не мог, но лежал на нехитром своем ложе — здесь вдруг стал слаб, совсем не начальствен, так устал, так устал. «Митра его всё стоит там на столике, на него смотрит». Потом вдруг что-то детское,

нежное из давних времен проплыло в душе — мать обнимает после выздоровления от кори. «Милая, милая...» И опять залила нежность, до слез. «Ну, скоро теперь и мне, к ней, к маме». Через несколько минут другое: «А всё-таки я ошибся. Он обогнал». Но почудилось, что странная связь соединяет его с этим Савватием. «Удивительно, разве были мы так уже близки?» Но тонкая, не рвущаяся нить всё же существовала.

Весь этот день был Андроник в тумане. Несколько раз заходил к Савватию, вновь над ним читал. Теперь, днем, его иной раз раздражала суэта вокруг, приготовление, хозяйство смерти. Не нравились любопытные, их всегда привлекает кончина.

Раз донесся до него из другой комнаты негромкий, всё же голос: «Да, вот, воля Божия, как хотел епископства, а всего неделю и пробыл»... — Андроник поднялся и в дверях сказал, ни к кому не обращаясь, почти грозно:

— Прошу потише, здесь покойник.

Всю ночь ворочался он у себя на постели. Вставал, ложился, опять вставал, сидел на постели. В окно, через дорожку, виден был огонек в комнате Савватия. Начинало светать. Архимандрит решительно поднялся, надел рясу, умылся, причесал голову и бороду и неторопливо направился к Савватию. Был он теперь как-то собран, спокоен, точно тоже перешел грань. Становилось совсем светло. Когда он вошел в комнату Савватия, тот самый молодой священник, который прошлым утром принес ему Евангелие, читал усталым, тихим голосом. Савватий всё такой же был бездвижный. Черный креп попрежнему закрывал ему лицо. Он окончательно переправился.

Андроник молча взял у истомленного чтеца книгу. Хотя в комнате было почти светло, на столе горела еще лампа.

Он начал читать. Солнце подымалось выше, золото лучей пало на золото митры. Андроник был спокоен и далек. В нем звучал как-бы некий и не его голос. Чем дальше, тем торжественней он становился. И всё торжественнее золотили солнечные лучи скромные стены и скромные предметы комнаты. Андроник выключил лампу.

Он читал уже часа полтора. Вновь на дворе монастыря,

перед храмом и у входа в помещение Савватия появились насельники. По дорожке снизу поднимался румяный, крепкий священник, совсем еще не старый. Он вошел в комнату, перекрестился, земно поклонился Савватию.

«Вот, наступает час», — читал Андроник, «и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь: но мужайтесь; Я победил мир».

— Дозвольте, о. архимандрит, сменить вас. Я из провинции. Знал еще при жизни и почитал покойного.

Андроник поднял на него невидящие глаза.

— Да, пожалуйста. Разумеется, читайте.

Ему показалось, что это другой голос, не его. Через минуту еще иной, уже спокойный и ровный читал:

«Отче! пришел час прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».

*Париж, 1964*

*Борис Зайцев*

\* \* \*

Я не улавливаю знаков  
Иных, неведомых миров.  
Мой путь с другими одинаков,  
Я тоже им итти готов.

Но принимая непреложность  
Назначенного мне пути,  
Я верю всё-таки в возможность  
До невозможного дойти.

Пусть ранит этот путь камнями,  
Но я зато богат порой  
Загадочными черепками  
В пыли подобранными мной.

Какой чудеснейшей амфоре  
Из неизведанной страны,  
Сплетаясь в редкостном узоре,  
Принадлежать могли они?

Перебирая их несмело,  
Твержу я в помыслах моих:  
Как хороша должна быть в целом  
Разрозненная тайна их!

\* \* \*

Чем глубже ночь — тем утро ближе,  
Нам это сказано давно.  
Но если утра не увижу,  
А ночь врывается в окно?

Но если на последней грани  
Меж сном и явью естества  
Мне не прочесть еще в тумане  
Неразличимые слова?

Что мне тогда обетованье,  
Прекрасный, но напрасный зов,  
Неуловимое сиянье  
Недостижимых берегов!

Но почему порой оттуда,  
Где просиять потом должно,  
До нас доходит, вестник чуда,  
Уже какое-то тепло?

И как задолго до рассвета  
Перекликаются дрозды,  
Как, в полутьме проснувшись, летом  
Зашелестят уже сады,

Как послушник к обедне ранней  
Встает, едва забрезжит свет —  
Так и меня тот проблеск ранит,  
Которого еще здесь нет.

\* \* \*

После смерти будет по-иному,  
Новым зовам будем мы послушны  
И наверно ко всему земному  
Стану там я вовсе равнодушным.

Буду вспоминать без сожаленья  
Без тоски, без радости, без боли  
Все улыбки, все прикосновенья,  
Все земные воли и неволи.

Лишь одно (я тайно в том уверен)  
Сердце сладкой потревожит болью —  
Это горсть земных стихотворений,  
Окрыленных строчек своеволье.

Встречный ангел мне легко ответит,  
Объяснит волнующее чудо:  
«Это потому, что строчки эти  
Были на земле уже отсюда!»

\* \* \*

Расплачиваться надо за вино,  
За горсть зерна, за поцелуй беспечный,  
За всё, за всё, что здесь тебе дано!  
А за любовь? За ту тройне конечно!

Но вдумайся: не сто́ит-ли она  
Такой опустошающей расплаты?  
Она была ведь горячей вина,  
Необходимее, чем горсть зерна  
И всеми поцелуями богата.

Так не скупись на папиросный дым,  
На слезы, на отчаянье, на муку  
Слепых шагов по улицам ночным!  
Плати! Твой ростовщик неумолим!  
Вот он опять протягивает руку!

\* \* \*

Я знаю комнату, в которой  
Ты будешь плакать обо мне.  
Когда? Быть-может очень скоро,  
Уже быть-может по весне.

Мне будет всё тогда возможно  
И, знаешь, я к тебе приду,  
Но бережно и осторожно,  
И не во сне и не в бреду.

Ты не заметишь, засыпая,  
Но если на другой же день  
В окно ты улыбнешься маю  
И тронешь, проходя, сирень;

И станешь меньше, нелюдима,  
Одна по улицам бродить —  
Знай, это я вчера незримо  
Пришел помочь меня забыть.

*Дм. Кленовский*

# ПРОБУЖДЕНИЕ

“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer”.

*Вильгельм Оранский.*

Пьер Форэ уехал из Парижа скорым поездом, отходившим с Аустерлицкого вокзала в половине девятого утра. Это было второго августа. Третьи сутки подряд лил бесконечный дождь и в ночь, предшествующую отъезду, Пьер просыпался каждые два или три часа и всякий раз слышал всё тот же шорох влажных листьев под своим окном, против которого рос высокий каштан. Ему иногда начинала казаться нелепой мысль о поездке в отпуск: не всё ли равно, где мокнуть под дождем — в Париже или в какой-то далекой глуши, за сотни километров отсюда? Но билет был куплен давно и приходилось ехать, независимо от того казалось ли это целесообразным и своевременным.

В сущности, это вышло случайно. Вероятнее всего Пьер остался бы в Париже, если бы не встретил две недели тому назад Франсуа, того самого, которого в лице товарищи называли «сусликом», и который теперь был журналистом. Франсуа пригласил его в кафе, они сидели на террасе и разговаривали.

Франсуа сказал:

— Быстро проходит всё-таки время, а? Ты куда едешь на лето?

— Никуда, собственно, останусь в Париже.

— Почему?

Пьер пожал плечами и ответил, что ему никуда не хочется ехать.

— У меня идея, — сказал Франсуа. — Приезжай ко мне. Помещение у тебя будет бесплатное, расходы на еду будем де-

лить поровну. Я летом живу у чорта на куличках — никого вокруг, только река и лес. А? Что ты скажешь?

И он объяснил Пьеру, что несколько лет тому назад ему достался по наследству небольшой кусок земли в одном из южных департаментов: там было несколько деревьев, колодец и полуразрушенный дом с маленьким флигелем.

— Развлечений мало, — сказал Франсуа. — Тишина зато необыкновенная, только по вечерам кричат лягушки в пруду, недалеко. Газа нет, электричества тоже нет. Ты погружаешься в четырнадцатое столетие — без газет, без журналов, без радио. Деревья, вода и трава, больше ничего. И еще нечто вроде пещеры, где ты будешь жить — шершавые стены, земляной пол и хромая табуретка. Это тебе подходит?

Пьер согласился, не подумав и изменив на этот раз своей обычной медлительности в решениях.

Через несколько дней после этого он пожалел о своем согласии, но Франсуа уже не было, он уехал в Орлеан, откуда должен был отправиться к себе на юг, не заезжая по дороге в Париж и предупредить его о перемене решения у Пьера не было возможности. Он заблаговременно купил себе билет, уложил в чемодан всё, что было нужно и вот теперь, второго августа, он сидел в вагоне и ехал в эту самую глушь, о которой рассказывал Франсуа.

В его купэ ехал старый крестьянин со своими тремя сыновьями — молчаливые люди с загорелыми лицами и руками, в неловко сидящих на них городских костюмах явно купленных в провинциальном магазине готового платья — и какая-то толстая дама с двумя детьми: некрасивой девочкой лет десяти, которая то дремала, то читала книжку с картинками, и мальчиком лет семи, единственным пассажиром, не умолкавшим ни на минуту. — Мама, вот там стоит паровоз! Мама, почему он не двигается? А на нем нет механика? Нет, вот механик! И вот кочегар! А вот контролер! Почему наш паровоз не гудит? Вот идет дама с девочкой! Вот идет носильщик! Паровоз будет делать: ту-ту-ту! Почему мы еще не уезжаем? Ту-ту-ту! Осторожно, поезд сейчас будет отходить! Нет, он еще не отходит!

Толстая дама отвечала: Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Обветренные лица крестьян были каменно неподвижны. Пьера раздражали и голос мальчика и его детская глупость, но он тоже молчал. Он вышел в коридор, но там нельзя было протолкнуться, люди сидели на чемоданах, занимая проход, какой-то солдат просто лежал на полу, подстелив под себя газету. Пол равномерно вздрагивал от движения поезда. Пьер посмотрел вниз, на газету: под левым локтем солдата были видны слова «убийца из ревности», но следующие строки пропадали где-то между поясницей и спиной и только значительно ниже, еще в одном месте острым углом высовывался кусок столбца, на котором можно было прочесть: «Утопленница Луары наконец опознана. Речь идет о...» — Ту-ту-ту! — кричал мальчик.

— Да, мой миленький, — отвечала толстая дама. — Мама, ты видишь, идет дождь! Да, мой миленький. Мимо забрызганных стекол вагона мелькали мокрые заборы, люди под зонтиками, шагавшие по дороге, которая то появлялась, то исчезала, птицы на телеграфных проводах. Было прохладно и сыро. Пьер сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой, не выпускавшей из рук вязанья. Крестьяне ели хлеб с сыром и колбасой, отрезая каждый кусок перочинным ножом и поднося его ко рту, и запивали еду красным вином, которое расплескивалось в стакане от вздрагивания поезда.

За окнами вагона стелился влажный туман, пересекаемый тем же бесконечным дождем, пролетал белыми клочьями пар от паровоза, дымились смутно возникающие и тотчас исчезающие поля. В купэ стоял упорный запах овернского сыра, красного вина и чего-то несвежего и трудно определимого и от этого Пьера начинало тошнить. Он снова вышел в коридор, долго стоял там, но наконец устал и, вернувшись на свое место, сел и закрыл глаза.

Сначала он не думал ни о чем и только невольно вслушивался в равномерное вздрагивание поезда. Затем вдруг перед его глазами возникла — он никогда не мог понять потом, почему именно — маленькая книжка с твердой обложкой, кото-

рую ему подарил отец, когда Пьеру было девять лет, книжка сберегательной кассы с записанной в ней суммой в сто франков. В те времена его отец, — Пьер помнил его грузным человеком с отвисающими щеками, которые, казалось, никогда не были ни особенно небритыми, ни свежее выбритыми, — в мешковатом костюме, с палкой или зонтиком в руках, — в те времена его отец придавал большое значение сберегательным кассам. Это, впрочем, продолжалось недолго, и было вдобавок чисто теоретическим, но заняло известное место в той эволюции принципов, как он выражался, которая была любимой и всегдашней темой его рассуждений. Уже несколько месяцев спустя он говорил, что сберегательные кассы, это ловушка для наивных и доверчивых людей и спекуляция на скупости. Кроме того, у отца Пьера никогда не было денег, — ни в сберегательной кассе, ни где бы то ни было вообще, хотя он занимался коммерческими делами и всё жалел, что у него нет достаточного оборотного капитала. Он был необыкновенно словоохотлив, многоречив и отличался способностью говорить с жаром о чем угодно — о кулинарии, о принце Уэльском, о капитализме, о балете, о политике, о скачках, о литературе. Обо всем этом у него было очень приблизительное представление, но это не имело значения, потому что любой вопрос служил только предлогом для того, чтобы он, Альберт Форэ, мог как-то использовать ту непонятную и чисто словесную энергию, которая была для него характерна. Он как-то шутя сказал жене в ответ на ее очередной упрек в многословии:

— Можешь мне поверить, дорогая: когда я стану молчалив, это будет значить, что дело плохо. Ты это запомни.

Но несколько лет спустя, когда это действительно произошло, никто не вспомнил о его словах, которые оказались совершенно пророческими. Он замолчал, не произносил ни слова неделями и только изредка тяжело стонал. Он знал, что он умирает задолго до того, как это стало понятно окружающим — и когда он остался наедине с этой перспективой смерти, ему нечего было сказать, так как все слова были бесполезны. Он не думал об этом, ему никогда не приходила в голову мысль о

возможности какого-то праздного и воображаемого диалога со смертью, но он чувствовал ее неудержимое приближение и ждал конца с тем тупым и неизменным ужасом, который совершенно парализовал в нем всякое желание сказать что бы то ни было. Пьер очень хорошо помнил те тягостные минуты, когда он должен был входить в комнату, где лежал умирающий, — ее притворенные ставни, сумеречные очертания предметов и тяжелый запах, исходивший от больного. — Пойди к нему, — торопливо говорила Пьеру мать, — ты знаешь, как он всегда рад тебя видеть. Скажи ему, что у него сегодня лучше вид, чем обычно, это доставит ему удовольствие. — Пьер не знал, понимала ли она, насколько фальшиво звучало всё, что она говорила, но покорно ее слушался каждый день и произносил всё, что следовало, по ее мнению, произносить, никогда не получая никакого ответа: отец молчал в его присутствии так же, как всегда. Было совершенно очевидно, что приход Пьера не доставлял ему никакого удовольствия, так же, как было очевидно, что слово «удовольствие» давно потеряло для него всякое значение и он был больше неспособен его понять. За время болезни у него выросла густая черная борода, делавшая его неузнаваемым, и когда он наконец умер и Пьер увидел его последний раз, ему было нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что это худое, желтое лицо с черной бородой, незнакомое и призрачно неподвижное — лицо Альберта Форэ, его отца. И только много месяцев спустя Пьер, сидя один и задумавшись Бог знает о чем, вдруг вспомнил, что когда ему было двенадцать лет, он проходил однажды по Севастопольскому бульвару и увидел, что на террасе кафе сидел его отец, совсем непохожий на себя, с веселыми и мутными глазами, — рядом с полной молодой дамой в зеленом платье, которая всё время смеялась. Когда Пьер подошел совсем близко, отец схватил его за рукав, притянул к себе, — от него пахло вином и еще чем-то особенным, аптекарским, — и сказал:

— Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик.

И, наклонившись к его уху, прибавил шопотом:

— Никому не говори, что ты меня видел, а?

А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал обращаясь к жене:

— Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.

И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что имено имел в виду его отец. И когда о вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что всё сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемый, чернобородый труп.

Поезд продолжал идти, проникая, казалось, всё глубже и глубже в дождь и туман. Слова «сберегательная касса» опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. — Твой отец нас разорил, — сказала ему мать. — Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках... Что касается меня я всегда выполняла свой долг. — И она заплакала.

«Мы работали всю жизнь»... Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль и когда наконец казалось, что сделано решительно всё, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но кроме этого ее ничто не интересовало и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была неспособна сосредоточить свое внимание на фильме, который показывался, это ее только утомляло и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же — Не хуже, чем другие,

— независимо от того, что это было, — исторический сюжет, мелодрама или фарс.

Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, — полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:

— Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?

Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, — Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, — что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества: после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры — и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней всё-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном — пора бай-бай, Пьеро, мой зайчик.

На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч и было очевидно, что они ее совершенно не интересовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание, — необходимость экономии и всё, что было с ней связано, цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен — и что ее раздражало — и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тет-

ки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменила за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, — в общем это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном, глухом платье, похожем на рясу деревенского кюрэ, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было всё-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите: и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И всё-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой жонщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть — даже десятки лет тому назад — такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей всё, — дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.

И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал, и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на всё это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне

было написано от руки размашистым почерком: Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот восемьдесят второго года.

Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.

Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, — так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.

Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошера, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. — Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? И всё это было совершенно зря. Это было зря — потому что и приобретение загородного дома и проект кругосветного путешествия и всё остальное, это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, «мечта, которая рассыпалась прахом», — как сказал Альберт Форэ, — потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому всё ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что всё в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. — Они не зададут себе вопроса о том, каким путем всё это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? — Да, нас обокрали, — сказала мать. — Запомни это, Пьеро, и никогда этого не забывай: нас обокрали.

Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того, как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся. — После того, как нас обокрали, — вы понимаете, я говорю об этом позорном случае с теткой Жюстиной... — Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после то-

го, как нас обокрали... В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы и в особенности планы обогащения — путешествия, загородный дом, — на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи или наконец получив наследство тетки Жюстины. Другие способы составить состояние его мало интересовали и казались ему несбыточными — в такой же мере Пьеру было очевидно, что именно расчеты на выигрыш или на наследство меньше всего следовало принимать во внимание. И оттого, что Альберт Форэ всю жизнь верил со слепой наивностью в выигрыш или наследство, он вел свои дела с такой неизменной небрежностью. Он, впрочем, допускал возможность постоянной ошибки в своих расчетах на выигрыш: но в том, что он, именно он, получит наследство, он никогда не сомневался. Он верил в это еще и потому, что ему, как многим людям, казалось, что он, Альберт Форэ, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая выпала на его долю. Он был убежден, никогда об этом не думая, что ему естественно иметь в своем распоряжении крупные деньги, и что его теперешнее положение, — которое было бы понятно, если бы речь шла о ком-нибудь другом, — для него было особенно унижительно, так как у него должна была бы быть совершенно другая жизнь, — богатство, женщины и даже известность. Тот несомненный факт, что у него не было для этого решительно никаких данных и что он ничем не выделялся среди других, — ни знаниями, ни способностями, ни умом, не играл никакой роли — для него не существовал. Он знал, что не заслужил своей участи, которую считал печальной и знал, что эта явная несправедливость судьбы будет рано или поздно возмещена наследством тетки Жюстины.

После ее смерти в доме наступили дни особенного злого траура. Мать Пьеро часто плакала — по всякому поводу, иногда совершенно незначительному; но было очевидно, что

если непосредственной причиной этих слез было, например, разбитое блюдо, то объяснялось это всё-таки наследством тетки Жюстины. Отец не плакал и даже избегал об этом говорить, но с неестественной быстротой постарел и помрачнел и именно тогда стал жаловаться на боли в груди и начал по настоящему хворать. Всё чаще и чаще он приходил домой в нетрезвом виде и когда ему жена как-то сказала об этом, он ответил с такой искренне печальной интонацией, какой Пьер никогда раньше не слышал у него:

— Какое это может теперь иметь значение? Разве ты не понимаешь, что всё кончено?

Но вопреки ожиданиям его жены, дела его несколько улучшились и он приносил домой больше денег, чем раньше. Это было тем более удивительно, что он стал еще невнимательнее, еще небрежнее, пропускал важные свидания, не являлся туда, куда было нужно и вообще казалось махнул рукой на всё. Через год после смерти тетки Жюстины он слег — и больше не встал. Он так хорошо знал, что он умирает, что в тот день, когда он прервал однажды свое обычное тяжелое молчание, он сказал Пьеру в ответ на начатую фразу: когда, папа, ты начнешь выходить... — я выйду отсюда ногами вперед, сынок, ногами вперед, ты понимаешь, — и со стоном повернулся к стене. А мать всё прибирала, чистила, натирала полы, делая это автоматически и безошибочными движениями, и в день смерти Альберта Форэ она с утра начала мыть оконные стекла в столовой и вошла в комнату, где он умер, — в переднике и с тряпкой в руке, которую забыла бросить или положить куда-нибудь.

То, что больше всего запомнилось Пьеру, это лицо его матери, когда он как-то вернулся домой, через несколько дней после смерти отца. Когда он вошел в комнату, он увидел, что она сидела, опустив голову и беззвучно плакала. На ней было старое платье и вечный ее передник, в правой руке она опять держала пыльную тряпку. В ее низко склоненной голове, во всем ее теле была такая глубокая усталость и такое непоправимое несчастье, что Пьер почувствовал, как слезы навернулись

на его глаза. — Бедный мой Пьеро! — сказала она едва слышно. Он сел прямо на пол перед ней, обнял ее колени, как он дала, когда был маленьким и начал говорить ей, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что он будет о ней заботиться, будет работать и она не будет знать нужды. — Да, да, мой миленький, я знаю, — сказала она. — На тебя я могу положиться. Я не об этом плачу, Пьеро.

Он не решился расспрашивать ее. Ему всё было ясно и без этого: такая долгая жизнь, упорная экономия, постоянная работа, никаких радостей, кроме иллюзорной надежды на чудесное разрешение всех вопросов — тетка Жюстина — и всё это совершенно впустую. А начинать сначала — слишком поздно, нет сил и прожить второй раз жизнь нельзя. Так он думал тогда и решил сделать всё, чтобы облегчить существование матери. Ему оставался год до получения аттестата зрелости: но он не вернулся в лицей. Через две недели после похорон отца он уже работал писцом в небольшом предприятии. Он относился к своему делу с необыкновенной добросовестностью, которая однако вовсе не объяснялась его интересом к работе и его служебным усердием, как это думал его хозяин, неизменно мрачный и неразговорчивый пожилой человек, один из бывших клиентов Альберта Форэ. Через месяц он сказал Пьеру:

— Ну, знаете, могу только сказать, что вы непохожи на вашего отца. Совершенно непохожи, совершенно.

Пьер не курил, не ходил в кафе и на службу отправлялся пешком. Все свои деньги он приносил домой и в этом суровом воздержании от каких бы то ни было удовольствий он находил удовлетворение, заполнявшее его жизнь. По воскресеньям он сам натирал полы в квартире, никогда не забывал ни одного поручения матери и искренне страдал от того, что она, по многолетней привычке, вставала раньше чем он и приносила ему кофе в кровать. Она изменилась, постарела, стала медленнее в движениях, но чистила и мыла всё попрежнему. Иногда, в отсутствие Пьера, она разговаривала с соседками — всегда о том, какой у нее заботливый сын. — Я уверена, —

говорила она, — что даже если он женится, то будет так же хорош ко мне, как теперь.

Проходили однообразные месяцы, не принося никаких изменений. Пьер знал, однако, что его мать успела отложить небольшую сумму денег, — потому что теперь всеми средствами она распоряжалась бесконтрольно в отличие от того времени, когда был жив Альберт, который ей давал ровно столько, сколько по его расчетам было необходимо, чтобы не умереть с голоду, как он говорил шутя. Затем Пьер получил повышение: ушел помощник бухгалтера и он занял его место. Ему прибавили жалованье. Откладываемая сумма стала увеличиваться: два, иногда три раза в неделю мать теперь кормила его то кроликом, то дичью и начала говорить, что мужчине как-то неловко не курить. Затем, однажды, заглянув в свой бумажник, Пьер совершенно неожиданно нашел в нем пятисотфранковый билет, который она туда ему положила, считая, что молодому человеку нельзя ходить без денег. Он пожал плечами и билета не тронул.

В сущности, не было никакой необходимости, особенно теперь, — он это прекрасно понимал, — в таком суровом аскетизме. Но он настолько к нему привык, что для него было действительно трагедией заказать себе, например, новый костюм. Он вовсе не был скуп, но ему казалось, что он не имеет морального права тратить такие деньги, в то время, как его мать была лишена самого необходимого всю свою жизнь. Ему доставляло особенное удовольствие отдавать ей всё, что он зарабатывал, не оставляя себе почти ничего. Кроме того, он просто физически не любил деньги, ни кредитные билеты, ни монеты и очень хорошо понимал кассира, веселого, тридцатилетнего мужчину, который говорил:

— К деньгам я чувствую отвращение. Я их перебираю целый день и под конец дня меня начинает тошнить.

Пьер не перебирал деньги, он имел дело только с их цифровыми отражениями. Длинные ряды чисел проходили перед его глазами каждый день — задолженность, прибыль, отчетность, скидка, проценты, отчисления. В том, что все эти числа,

в их постоянных смещениях и метаморфозах, подчинялись неизменным законам, никогда не допускаящим ни малейшего от них отклонения, был какой-то успокоительный и почти философский смысл, было какое-то напоминание о повторности всего происходящего. Пьер иногда думал об этом во время работы.

Но вообще он думал сравнительно редко. Ему казалось, что это происходит от того, что знает мало вещей, которые заслуживали бы пристального и углубленного внимания. Политика его не интересовала, в книгах, которые он читал, он неизменно находил раздражавшую его искусственность построения, театра он не понимал. Где-то далеко от того мира, в котором он проводил свою жизнь, был другой мир, тот Париж, о котором он невнимательно читал в газетах — премьеры, балетные красавицы, кинематографические артисты, — знаменитые писатели, художники, скаковые поля, лошади, жокеи, министры, обеды на Кэ д'Орсэ. Всё это было неважно и неинтересно. Важно и значительно было то, как запомнились ему эти майские сумерки, когда он вернулся как-то домой и это забываемое выражение печали на лице его матери, низко склоненная ее голова и пыльная тряпка в ее руке.

Поезд опять остановился и снова двинулся. Глухо зашумела роща, пролетевшая перед мокрым стеклом вагонного окна, потом опять мелькнула мутная зелень полей и затем всё шло перед глазами неровные желтые стены какого-то обрыва, с темными пятнами кустов, росших на скользком откосе.

Пьер смотрел в окно, но то, что возникло перед его глазами, было непохоже на эту глиняную стену. Он отчетливо вспомнил другие, осенние пейзажи, сначала Нормандию, куда его повезли, когда он был мобилизован в начале войны, и где формировалась его часть, потом бельгийскую границу, бесконечные окопы, которые рыл саперный батальон, где он служил, письма от матери — дорогой мой Пьеро, у меня всё попрежнему... я всё думаю о тебе... бедная Франция... мне кажется, что ты, мой дорогой мальчик, меньше всего заслужил то, что происходит сейчас... мой дорогой Пьеро, отправляю тебе посылку... помни, что я всегда думаю о тебе... я знаю, что я вправе

гордиться таким сыном... Дорогой мой Пьеро... в моей жизни было мало счастья, но тем, которое было, я обязана тебе... если есть на земле справедливость, то Господь сохранит тебя...

Стояли жестокие зимние холода. Пьер спал, зарывшись в солому, проваливаясь в ледяную тьму и просыпаясь ранним морозным утром. Потом стало теплее, затем немцы начали наступление, говорили, что они давно обошли французскую армию, что всё кончено и непонятно почему оцепеневший саперный батальон Пьера остался на месте, ожидая неизвестно чего. Потом, в сумерках, лейтенант Робино сказал Пьеру:

— Форэ, нас предали, нас ждет плен и бесчестие. Я ухожу. Хотите идти со мной?

— Плен? — сказал Пьер, не понимая. — Плен? Бесчестие?

Где-то далеко был Париж, площадь Данфэр-Рошера, Мартина Форэ — его мать... дорогой мой Пьеро...

— Я с вами, господин лейтенант, — сказал Пьер.

Они шли больше двух недель и когда они подошли к Парижу, их уже никто не мог бы принять за военных. Робино был в потертом пиджаке, синей рубашке и бархатных штанах: на Пьере была рабочая куртка и слишком короткие полосатые брюки — они достали эту одежду у мэра небольшой деревни, морщинистого старика со свирепыми глазами, который накормил их — они не ели до этого двое суток — уложил их спать и утром пожелал им счастливой дороги, протянув руку с черными, крестьянскими ногтями. Париж давно был занят германскими войсками, но никто не задержал ни Пьера, ни Робино.

В квартире, возле площади Данфэр-Рошера всё было чисто и аккуратно прибрано, как всегда, и кровать Пьера была постелена так, как если бы ничего не случилось и он никогда не отлучался из дома. Город был на три четверти пуст, делать было совершенно нечего, и Пьер от скуки стал читать книги, которые нашел в библиотеке отца, бесконечно длинную историю культуры и труды о каменном веке. Потом люди начали постепенно возвращаться в Париж, а когда Пьер в десятый раз отправился посмотреть, не открывается ли предприятие, в ко-

тором он работал помощником бухгалтера, он вдруг увидел отворенные ставни, вошел и встретил хозяина, который пожал ему руку и отрывисто сказал:

— Жизнь продолжается, Форэ, несмотря ни на что. Мы возобновляем нашу работу.

Сначала они были вдвоем — хозяин и он. Потом стали появляться другие и к концу года почти все были на своих местах, кроме кассира, попавшего в плен и двух других служащих, исчезнувших неизвестно как и куда. Пьер сразу же был назначен старшим бухгалтером. Стояла суровая зима, на службе топили плохо, нехватало угля, зато дома была необыкновенная теплынь. Мать Пьера, как оказалось, запаслась топливом надолго.

Она жила теперь всё время в состоянии блаженного спокойствия, которого раньше не знала. Когда вся работа по дому была кончена, она садилась в кресло, против печки, брала вязанье и целыми часами сидела неподвижно, засыпая иногда на несколько минут и просыпаясь, чтобы вновь вернуться в этот теплый мир наконец обретенного счастья. Пьер был аккуратен, как всегда, уходил утром, возвращался к обеду, шел опять на службу и приходил к ужину. Раз в неделю он водил мать в кинематограф, остальные вечера он проводил дома, в долгих разговорах с ней. Он рассказывал ей о том, как идет война, что происходит в Ливии, приводил разнообразные цифры, на которые у него была профессиональная память, — тоннаж союзного флота, количество дивизий, добыча нефти, промышленный потенциал Америки. Он говорил ей обо всем этом, пока не замечал, что это ее не очень интересует. То, что имело для нее несомненный и понятный интерес, касалось вещей более непосредственных — ночных тревог, налетов авиации, того, что угрожало ее спокойствию. Пьер убедил ее в том, что район, в котором они живут, не подвергается никакой опасности бомбардировки и тогда она перестала бояться и во время тревог даже не спускалась больше в подвал. Он понимал, что от нее нельзя было требовать постоянного интереса к чему то, в сущности, для нее почти отвлеченному — далеким боям в

Ливийской пустыне или в глуши России. Это было ему понятно потому, что она была пожилой и усталой женщиной, и тот запас чувств и та сила восприятия, которые ей были отпущены природой, были давно исчерпаны почти до конца; и еще оттого, что собственный интерес к этим событиям был как-то ослаблен тем, что война вообще была ему органически противна. Это не помешало и не могло бы помешать ему выполнять то, что называлось обычно долгом перед родиной. Но огромные разрушительные возможности войны, вызывавшие у одних страх, у других восторженное преклонение перед силой, производили на него неизменное впечатление тягостности и бессмысленности. Он знал, что Германия должна была быть побеждена и считал, что достижение этой цели оправдывало всё, что происходило. Но тягостного чувства, которое его охватывало, когда он думал о войне, это не уменьшало. Он чаще говорил с матерью о другом — о своей работе, о том как он с ней справляется. Она в свою очередь рассказывала ему, где она покупает продукты, как всё дорожает и как трудно всё доставать. Она стала явно слабеть в последнее время и у нее начались сердечные недомогания, которые проходили довольно скоро, но время от времени возобновлялись. Доктор, осмотревший ее, сказал Пьеру:

— Состояние вашей матери не внушает немедленных опасений. Она может прожить до девяноста лет. Не могу от вас скрыть, однако, что этот срок нельзя установить даже с самой приблизительной степенью точности. Это может случиться завтра, или через месяц, или через тридцать лет.

Эта невозможность предвидеть ту или иную длительность жизни получила свое подтверждение в том, что мать Пьера умерла через три года после первого визита доктора. Пьера в тот день на службе вызвали по телефону, он подошел, взял трубку и услышал прерывистый голос соседки, мадам Росиньоль, знавшей его еще маленьким мальчиком:

— Пьеро, приходи сейчас же домой. Твоей матери плохо.

Он бросился бегом из конторы, спустился в метро и через десят минут был дома. Но он опоздал; она умерла в то время,

когда поезд метро, в котором ехал Пьер, подошел к станции Данфэр-Рошеро.

Пьер закрыл глаза. Это было два года тому назад. Первое время он всё не мог привыкнуть к пустоте и тишине своей квартиры. Замолк навсегда аппарат радио; Пьер знал, что его звук немедленно вызовет с болезненной силой в его памяти воспоминание о матери, при жизни которой радио всё время передавало под сурдинку лекции, легкую музыку, симфонии и концерты. Потом он стал привыкать к этому отсутствию звуков и теперь, уже давно, возвращение домой значило для него погружение в ничем непрерываемую неподвижную тишину.

Он не знал, что с собой делать, рано ложился спать, по-прежнему мало читал. Ему казалось, что жизнь его проходит теперь совершенно зря. До тех пор пока была жива его мать, его назначение состояло в том, чтобы ограждать ее от неприятностей, защищать от трудностей, беспокойства, нужды: теперь, когда ее не было, всё, что он делал, потеряло свой главный смысл. Но жизнь его не изменилась. Он попрежнему уходил каждое утро на службу, попрежнему получал жалованье и еще некоторое время тому назад это казалось важным и необходимым. Теперь для него стало ясно, что это могло иметь свое оправдание только в том случае, если служило для достижения какой-то цели. И эта цель теперь была отнята у него, — потому что сердце его матери ослабело и потом остановилось в день ее смерти. И прекращение этого мерного вздрагивания значило не только то, что она умерла; это значило — об этом он думал чаще всего, — что из его собственной жизни был вынут тот смысл, который наполнял ее раньше.

У него было несколько коротких романов — была девушка из соседней конторы, Одэтт, была другая, с которой он познакомился в кинематографе, Сабина; но всё это оставило в его памяти легкий осадок отвращения и после того, как он расстался сначала с Одэтт, потом с Сабинной, обе они говорили о нем с враждебной насмешливостью. Он встретил некоторое время спустя еще одну девушку, которая ему особенно понравилась — у нее было кругловатое спокойное лицо, покорные глаза,

очень точные движения и грудной голос. Но когда он узнал, что ее зовут Мартиной, так же, как звали его мать, он пришел в необыкновенное замешательство, несвязно извинился и перестал с ней встречаться; она не могла понять причины его необъяснимого поведения.

Вечером, ложась в кровать, он засыпал мгновенно и не успевал ни о чем подумать. В противоположность большинству людей, он погружался в раздумье, — когда это с ним случалось, — по утрам. Он вставал значительно раньше, чем это было необходимо, брился, принимал ванну, одевался, потом долго пил кофе, и всё-таки времени до ухода на работу оставалось еще много. Он сидел тогда перед столом и думал, что если бы у него была возможность выбрать любую профессию, и если бы он оказался достаточно способным, чтобы выполнить то человеческое назначение, которое ему казалось наиболее достойным, он стал бы врачом. И ему представлялась жизнь этого теоретического и предполагаемого врача, как его личная борьба против болезни и в конечном итоге против смерти. Победа над ней казалась ему единственным действительно важным долгом человека. Он воображал себе, — избегая клинических подробностей, останавливаясь на которых ему мешало отсутствие медицинских познаний, — ряд отдельных тяжелых случаев, — туберкулез, рак, обреченные больные и — благодаря усилиям врача — их медленное возвращение к жизни. Но всё это оставалось в области чисто умозрительных представлений, потому что он знал, что для такого назначения у него не было никаких данных. В отличие от Альберта Форэ, твердо верившего в свою особенную судьбу и в свое воображаемое превосходство над другими, Пьер был убежден, что место, которое он занимает в жизни, точно соответствует его способностям и что на большее он претендовать не вправе. Перед уходом на службу он быстро и небрежно осматривал себя в зеркало: невыразительные глаза, продолговатое, ничем не замечательное лицо, чуть-чуть отстающие уши. Воротничок его был всегда свежим; Пьер вообще отличался почти болезненной чистоплотностью и брезгливостью, — качества, которые в его жизни подвергались

многократным испытаниям, особенно в казарме и на войне, — но которых ничто не могло изменить. Он так же был чувствителен к дурным запахам и поэтому с трудом переносил метро. И теперь, сидя в купэ вагона, он был искренне рад тому, что путешествие всё-таки подходит к концу и что еще через некоторое время он будет избавлен от общества своих соседей-крестьян, которых сама жизнь лишала — в противоположность Пьеру — какой бы то ни было чувствительности к каким бы то ни было запахам.

На перроне маленького вокзала Пьер увидел Франсуа, который ждал его в своем длинном дождевике и с огромным черным зонтиком, который он держал над головой. Проклиная погоду, Франсуа взял под руку Пьера, у которого при выходе с вокзала никто не спросил билета — вообще вокруг не было видно никого из железнодорожных служащих и только силуэт смазчика маячил далеко впереди, возле паровоза. Вместе с Франсуа Пьер вышел на привокзальную площадь, где их ждала крестьянская двухколесная телега, запряженная тяжелым вороним жеребцом.

— Ты мне, старик, можешь не верить, — сказал Франсуа, — но вот я сижу здесь уже пять дней и за всё это время может быть часа два не было дождя. А что в Париже?

— То же самое.

— Да, национальная катастрофа в общем, — сказал Франсуа. — Ну, поехали.

Мокрый жеребец потащил телегу наверх по дороге, круто поднимавшейся влево от маленького городка. Копыта его звучно чмокали в глинистом грунте. С обеих сторон дороги были невысокие откосы; на откосах и дальше густо росли деревья, по листьям которых струился и лепетал дождь.

— Автомобильный транспорт у нас еще не налажен, — говорил Франсуа. — Если бы я тебя не поставил об этом в известность, то ты рано или поздно должен бы был это тоже заметить.

В лесу крикнула птица. Пьер поднял голову и прислушался, но крик не повторился.

Канализации в этой стране нет, — продолжал Франсуа. — Храбрые туземцы, конечно, не имеют представления о существовании ванн, — впрочем, что они с ними стали бы делать? Других удобств тоже нет. Вот, говорят, — цивилизация, культура, двадцатое столетие, национальное самосознание и прочая дребедень. А живут здесь люди совершенно так же, как жили их предки в четырнадцатом столетии. Теперь мы поворачиваем.

Телега свернула вправо и въехала в лес. Дороги больше не было: было две глубоких колеи, которые шли медленными изгибами. Когда Пьер оглядывался назад или смотрел вперед, он видел только деревья, обступавшие его со всех сторон. Не было слышно ничего, кроме шума дождя по листьям, тяжелого всхлипыванья лошадиных копыт и поскрипыванья телеги. Воздух был влажен и свеж. Струи воды давно лились за воротник Пьера, он вздрагивал и передергивал плечами. Ему казалось, что он заехал бесконечно далеко. И хотя он знал, что в двух или трех километрах от того места, где сейчас проезжала их телега, был городок с вокзалом, через который проходили парижские поезда, он не мог отделаться от впечатления, что попал в глубокую лесную глушь, где годами стоит неподвижная тишина, в которой медленно растут эти огромные деревья и где десятилетия следуют за десятилетиями, не принося с собой никаких изменений.

Ты о чем задумался? — спросил Франсуа.

— Так, ничего.

— Мы скоро доедем. Еще одиннадцать ухабов и мы дома.

Через некоторое время телега выехала из лесу. Пьер внимательно смотрел на вид, который открывался перед ним: поле, налево опушка леса и там, среди деревьев несколько низких одноэтажных домов. Он повернул голову направо и увидел, что поле кончалось крутым обрывом, под которым далеко внизу текла мутная от дождя широкая река.

— Красиво, — сказал он.

Франсуа пожал плечами.

Телега наконец остановилась перед домом; оба они

вошли туда и Пьер был представлен всему семейству, которое состояло из жены Франсуа, ее бабушки и двоих детей, мальчик лет семи и девочки лет пяти. Все они были одеты довольно небрежно. На жене Франсуа было просторное платье и было заметно, что она ждала ребенка. У нее было довольно красивое лицо с правильными чертами, но с тем выражением явной душевной незначительности, в определении которого было невозможно ошибиться. Ее бабушка была дряхлой женщиной с морщинистым лицом и мертвыми, пустыми глазами. Она, казалось, не вполне отдавала себе отчет во всем, что ее окружало, и долго не могла понять, кто такой Пьер и почему он здесь очутился и всё спрашивала, не кузен ли это Жорж.

— Какой кузен Жорж? — спросил вполголоса Пьер.

— Я об этом, милый мой, знаю ровно столько же, сколько и ты, — сказал Франсуа. — Насколько мне известно, такого кузена вообще никогда не существовало. Не обращай внимания.

Потом Франсуа показал Пьеру его комнату. Она находилась довольно далеко от дома, в маленьком флигеле, крытом черепицей, и точно соответствовала тому описанию, которое Франсуа дал Пьеру еще в Париже, — шершавые стены, кровать и хромая табуретка. В комнате пахло сыростью. Пьер поставил на пол свой чемодан и они вернулись в дом, где ему дали горячий суп, кусок жареного мяса и чашку кофе, после чего он поблагодарил жену Франсуа и ушел к себе.

Войдя в свою комнату он лег одетый на кровать и оставил дверь отворенной. В прохладном воздушном ее четырехугольнике струился дождь, на который он смотрел. Так он пролежал некоторое время и незаметно для себя задремал. Он проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он открыл глаза: прямо перед дверью — были уже сумерки — стояла какая-то женщина, как ему показалось, в рубашке, совершенно промокшей и прилипшей к ее телу. Нечесанные волосы беспорядочно свисали с ее головы. Она стояла спиной к свету и лица ее Пьер не мог рассмотреть. В ее необъяснимом

появлении, во всем ее виде и в странной ее неподвижности было что-то неподдельно жуткое, как ему показалось со сна.

— Что такое? Кто вы такая? — спросил он изменившимся голосом.

Она ничего не ответила и исчезла. Он поднялся с кровати и подошел к двери. В наступающей темноте он смутно различал ее фигуру: она медленно уходила под проливным дождем в сторону леса, — в рубашке, босая, с мокрыми волосами, падавшими ей на плечи. У него сильно и тяжело билось сердце. Он постоял минуту на пороге, потом затворил дверь и в комнате стало темно. Часто дыша от волнения, он разделся, лег в кровать и начал думать о ней, но тотчас же заснул крепким сном, похожим на оцепенение.

*(Продолжение следует)*

*Гайто Газданов*

## СТЕФАН ГЕОРГЕ

У вдохновенья нашего нет больше сил  
на десять строф, горящих не слабя, — я  
изваял лишь три, — но их огонь пронзил до  
сердца дуб, и блеском пальмы веет;

он голубой лозой ликует, смерть поправ, и  
мыслью светлой и надменной стынет. И  
выжата из всех крылатых горных трав и  
взломана в глубинах скал пустыни

слетает линия на дымный снег страницы —  
и стройным песнопением струится.

## ДВА РАССТОЯНЬЯ

Так долго пил мой взгляд и стих  
в молчаньи горечи прекрасной  
линейность узких рук твоих  
и гордый холод их окраски.  
Два расстоянья, две судьбы,  
как рифмой, сблизилась крылами —  
и я о холоде забыл,  
не знаю, как явился пламень,  
что ограждает наш союз  
и, не тускнея в стуже утра,  
рук наших радостную грусть  
сплетет беспamięтно и мудро.

## ГОРНЫЙ ВЯЗ

*Посв. Артуру Адсону*

И вечер настал. На колени склонились кусты,  
надвинулись тучи и черные ветры подули,  
тебя заслоняя — и вот я не вижу, где ты —  
страна моя, страх мой, тоска,  
моя Ultima Thule.

Меня покидаешь?

И я различаю едва  
и глаз твоих бледность, цветущих картофельным полем,  
и косы льняные, и облика льдистый овал,  
и поступь босую сомненья, безмолвия, боли.

Помедлишь еще?

Мое горло стянула тесьма  
согбенного месяца, душит бессонницей длинной.  
Кто друг мой последний?

Не ель, что надменна нема,  
не робость берез и не скорбная горечь осины.

То дерево помнишь, о Муза, —

я был еще юн  
и в юность мою оно подняло смелые ветви?  
Литавры цезуры, стремительной рифмы гарпун  
пусть ловят его тишину в пятистопные сети.

Горящею глыбой февральского солнца растет  
огромная крона твоя в отпылавшем закате, —  
и мой амфибрахий напрасно к виденью простер  
крылатые руны и строф нераскрытых объятя.

Тобой обожженный —

я пепел сжимаю скорбя.

Рука твоя тускло протянута мне из тумана.

Мой вечер настал. И я больше не встречу тебя,  
утраченной верности дерево, *Ulmus Montana*.

*Алексис Раннит*

*Перевод Лидии Алексеевой*

## ПОСЛЕДНИЙ

Лоси знали, что они боги. Над речкой, в лесу, сохранились их священные изображения, выцарапанные кремневым ножом по красному песчанику. В древности они снисходительно принимали поклонения жалких существ, ютившихся в землянках и столь же снисходительно отнеслись к их отступничеству, когда появились ложные боги. Но и после того, сотни лет, презренный человек трепетал и воздевал руки, когда белоногий зверь с ветвистыми рогами царственно выходил из лесу.

В те дни всё принадлежало лосям и не было границ их владениям.

Первая, чуть заметная тревога началась с Рюрика. Но тогда еще никто ничего не понимал. Лет через триста, пришли рыцари меченосцы; начался отход с побережья Балтики. В хронике доктора Тростиниуса из Упсалы сказано: в дни счастливого правления магистра Вальтера фон Платтенберга, лоси покинули владения высокомошного ордена и ушли за озеро Пейпус, в землю великого герцога Московского.

В те же годы, на берегах Наровы видели белого лося, о чем записано в Рижской Хронике. Его видели под Псковом и на Ловати, и под Ладогой. Везде появились надкусы сделанные им на коре осин и толстых ольх. Он первый обозначил границы лосиного царства. Они были объявлены вечными и неизменными после того, как родился лосенок с пятном на боку, воспроизводившим их очертания.

Но Ливонская война отогнала зверей от Нарвы, от Копорья; после Смуты потеряны были владения за Гдовом, а при Петре пришлось уйти от Невы и от Ладоги. Стал строиться Петербург.

Правда, в тревогах тех лет было много спокойствия. Петер-

бургский шум не долетал, столичная знать охотилась больше на зайцев, скакала по полям, в лес не заходила, а у мужиков не было ружей. Изредка выезжал из своего гатчинского дворца сумасшедший Григорий Орлов, он стрелял из семиствольного ружья, но ни одного лося не убил. Действительный статский советник Загорулько, представивший в Императорскую Академию Наук сочинение «Лоси в царствование императрицы Екатерины II» полагает, что время правления этой государыни было самым счастливым для них. «Токмо один волнительный и слезного рыдания достойный случай, возле селения Трохинского происшедший, омрачил счастливый век лосиного народа и тень зловещую, яко длань смерти на оный простер». Это, когда мужик топором зарубил лося, провалившегося по брюхо в трясину.

Новая эра открылась в царствование императора Александра I. Барон Фалькерзам скупил все леса бывших Шелонской и Водской пятин и сделался хозяином лосей. Он запретил их убивать и добился от Сената строгих указов, грозивших крестьянам судом и карами. Животные стали быстро размножаться. В деревнях бабы рассказывали ребятишкам, как отправившись в лес по ягоды, часто встречали красивых зверей с белыми ногами. Иногда проносился мимо целый табун, забрасывая их шапками грязи. Одной бабе лось угодил копытом в лукошко. Из поколения в поколение Фалькерзамы охраняли древних зверей, приучив их не бояться человека. Мызу свою поставили в лесу, вдали от больших дорог и с лета заготавливали стога. Когда зимой не хватало корма, лоси подходили к мызе и ели баронское сено.

Все кончилось в семнадцатом году.

Уже летом животные стали пугливы, бессмысленно переходили с места на место, а с наступлением зимы, подолгу прислушивались к шуму деревень. Возвращались солдаты с фронта с винтовками, с лентами патронов, пили самогон, плясали под гармошку.

В морозную январскую ночь последний Фалькерзам бежал со своей мызы. К весне, когда образовался наст, в лес двину-

лась армия оборванцев с ружьями. Каждый день падало несколько лосей. Сначала звери хотели податься в Эстонию, но там на границе стояли немцы. Тогда половина их забилась в глушь старопольских и ябургских лесов, а другие устремились к Волхову. Все оставшиеся в баронских владениях погибли, счастливые оказались те, что ушли к Луге и к Новгороду, где лосей никогда не было, не было и мысли об охоте на них. Мужики при виде их, больше дивились, чем хватались за оружие, а когда хватались, было поздно. Пало всего два лося.

С наступлением лета опасность вовсе миновала. Мужикам было самим до себя: по деревням рыскали продовольственные отряды, забирали хлеб, отнимали оружие. В лес никто не ходил и не стрелял. Родились лосята. Но зверям казалось, что в небольших зарослях и перелесках их видит весь мир. Тянуло назад, в родные места. Там шла война — наступал и отступал Юденич. Когда Юденич ушел в Эстонию, звери начали возвращаться во владения Фалькерзама. Там теперь было тихо, стрельба прекратилась. Уездные и волостные исполкомы искали и отбирали ружья у крестьян. Лоси ожили. Но их уже мало осталось. Знакомый лес стоял, как запущенный дом.

Сам барон Фалькерзам жил в это время в Англии и служил в Британском музее в отделе каталогизации русских книг. До него доходили, иногда, петроградские газеты из которых он узнал, что его мыза приспособлена под дом отдыха для членов губкома и губисполкома.

Профессор Чимков, ученик Кайгородова, написал в Красной Газете заметку «Лоси и пролетарская революция», доказывая, что сохранение остатков древних животных — в интересах рабочего класса. Ему отвечал заместитель председателя губпродкома:

— пролетарское государство не кунсткамера; сохранять в нем реакционные затеи прошлого, значит держать трудящихся в духовном рабстве. Что такое лоси? Баронское самодурство. Потеха. Советской власти не до потех. При проведении смычки города с деревней, в условиях неликвидированных еще остатков капитализма, опасно попадать в плен к вражеской идеоло-

гии. Зампред намекал на непролетарское происхождение Чимкова и во весь рост ставил вопрос: — состоит ли профессор в профсоюзе и аккуратно ли платит членские взносы?

Рабочие балалаечной фабрики целиком солидаризировались с зампредом и вынесли резолюцию протеста против вылазки классового врага.

— Долой лосей! Выше знамя социальной революции! Да здравствуют вожди продовольственного фронта!

Потом барон получил из Финляндии письмо от своего бывшего лесника и узнал, что у членов губисполкома, отдыхающих на мызе, возникла мысль об охоте. Пернатую дичь уже начали стрелять; зимой начнется охота на лосей. Но в эту зиму охота не удалась. Товарищ Гиршберг, заведующий канализационным отделом, чуть не застрелил товарища Дорофанкина, приняв его за лося. Последовало строгое распоряжение: всех кто в пенснэ — не допускать к охоте. Кроме того, в губ-кака стали поступать заявления о морально-бытовом разложении отдыхавших на мызе товарищей. Отправили тройку для расследования. Тройка непосредственно убедилась, как в морозную ночь, отдыхавшие, шатаясь, выходили из дому и дойдя до стогов начинали дружно выть, наподобие волчьей стаи. Дело замяли, потому что в числе завывавших оказался член бюро губкома партии.

За эту зиму не погибло ни одного лося.

\* \* \*

Барон Фалькерзам нашел, однажды, на своем столе письмо от герцога Портландского с приглашением присутствовать на церемонии установки мемориального камня в его владениях в Сутерланде, по дороге из Броры в Хельмсдаль, где убит был охотником Польсоном последний волк в 1700 году.

Съехалось много народа. Сэр Джордж Хьюдж, почетный член клуба, произнес речь. Он говорил о мистериальном значении события, случившегося на этом месте, два с четвертью века тому назад, и о том, что оно навсегда останется в летописях Великобритании.

— Быть последним, это тоже избранничество, — сказал сэр Джордж. — Последний, как и первый, отмечен знаком судьбы. Есть печальное величие в слове «последний», в нем расставание навеки, уход из мира того, чего никогда больше не будет. Последний — это завершение. Слава охотнику Польсону! Слава великому волку — страдальцу и предстателю за свой род перед вечностью!

Все сняли шляпы. Оркестр исполнил реквием.

Возвращаясь домой, барон думал о речи сэра Джорджа. Он и не подозревал, что в его прежних владениях родился лось, которому тоже суждено быть последним.

\* \* \*

Еще совсем маленьким, он перемахнул через лесной ручей с легкостью на которую не способны оказались его родители. По каждой встречной поляне пускался бегать с такой радостью, что у отца и матери не хватало духа остановить его. Он обожал лес, запах листьев, крики птиц, все древние места, по которым его водили, вроде той широкой прогалины поросшей вереском, куда лоси, с тех пор как существуют, сходились время от времени, сами не зная зачем. Видел и ту поляну, на которой происходили смертельные поединки вожаков. Однажды его привели к великой осине. Вся в струпьях от надкусов знаменитых предков, вся в преданиях об их подвигах, про которые шумели редкие листья. Только самые сильные прикасались к коре священного дерева, чтобы оставить отпечатки зубов на память потомству.

Родители с благоговением смотрели на эту летопись лосиной империи. Они были потрясены, когда их детеныш, поднявшись на задние ноги, сделал глубокий надкус рядом с надкусами предков. С этого дня им стало ясно, что он призван к чему то значительному. Они не пресекали больше его шалостей, позволяли резвиться, даже в таких местах, где чуяли опасность. Только когда он вздумал промчатся вдоль прямой, сколько глаз хватит, просеки, они громким фырканием вырази-

ли свой ужас. Просеку полагалось перебежать ночью, либо в сумерки, и то со скоростью полета птицы.

Лосенок любил дремать лежа где-нибудь в зарослях. Привалившись к боку матери, согретый ее теплом, он слушал зеленую повесть листвы, мечтал о лесной славе, о древесной империи. Но его снедала печаль родителей. Отец, забравшись в кустарник и забывши про корм, подолгу стоял, свесив великолепные рога. Мать тоже предавалась горькой задумчивости. Все встречные лоси гнулись под невидимым бременем. Зачем так часто бежали они десятки верст от случайного шороха или хруста валежника? И почему, прокатывавшийся по лесу выстрел наполнял их безумием?

Открылось всё зимой.

Как то раз, через поляну промчался лось с жалобно закинутой кверху мордой. За ним три человека на лыжах с ружьями, запыхавшиеся, потные.

\* \* \*

Ему пошел третий год, он превратился в стройного лося, но не покидал отца и мать. Чувствовал, что кроме них мало уже оставалось родичей.

Ближе к весне, когда с веток начали падать капли талой воды, двинулись всем семейством к Лисьей Горе, где стоял молодой, сочный осинник. По дороге срывали тонкие ветки с почками или торчащие из-под снега верхушки кустарника. Старый лось вдруг отпрянул, увидев цепь человеческих следов. Все трое ринулись прочь, не останавливаясь даже перед просекой, промелькнувшей, как вспышка света. Лосенку показалось, что это она, просека, грохнула на весь лес.

Матери больше не было. Снег сделался ноздреватым, грязным. Кое-где показалась прошлогодняя сухая трава. Начались тетеревиные и глухариные тока. Молодой лось отстал от своего отца. Он бродил по лесу томимый неизвестной мукой, испускал, порой, молящий крик. Раз впал в настоящее безумие:

выскочив из лесу в виду какой то деревни, набросился на покосившийся сенной амбар и повалил его.

Пришел в себя с наступлением лета. С этих пор, в тишине леса мерещились чуть слышные вздохи. Отца он не встретил ни разу. Других лосей тоже не попадалось. Как то раз, напав на следы раздвоенных копыт, почувствовал непреодолимое желание увидеть собрата. Целый день гонялся за неуловимым лосем. К вечеру почуял его близость, но подходя, хрустнул сухой веткой и увидел, как черная груда с топором вскочила и скрылась во тьме. Он не выдержал и жалобно замычал вслед убежавшему.

Зимой снова стали раздаваться выстрелы.

Профессор Чимков, потрясая новенькой профсоюзной книжкой и вскользь упомянув о своем недавнем посещении тов. Позерна в Смольном, выступил с разоблачением деклассированных элементов, истребляющих последних лосей. Ему удалось привлечь внимание Москвы к этому вопросу, но, как раз за связь с Москвой на него ополчились питерские газеты.

— Кто такой Чимков? Это примазавшийся. Он без году неделя, как в профсоюзе, а уже хочет учить закаленных в классовых боях товарищей. Он всегда ратует за сохранение проклятого прошлого.

Чимкова объявили внутренним эмигрантом и потребовали снятия с работы.

Но однажды все его гонители сами исчезли куда-то. Газетные передовицы, неожиданно, взяли Чимкова под защиту, называли «попутчиком», а уничтожение лосей признали грубой политической ошибкой зиновьевской клики.

Обрадованный Чимков выступил с новыми разоблачениями; он обратил внимание пролетарской общественности на Ваську Тюрина из деревни Вындыба — лодыря и самогонщика, как главного истребителя лосей. Под овином у него хранился обрез и несколько десятков патронов, оставшихся со времени нашего Юденича.

На этот раз Чимкова одернули, как зарвавшегося.

— Без перегибов! Мы должны уметь отличать активных общественников села от каменевско-зиновьевских прихвостней!

Но старания Чимкова не пропали даром. Сам Луначарский высказался за сохранение последнего лося.

\* \* \*

А он еще не знал, что последний.

После нового весеннего безумия, когда на его крики опять никто не отозвался, он принялся за поиски собратьев. Чуть свет пускался в путь, обнюхивал каждую примятую травку, вглядывался в каждую царапину на осинах. Из нор, из-под колод выглядывали острые мордочки, сообразительные глазки.

— Какой большой! И как он уцелел?

Смотрели с осуждением. Неуменше сделаться маленьким, вызывало вражду. Он еще зимой заметил, что волки перестали выть, терпеливо перенося голод.

Лисицы, полагаясь на свою хитрость и умение найти пищу самодовольно обособились. Вся прочая дрянь сама себя считала до того ничтожной и неинтересной для человека, что не опасалась за жизнь. Дятлу занятому весь день долбежкой деревьев невозможно было внушить чувства опасности. Надо было бежать от дураков-глухарей, усаживавшихся на вершинах и начинавших предательски чувывать, забыв обо всем на свете. Даже рыжие белки, перескакивавшие с дерева на дерево вызывали подозрение в намеренном колебании ветвей. Но самой подлой доносицей оказался сорока. Завидев его, она поднимала шум на весь лес и летела следом, указывая его путь.

С наступлением осени стало трудней укрываться от вражеского глаза, даже в такие дни, когда небо зацепляло за деревья своим грязным брюхом.

После снегопада, кляксами обозначились вдоль просеки следы Васьки Тюрина.

Как некогда его отец, лось начал часами простаивать в какой-нибудь ложбине. Тихо падавший снег образовывал сугроб на спине и навешивал на рога густые белые шапки.

Лось знал, что когда снега будет больше, появится враг.

Он чувствовал себя в силах уйти, запутать следы, утомить длинными переходами, но холодный сырой рассвет каждое утро твердил об одиночестве и о том, что оно хуже смерти.

По укоренившейся привычке, он избегал березовых лесов, где между деревьями далеко видно; прятался в еловых и сосновых зарослях. Шел сам не зная куда и зачем. Неожиданно оказывался либо у великой осины, на которой так дерзко оставил отпечаток зубов, либо на поляне, где происходили сборища лосиного народа. На одном из таких священных мест почувствовал, как достаёт сквозь снег копытами до земли. Это погрузило его в сладкое забытие. Он освободился от страха, понял, что скоро умрет и, что он единственный наследник лосиного царства. Обидной казалась лишь участь пасть от руки не охотника, а существа обутого в грязные опорки, осквернявшего снег желтыми плевками и махорочными окурками.

О нем пошел слух по деревням. Писали в «Красной Газете».

— Спасите последнего лося! — зывал Чимков. Но весь мир занимался троцкистско-зиновьевским блоком.

Тогда Васька Тюрин достал свой обрез из-под овина. Он не умел преследовать зверя, но знал его любимые места и мог целыми сутками просиживать в засаде, в укромной пуне, потягивая самогон.

Лось начал последний обход своих владений, чтобы навек запомнить и запечатлеть. Он верил, что запах пронизываемого солнцем ноздреватого снега, вкус готовых пробудиться древесных почек, рисунок ветвей на синем, вымытом небе и перспектива лесной чащи — никогда не умрут.

В яркий солнечный день, ветер пустил шумную молву по верхушкам о том, что последний лось идет поклониться красному выступу скалы над незамерзающим омутом речки. Как при проезде царственной особы, на него слетелась посмотреть шумная стая сорок, синиц, соек. Над поляной, от которой недалеко было до речки они подняли гвалт.

Раньше, он стороной обходил каждое открытое место, но сегодня вскинув рога, пошел прямо через поляну.

На середине, его как огнем прожгло насквозь.

Когда грянул второй выстрел, он уже мчался через кустарники и перелески, думая только о том, чтобы добежать до заветной скалы. В глазах мутилось. Сквозь сетку смертной сени, как сквозь сплетение ветвей, мелькнули — берег реки, черная прогалина омота с крутящимися воронками, с вулканическими бугорками воды, высокая стена песчаника на той стороне и торжественные силуэты предков.

Он был у себя.

Суетня сорок и синиц предупреждала о приближении врага, но мир, в котором жил Васька Тюрин, больше не существовал для него. Стекавшая по ногам кровь, уносила его в вересковые поляны вечности, к бессмертным осинам, к белоногим богам.

Убийца подошел близко. Он увидел стройного зверя, застывшего перед тысячелетней скалой.

Засаленный, никогда не чищенный обрез выстрелил.

Последний лось пал.

*Н. Ульянов*

\*\*  
\*

Но была ли на самом деле  
Эта встреча в Летнем Саду  
В понедельник, на Вербной Неделе,  
В девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,  
Как условлено было, а в пять.  
Он с улыбкой сказал: — Гумилева  
Вы бы вряд ли заставили ждать.

Я смутилась. Он поднял высоко,  
Чуть прищурившись, левую бровь.  
И ни жалобы, ни упрёка.  
Я подумала: Это любовь!

Я сказала: — Я страшно жалею,  
Но я раньше придти не могла.

Мне почудилось вдруг — на аллею  
Муза с цоколя плавно сошла.  
И бела, холодна и прекрасна,  
Так спокойно прошла мимо нас,  
И всё стало до странности ясно  
В этот незабываемый час.

Мы о будущем не говорили,  
Мы зашли в Казанский Собор  
И потом в «эстетическом стиле»  
Мы болтали забавный вздор.

А весна расцветала и пела  
И теряли значенья слова  
И так трогательно зеленела  
Меж торцов на Невском трава.

\*\*  
\*

*Продлись, продлись очарованье...*  
Ф. Тютчев.

Над золотою полосой заката  
Таинственно и чудно за звездой звезда...  
Да я, конечно, я когда-то  
В те баснословные года...

Но в установленные роком сроки  
Всё унесли сороки-белобоки —  
И молодость мою и деньги на хвосте.

И всё-таки признаться мне пора —  
Не в те года,

не в те, не в те —

Счастливей чем сейчас —  
Вот в этот золотой закатный час,  
Когда почти доиграна игра,  
Когда полнеба охватила мгла,  
Счастливей чем сейчас я не была.

*Ирина Одоевцева*

## ДВЕ РОДОСЛОВНЫХ ГОГОЛЯ

Николай Васильевич Гоголь родился 19 или 20 марта 1809 года в прославленном им позже в «украинских рассказах» селе Сорочинцах Полтавской губернии. Его мать отправилась в Сорочинцы, чтобы при родах воспользоваться помощью тамошнего врача, так как у нее были уже неудачные роды и даже дважды. Мать Гоголя, Марья Ивановна, урожденная Косяровская (1791-1868) была почти еще девочкой, когда вышла замуж за Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского (1777-1825), которого она пережила более чем на сорок лет.

Семья Гоголя носила, как видим, двойную фамилию Гоголь-Яновский и только последний представитель рода, Николай Васильевич устранил вторую часть фамилии, хотя и в школе и на службе он, как кажется, был более известен, как «Яновский». Это было, так сказать, тоже упразднением половины родового наследия и, как мы увидим, именно половины этого наследия, заслуживающей доверия.

Отец Гоголя происходил по преданию — тогда еще слишком свежему — из старинного польско-украинского шляхетского рода. Еще в начале 19-го века на Украине сохранялись названия чиновников, неизвестные великороссам, вроде «комиссар», «заседатель» (ассесор) и т. п. Гоголь употребляет их в своих украинских рассказах. Сохранялись и старинные названия сословий: официальное обозначение дворянства было всё еще «шляхетство» (в Петербурге это слово «вымерло» при Екатерине II-ой). Слово «дворянин» обозначало «однодворца», свободного не-крепостного крестьянина — и в этом значении это слово употребляет Гоголь в «Ночи под Рождество», упоминая «дворянина», отправляющегося за «медицинскую» помощью к знахарю Пацюку.

Градоначальник Сквозник-Дмухановский в «Ревизоре» праздновал свои именины «на Антона и на Онуфрия». Точно так же и Гоголь мог чтить своих предков в двух совершенно

различных направлениях. У Гоголя — две родословных; одна героическая, романтическая и «уходящая в глубь веков», другая прозаическая и отнюдь не «шляхетская», при том не восходящая далее 18-го века. Так как сам Гоголь, возможно, верил в первую из этих родословных, то стоит на ней остановиться.

Предание связывало род Гоголей с Остапом или Евстафием Гоголем, полковником Подольским, а позже Могилевским, полковником польской службы. «Полковник» в Польше был чином довольно высоким и на украинской территории исполнял обязанности вроде губернаторских. Остап Гоголь нередко упоминается в украинских «летописях» (так называемых «козацких»; собственно не в летописях, а в обширных очерках недавней истории 16-го и 17-го веков). Например, в 1655 году, когда он сражался на стороне поляков. Позже он был сторонником гетмана Дорошенко во время его безуспешной борьбы против Москвы и Польши; Остап Гоголь даже ездил как посол гетмана в Турцию, но после падения Дорошенко перешел со своим казачьим полком на службу к польскому королю Яну Собескому. По преданию, которому верили родители Гоголя, полковник Гоголь принимал участие в походе Яна Собесского под Вену в 1683 г. Как известно, этот поход завершился блестящей победой Собесского над турками, освобождением Вены. Память об этой победе хранит церковь около Вены, где помещаются всяческие реликвии польского войска, гербы польских шляхтичей, сражавшихся в войске Собесского под Веной и т. д. Память об освобождении Вены хранит также северное полушарие небесного свода, где имеется созвездие — «Щит Собесского» (по-латыни «Scutum Sobescii»), единственное созвездие из всех введенных в новое время, которое (в отличие от других, посвященных всяческим монархам того времени смогло удержаться на небе до наших дней; оно находится к юговостоку от известного созвездия «Орел»). С освобождением Вены связано также начало победоносного похода турецкого напитка — кофе — по средней и восточной Европе: офицер польского войска Кульчицкий, побывавший в турецком плену и там познакомившийся с кофе, был основателем первого Венского кафе.

Верили ли родители Гоголя преданию об участии их предка в освобождении Вены? Возможно, что верили. Это предание

повествовало и о том, что после победы над турками король Собесский пожаловал Остапу Гоголю титул гетмана. Семейное предание упоминало и потомков гетмана Гоголя: это его сын — Прокоп, его внук — Ян, и правнук — Демьян, учившийся в Киевской Духовной Академии, которая до своего преобразования в 18 веке была учебным заведением, предназначенным и для светских воспитанников; их бывало часто более трети. Как известно там учился и Ломоносов, и побывали даже всякие ученые старообрядцы. Демьян будто бы прибавил к своей фамилии «Яновский» по имени отца. Уже Ян перебрался в Полтавскую губернию (тогда «Полтавский полк»), а сын его, Демьян, стал священником родного села. Сын Демьяна, Афанасий, и был дедом Гоголя.

По архивным данным уже и Ян был в 1679 г. викарием церкви в городе Лубнах Полтавской губернии. Что «шляхтич», дворянин был священником на Украине, не может вызывать особого сомнения: в старой Украине духовенство не было замкнутым сословием, как в Великороссии. Св. Димитрий Ростовский был сыном «сотника» (офицера) польской службы, служившего согласно грамоте 1674 года тому же королю Яну Собесскому, что и Остап Гоголь; офицерская служба отца не помешала Димитрию Ростовскому (семейная фамилия его была Туптало) стать ученым, архимандритом, епископом и митрополитом, а его трем сестрам быть игуменьями трех женских монастырей на Украине. Иногда происходили и неожиданные переходы из одного, светского сословия в другое, духовное и наоборот. В 1692 г. «значковый товарищ» (точно также офицерский чин казацкого запорожского войска) Михаил Вуяхевич был избран архимандритом, а в 1715 г. протопоп Минокский стал «сотником» (т. е. офицером) в Новгороде-Северском.

Героическая родословная Гоголя вызывает иные сомнения и при ее проверке на основе исторических памятников рассыпается, как картонный домик.

К сожалению, эта героическая родословная, возводящая род Гоголя к сотоварищам Тараса Бульбы — мифическая. Это генеалогический роман, сочиненный довольно неискусно дедом Гоголя Афанасием Демьяновичем Яновским (еще не «Гоголем-Яновским!»).

Сочинен этот роман не из потребностей художественных, и даже не из желания связать свой род с героическим прошлым, а просто из практических побуждений, из необходимости иметь «шляхетскую» родословную, чтобы доказать свои права на русское дворянство. Доказать их на Украине можно было проще всего ссылкой на принадлежность своих предков к признанному в Польше шляхетскому роду. К 18-му веку и восходит значительное число таких «генеалогических романов», обоснованность которых сейчас по большей части даже трудно проверить.

Начатки русской геральдики, т. е. основание «геральдического департамента» принадлежит к времени императрицы Елизаветы Петровны. Как кажется, старейший документ этой официальной геральдики — это признание в 1744 году дворянства за шестью придворными будто бы польского «шляхетского» происхождения. Геральдическое ведомство верило геральдическим вымыслам тем охотнее, чем более «высокие» связи и протекции были у просителей.

Геральдическое ведомство поверило и генеалогическому роману, включенному в прошение о признании его права на русское дворянство Афанасием Демьяновичем Яновским в 90-х годах 18 века и признало род Гоголей-Яновских дворянским. У департамента герольдии тогда не было возможностей проверить материал, представленный Афанасием Демьяновичем. А теперешний исследователь заметит его недостоверность, правда, тоже не сразу. До последних лет встречается в литературе изложение героической генеалогической легенды Яновских, как **объективной истории** рода Гоголей.

Странно уже то, что в представленной Афанасием Демьяновичем генеалогии, полковник Остап Гоголь почему-то именуется Андреем. Затем упоминается его участие в походе Собесского под Вену в 1683 году. Между тем исторический полковник Остап Гоголь умер в 1679 г. и в венском походе могла принимать участие разве только его тень. Наконец родословная Гоголей-Яновских ссылается на грамоту польского короля Яна-Казимира, в которой упоминается сын Остапа — Прокоп Гоголь. Прокоп Гоголь неизвестен из других источников, но грамота, на которую ссылается автор генеалогического романа, несомненно подложная: Ян-Казимир отрекся от престола

в 1668 г., то-есть, за 6 лет до даты грамоты, в подлинность которой, возможно, верил Афанасий Демьянович. В сохранившихся документах упоминается внук Остапа Ян или Иоанн Гоголь, но он не Прокопович или Прокофьевич, а Яковлевич...

Вторая родословная Гоголя начинается именно с Яна Яновского. Мы уже проследили ее до Афанасия Демьяновича. Но и шляхетство Яна и его потомков подвергается некоторым сомнениям: все они, кроме отца и деда Гоголя, были священниками. Как мы видели, это не исключало их дворянства («шляхетства»), но на их дворянство нигде нет никаких указаний. Еще и брат Афанасия — Кирилл был священником, священниками были сыновья Кирилла, двоюродные дядья Гоголя, Меркурий и Савва. Гоголь упоминает обоих в своих письмах к матери: о Меркурии, претендовавший на часть наследства отца Гоголя, Василия Афанасьевича, именуется в письмах Гоголя «жадный поп», а о Савва, доставлявший Гоголю этнографические сведения, например, описание одеяния дядька — «почтеннейший отец Савва». И все нам известные предки и родственники Гоголя именовались Яновскими, имя «Гоголь» присоединил к своей фамилии впервые Афанасий Демьянович в своем генеалогическом романе, он первый «Гоголь-Яновский». Таким образом, все данные говорят за то, что отец Гоголя вышел из рода, в котором духовное звание было наследственным, во всяком случае, начиная с первого нам вполне определенно известного предка Гоголя Яна (Прокоповича или Яковлевича?) Яновского.

За «шляхетство» Гоголя говорили в департаменте герольдии не столько родословный роман и приложенные к нему документы, сколько аристократические связи Афанасия Демьяновича и его высокопоставленные родственники. Афанасий Демьянович (1738 — умер в девяностых годах 18 века) учился в Киевской Академии и в половине 18 века еще сохранявшей

свой всеобщий характер. За отсутствием университетов сыновья «шляхтичей» учились в Академии, позже в Переяславской семинарии (находившейся в Полтаве) и позже в Харьковском Коллегиуме (где учителем был одно время философ Скворода). Сыновья более состоятельных помещиков уезжали за границу, многие в гимназию в Бреславле, а иные в университеты: один исследователь показал, что с 16-го по 18 век вклю-

чительно в голландских и немецких университетах училось около 800 студентов с Украины; если даже половину их считать сыновьями польских помещиков, то и тогда цифра получится достаточно высокая, а многие ездили еще дальше, в особенности в Италию; в иностранных университетах учились многие из профессоров Киевской Академии в 17 и 18 веках.

Готовился ли Афанасий Демьянович к духовной карьере, мы не знаем, но он не принадлежал к «убоявшимся бездны премудрости»; как свидетельствуют его документы он «знал латинский, польский, немецкий и греческий языки» и в каникулярное время преподавал в семьях соседей-помещиков их детям латинский и немецкий языки; латинский язык играл еще значительную роль в официальных документах на Украине того времени: вождь повстанцев-«гайдамаков» Гонта подписывал свои показания с употреблением латинской формулы «*manu propria*» (собственною рукою).

Преподавание Афанасия Демьяновича в семье богатого и влиятельного помещика Семена Лизогуба закончилось романтически: учитель женился на своей ученице Татьяне Семеновне Лизогуб, которую он «увез довольно ловко», как позже выразился Гоголь о женитьбе Афанасия Ивановича Товстогуба на Пульхерии Ивановне (в «Старосветских помещиках»). Свадьба Афанасия Демьяновича Яновского состоялась без согласия родителей. Лизогубы принадлежали к высшему слою полтавского дворянства: отец Татьяны Семеновны был внуком гетмана, мать происходила из богатого и влиятельного рода Танских, отец ее был Переяславским полковником (т. е., как упомянуто, на современном языке он именовался бы губернатором). Родители примирились с неродовитым зятем, которому еще не было 19-ти лет. Татьяна Семеновна получила в приданое село Колиберду, которое несомненно из-за его своеобразного названия Гоголь упоминает в «Вечерах» («Вечер накануне Ивана Купала»), и хутор Купчино, который отец Гоголя, сын Афанасия Демьяновича, Василий Афанасьевич, переименовал в Васильевку. Там Николай Васильевич Гоголь провел детство и позже там жили его мать и сестры.

Афанасию Демьяновичу пришлось отказаться от педагогической деятельности и от, возможно, ожидавшего его священства, в пользу призвания более соответствующего традициям

его знатной новой родни. Он поступил на военную службу, впрочем провел ее в условиях мирных, но дослужился до довольно высокого офицерского чина «бунчукового товарища» (что-то вроде адъютанта при «полковнике»). В самом конце века украинские названия военных чинов были заменены российскими и «бунчукóвый товарищ» оказался «секунд-майором» (совершенно также, как Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках»). Кроме того он исполнял функции «полкового писаря», т. е. занимал также не незначительное место в гражданском управлении: «полк» было название административной единицы, приблизительно соответствующей «губернии», т. е. Афанасий Демьянович был почти вице-губернатором или по крайней мере чиновником особых поручений (употребляя позднейшую терминологию). Дворянскую грамоту он получил из департамента герольдии довольно поздно в 1792-м году (правда, по иным сведениям уже в 1784 году). Для этого надо было представить документы доказывающие права просителя на русское дворянство: эти документы, вероятно, в копиях и были составной частью генеалогического романа, составленного Афанасием Демьяновичем. Роману этому поверил департамент герольдии: ведь к родственникам просителя принадлежали такие семьи, как Лизогубы, Танские и еще более влиятельный Трошинский. Так стал дворянином и отец Гоголя — Василий Афанасьевич. Отец пытался записать сына в гвардию, но оказалось, что уже нельзя было **«служить по записи»**, как это было еще с героем «Капитанской дочки» Гриневым. Решили послать Василия Афанасьевича в Московский университет, но и из этого плана ничего не вышло. Можно было еще «по записи» служить в гражданской службе: Василий Афанасьевич оказался чиновником «в малороссийском почтамте по делам сверх комплекта»; возможно, что таких дел вовсе не было: Василий Гоголь получал чины, не исполняя никаких обязанностей и проживая вместо Полтавы, где находился «почтамт», в своем имении.

В 1805 (или 1808?) году он женился, как и его отец, весьма романтически на девочке-красавице, дочери соседней помещиков Косяровских, владельцев имения Ярески (которое также у Гоголя упоминается). Жену свою Марью Ивановну, которой еще не было 15-ти лет, он согласился на год оставить у роди-

телей, но вскоре взял ее на свой хутор Купчино-Васильевку. В истории семейной жизни родителей Гоголя есть также элементы легенды: ведь неизвестен даже год их женитьбы, сомнительны и данные о дате рождения Марьи Ивановны (единственным свидетельством является ее могильная плита). Уже до рождения Николая Васильевича в 1809 г. Марья Ивановна будто бы уже имела двух детей, которые по одному свидетельству «оба родились мертвыми», по другому «ни один из них не жил более недели» (странным образом **оба** эти разноречивые сообщения записаны со слов самой Марьи Ивановны). Именно поэтому перед родами третьего ребенка она поехала в соседнее село Сорочинцы, где был врач, помощью которого, однако, не пришлось воспользоваться. Ребенок родился здоровым, но был очень слаб. Его окрестили Николаем.

Родословная будущего великого писателя **без сомнения** начинается со священника Яна Яновского. Она не лишена любовных романтических элементов. Но героическая романтическая генеалогия, в начале которой стоит полковник Остап Гоголь — генеалогия фантастическая. Верил ли ей Гоголь в юности, мы не знаем, но характерно, что в его украинских рассказах и в его письмах никаких упоминаний о ней нет.

*Гейдельберг*

*Дмитрий Чижевский*

\* \* \*

Что с деревом делать осенним,  
С оранжевым сотрясеньем,  
Плеском и колыханьем,  
С блеском его чингисханьим,

С этим живым монистом,  
С деревом тысячелистым?

С деревом тысячелистым,  
Резким, броским и тряским,  
Истым импрессионистом  
По хлестким мазкам и краскам!

С деревом, что смеется,  
С деревом-знаменосцем!  
Глянь на его богатства, —  
Некому с ним тягаться!

Осень в него вложила  
Золотоносные жилы,  
Солнца вкатила столько,  
Что светится как настойка!

С неба закаты взяты  
И влиты в него закаты,  
Гнется под ветром крупным,  
Бьется цыганским бубном, —

Не дерево, а кутила,  
Осень озолотила!  
Что с деревом делать осенним,

С круженьем его, с крушеньем?  
С его золотой падучей?

Топчем. Сгребаем в кучи.  
И меж домов громоздких  
Сжигаем на перекрестках.

\* \* \*

Я решаю вопрос большой —  
Что мне делать с моей душой?  
Вот стою я под фонарем,  
Говорю ей — вдвоем умрем,

Только жизнь со мной промытарь,  
И потухнешь ты как фонарь.  
А выходит, что всё вранье,  
Что обманываю ее,

Что дела ее нехороши,  
Что бессмертье есть у души.  
И хотя она здесь, со мной,  
Для нее я — двор проходной,

Сквозь который душа пройдет  
От ворот до других ворот.  
Мне-то что, я пойду на снос,  
Вот с душою как быть — вопрос,

Как помочь разорвать ей круг  
Этих вечных блаженств и мук.  
Что же будет с моей душой,  
Вечность всё-таки срок большой.

*Иван Елагин*

# ФИНСКИЕ ПОЭТЫ

УУНО КАЙЛАС И КАТРИ ВАЛА

Мы знаем природу Финляндии, мы имеем некоторое представление об ее истории и культуре, о характере и обычаях народа, мы знакомы отчасти с ее музыкой, живописью, скульптурой и архитектурой, но большинство из нас не знает современной финской поэзии. Главной причиной этого является трудность овладения финским языком и, в особенности, трудность финского стихотворного языка. Поэтому перевод на русский язык является единственным путем ознакомления русского читателя с финскими поэтами.

В 1917 году в России был издан под редакцией Валерия Брюсова и М. Горького «Сборник финляндской литературы», в который вошли переводы стихов и прозы с финского и шведского финляндских писателей старшего поколения. С тех пор прошло 30 лет, и, насколько мне известно, стихи более молодого, современного нам поколения не переводились на русский язык. Моя работа над переводами стихов двух выдающихся финских поэтов Ууно Кайласа и Катри Вала является попыткой до известной степени восполнить этот пробел.

При работе над переводом выступают особенно ясно характерные особенности языка. Подвижность ударения в русском языке дает богатые возможности в смысле употребления различных размеров. В финском, количественном языке ударение неподвижно, всегда на первом слоге. Поэтому нельзя употреблять любой размер, строго выдерживая его; во всяком случае, это сопряжено с трудностями и ухищрениями. Размеры в финских стихах часто не выдержаны, в них допускаются паузы, перебои, подчас они меняются в стихотворении. Для облегчения следования определенному размеру приняты сокращения слов (напр., *olisi* — *ois*, *lapsena* — *lasna*) и изменение порядка слов не употребительные в прозе. Эти условности при-

дают финскому стихотворному языку характер искусственности, отдаленности от жизни, и в них-то и заключается, главным образом, трудность финских стихов для непосвященного. Рифма в финских стихах звучит для русского слуха бедной, так как при рифмовании конечных гласных не принимается во внимание одинаковость опорных согласных. Но зато в финском языке есть и свои преимущества. Это — обилие гласных (в противоположность русскому языку в нем никогда не встречается более двух согласных подряд и только в середине слова), что делает стих музыкальным. Существование в некоторых словах долгой гласной (двойной) наряду с короткой, на которую падает ударение, вызывает своеобразный ритм — уравнивание различных звуковых единиц. Возможность широко пользоваться аллитерацией в начале слов усиливает музыкальность стиха. На этом принципе аллитерации, заменяющей рифму, построен финский эпос «Калевала». Эти аллитерации в начале слов трудно воспроизвести в переводе, именно вследствие подвижности ударения в русском языке. Их приходится заменять другими аллитерациями или внутренними рифмами. Финский поэтический язык вообще богат, в нем имеется много синонимов, что всегда чрезвычайно ценно для поэта при выборе своего словаря, различные оттенки значения слова, удачные звукоподражательные слова, напр., *suhina* — шелест, *loiske* — плеск, *lorina* — журчание и т. п. Всё это является для поэта настоящим кладом и открывает широкие перспективы для развития поэтического языка.

В 20-х годах нашего столетия молодые финские поэты, объединенные поисками новых путей в поэзии, желая порвать с литературными традициями старшего поколения финских поэтов и тяготея к модернистическим течениям в европейской поэзии, образовали «Союз молодых сил» (*Nuoren Voiman Liitto*), из которого выделилась группа «Огненосцев» (*Tulenkantajat*). Это были искатели новой красоты, новых форм и идей. В их числе были и названные мною поэты. Оба они начали с увлечения модернизмом. Но в то время, как Катри Вала стала основоположницей модернистического направления в финской поэзии, Уно Кайлас с годами отошел от модернизма и нашел себя в классической форме.

Часто судьба поэта бывает трагична. Достаточно вспом-

нить наши русские имена: Пушкин, Лермонтов, Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, имена из разных поколений. Судьба финских поэтов, может быть, еще трагичнее. На протяжении только одного современного нам поколения сколько преждевременно ушедших талантов: Эдит Седергран, Ууно Кайлас, Сайма Хармая, Каарло Саркия, Катри Вала. Их всех свел в могилу один и тот же роковой недуг, национальная финская болезнь — туберкулез.

Трагична была судьба поэта Ууно Кайласа (1901-1933). Кайлас родился в крестьянской семье. Безрадостное детство (он рано остался сиротой) оставило след в его душе. В одном стихотворении он вспоминает, как в детстве отличался от своих сверстников робостью и болезненным видом, как в школе он боялся учителя, а дома тетки, которая так смотрела на него иногда, что ему хотелось убежать куда-нибудь. Университета Кайлас не окончил и всю жизнь боролся с материальными затруднениями. Не вынеся тяжести разных ударов судьбы, он заболел в 1928 г. психическим расстройством и около года провел в больнице для душевнобольных. Поправившись, он заболел туберкулезом в тяжелой форме, и запоздалая поездка на юг не спасла его. Он умер в Ницце.

Всю свою короткую жизнь Кайлас горел внутренним огнем, проявляя большую энергию и работоспособность. Как будто, сознавая свою обреченность, он торопился создать как можно больше. Он принимал деятельное участие в литературных организациях, в издании журнала «Огненосец», кроме стихов много занимался переводами. За время с 1922 по 1931 г. вышло 5 сборников его стихов: «Ветер и колос» (1922), «Море-плаватели» (1925), «Из глаз в глаза» (1926), «Босиком» (1928), «Сон и смерть» (1931). В 1932 г. вышло собрание его избранных стихов («Стихи»), в которое он включил лучшие стихотворения из всех предыдущих сборников, переработав и отделив их заново. Кайлас еще при жизни заслужил всеобщее признание. Проф. Таркийнен пишет в своем предисловии к собранию его стихов: «Достижения Кайласа весят на весах поэзии больше, чем какого-либо другого финского поэта того же поколения, и среди его произведений есть такие, которые являются завоеваниями новой поэтической области в финской литературе. В нашей литературе он должен занять прочное ме-

сто». Проф. Таркиайнен отмечает крепость и пластичность формы Кайласа, уверенное построение стиха, экономию художественных средств.

Унто Сеппянен рассказывает, что в течение недели после известия о смерти Кайласа редакцией одной большой газеты были получены десятки писем, посвященных памяти умершего поэта. Эти письма приходили со всех сторон, их писали учителя, рабочие, крестьяне, ученики народных школ. Позже вышла книга, посвященная памяти Кайласа, в которой приняли участие почти все финские писатели и поэты. В финской литературе имя Кайласа продолжает стоять высоко и ценители современной поэзии называют его первым среди любимых поэтов.

Трагична была судьба Кайласа, трагично было и его мироощущение. Его повышенная восприимчивость (которая привела его и к душевной болезни) заставляла его остро переживать всё несовершенство человеческой жизни и самого человека, то несовершенство, которое неизбежно, неотвратимо для всякого. Во многих стихах Кайласа чувствуется обреченность человека, который не может изменить своей судьбы, но который в то же время борется с ней и старается победить страдание. В одном из ранних стихотворений Кайласа «Анализ», уже вскрывается его поэтическая сущность поэта-философа, занятого метафизическими вопросами, вечными загадками жизни. И во всем своем последующем творчестве Кайлас болеет ими, он вкладывает в попытку разрешить эти мучительные вопросы весь свой темперамент, всю напряженность своего существа. Его стихи хранят заряд большой творческой энергии, они сильны, динамичны, они живут. Временами Кайлас отходит от своей основной темы, пишет стихи другого порядка — любовные, патриотические, описания природы, баллады, сказки, сатиры. Но, как говорит проф. Таркиайнен: «центр тяжести его поэзии нужно искать в другом, в таких его стихах, где он, рассматривая человеческие слабости и судьбы, касается основных этических вопросов. Центральной идейной проблемой для него — цепь явлений греха, вины, страданий и смерти». Сознание вины преследовало Кайласа, теме вины и искупления посвящен ряд стихов. Его можно было бы назвать «поэтом совести». Но сознание собственного несовершенства, «мука безобразия» вызывает в нем уверенность в существовании совершенной красоты, искать

и воплощать которую — высшее счастье поэта. В этом находит Кайлас выход, утешение, смысл жизни.

Самый совершенный сборник Кайласа — его последний «Сон и смерть». В нем поэт достигает наибольшего мастерства и приходит к высшему знанию, к просветлению, к душевной прозрачности. Он не испытывает больше страха смерти, который мучил его всю жизнь, он уже поднялся над ним, он на той высоте, с которой вся жизнь освещена мягким светом примирения и принятия своей судьбы такой, какой она дана. В этих его стихах поражает простота, глубокая искренность тона, глубина и чистота видения.

Кайлас в своем творчестве много останавливается на мрачных сторонах жизни. Но его нельзя упрекать в пессимизме. Он прожил трудную жизнь, пережил много страданий. Однако, он не сломился под ударами судьбы. Он вел, не ослабевая, внутреннюю борьбу, благословляя свою судьбу за посланные ему испытания, проявляя упорную волю к преодолению трудностей — знаменитую национальную черту финского характера «*sisu*». Но в творчестве Кайласа это не только воля к преодолению трудностей, это победа сильного и свободного человеческого духа над страданием, это путь претворения, восхождения, приводящий к высшему просветлению и утверждению жизни, как бы тяжела и трудна она ни была.

Катри Вала (1901-1944) в центре всеобщего внимания оказалась весной 1945 г. Во время войны она была вынуждена уехать в Швецию, где и умерла в санатории. Весной 1945 г. ее прах был перевезен из Швеции в Хельсинки и при большом стечении народа погребен в Сернесе. Было торжественное собрание, посвященное ее памяти, статьи в журналах и газетах, издание однотомного полного собрания ее стихов, переводы отдельных стихотворений в шведских изданиях, позже вышла книга, посвященная ей «Огненный столб». Пришло, наконец, всеобщее, к сожалению, запоздалое признание ее творчества и значения для финской поэзии.

Катри Вала — основоположница модернистического направления в финской поэзии. Она первая стала писать свободным стихом без рифм и без традиционных размеров на финском языке. Ее предшественницей на шведском языке здесь, в Финляндии, была Эдит Седергран. Поэтому часть критики отмечает

влияние Седергран на творчество Вала. Другие же, напротив, подчеркивают самобытность финской поэтессы. Как бы то ни было, Катри Вала создала новую форму в финской поэзии. И хотя сначала было много споров по этому поводу, новое направление в финской поэзии утвердилось.

Для русского слуха свободные стихи звучат непривычно. В русской поэзии можно отметить только единичные случаи пользования свободной формой. Стихи в нашем понятии отличаются от художественной прозы острой ритмичностью, звуковыми повторами и строфикой. Возможны отклонения. В белых стихах, напр., нет рифм, но в них соблюдается размер. Иногда употребляются неточные трехдольные размеры или неравномерные строфы, но при этом сохраняется рифма. Финские и шведские модернистические стихи отвергают и классический размер, и рифму, т. е. все главные признаки отличия стихов от прозы. Они сохраняют только принцип разделения предложения на строки-стихи и кроме того, при отсутствии размера, имеют свой скрытый ритм. Свободная форма может, действительно, обновить поэзию, придать ей свежесть, своеобразие тогда, когда она вызвана необходимостью, внутренним ритмом и потребностью автора дать свободное течение своим мыслям-образам.

Катри Вала так говорит о свободной форме в письме к одному из своих друзей: «Хорошие свободные стихи нельзя сделать, они должны появиться. И что важнее всего — если не имеешь прирожденного чувства ритма, не сможешь писать свободным размером, потому что так же важно, как содержание стихотворения, так же важно — если не важнее — ритм. Именно он дает содержанию кровь и жизнь».

Катри Вала обладала даром непосредственности лирического переживания. Богатство ее поэтических образов, чувство изящной формы, подъем лирического настроения делают ее свободные стихи настоящими стихами. В них есть свое особое очарование. И ее значение в финской поэзии не только в том, что она нашла новую форму, что обогатила финскую лирику свежестью образов и тонкостью настроений, но и в том, что, благодаря пользованию свободным стихом, она отвергла условности классического стихотворного языка и ввела в поэзию живой, разговорный язык.

Судьба Катри Вала не менее трагична, чем судьба Кайласа, она всегда была против нее.

Катри Вала — слова эти стали символом неустанного горения, борьбы против страдания, причиняемого человеком человеку, борьбы за справедливость на земле, утверждения жизни, материнской любви к человечеству. Но за символом, за словами «Огненный столб» на обложке книги, посвященной ее памяти, встает перед нами суровая, полная изнурительного страдания жизнь со многими ударами и непреодолимыми препятствиями на пути. Катри Вала, пацифистка и прежде всего гуманистка, была человеком с большим сердцем и свободолюбивой натурой. Она умерла 28 мая 1944 г., за 4 месяца до капитуляции Финляндии. Болезнь сломила ее на чужбине, в Швеции.

Катри Вала (ее настоящее имя было Карин Ваденстрем) родилась в 1901 г. Она лишилась отца 9 лет, и с ранних лет ей предстояла жизнь, полная лишений, бедности, упорной борьбы за существование. Богатоодаренная художественная натура, она была принуждена проводить свою молодость в деревенской глуши, служа учительницей в народной школе, вдалеке от жизни столицы и друзей. Окружающая ее обстановка не давала ей ярких впечатлений, и Катри Вала жила своими мечтами-видениями. Всё непривычное, романтическое пленяло ее воображение, как контраст с теми буднями, в которые она была заключена, отсюда ее тяга к экзотике, к вымышленной жизни, к сказке. Но Катри Вала была здоровой натурой, полной жизненных сил. Она любила жизнь во всех ее проявлениях, ей было свойственно чувственное восприятие природы: краски, запахи пленяли ее. В то время, как Ууно Кайлас стремился разгадать философские и этические проблемы жизни, она хотела на своем опыте познать жизнь во всей ее полноте — жить. Кайласа мучила смерть, как неразрешимая загадка, страх перед неизвестным, Вала страшилась смерти, как физического прекращения ее полного сил существа. Кайлас стремился познать причину и смысл страдания вообще, Катри Вала боролась в своих стихах против того страдания, которое может быть устранено в человеческой жизни — против социальной несправедливости и против войны.

Первый сборник Катри Вала «Далекий сад» вышел в 1924 г. Он был в общем хорошо встречен критикой и получил государственную премию. В нем мы находим то, с чем Катри

Вала вступила в жизнь: любовь к земле, очарование ее красотой, стремление к яркости и полноте переживания, увлечение экзотическими мотивами. Есть в этой книге и другая тема — цикл «Ужас», в котором Вала выражает свой страх перед смертью. Часть критики обрушилась на Вала за новаторство в ее стихах, но в то же время она нашла друзей, оценивших ее дарование. Через 2 года вышел второй сборник ее стихов «Голубая дверь», который развивает и продолжает темы первого сборника, включая, кроме того, тему любви. Интенсивность переживания, свойственная Вале, заставляет ее сгущать краски, а живость воображения создает вокруг нее тропический воздух.

После издания второго сборника Катри Вала пережила ряд тяжелых лет. В 1928 г. она заболела туберкулезом. Борьба с болезнью (Вала ездила в санаторию во Францию), материальные затруднения, близость смерти, личные разочарования и утраты — всё это оставило след в душе поэтессы, и в третьей книге «У земной пристани», вышедшей в 1930 г., нет больше экзотических мотивов. Книга эта частью критики считается вершиной творчества К. Вала. В ней два течения. Одно — отрешенность от жизни, выход из себя, растворение в космосе, экстаз, приближение к смерти. Другое — новая земная любовь и через нее обновленное чувство жизни. Бесплотное и телесное со всеми тончайшими ощущениями, свойственными Вале.

Между третьей и четвертой книгой «Возвращение» (1934) прошло 4 года. Эти годы, когда Вала жила в Хельсинки, оказались решающими в ее жизни и творчестве: в Катри Вала произошел внутренний перелом, связанный с материнством. Из своих экзотических и космических странствий она вернулась в реальную человеческую жизнь. Ожидание ребенка заставило ее пытливей вглядеться в тот мир, который ожидает ее первенца, и увидеть вопиющее несовершенство мира. Катри Вала жила в Сернесе, рабочем квартале, она была сама бедна, непрестанно борясь с материальными трудностями жизни, и вокруг себя видела бедность и страдания, порождаемые строем жизни. Свойственный ей мятежный дух, свободолюбие и любовь к правде заставили ее поднять голос за борьбу против социальной несправедливости. Появляется целый ряд стихов совершенно иного порядка, вызванных к жизни страданием и состраданием к судьбе себе подобных, чувством общности. Вала занимается

усиленно литературной работой помимо своего поэтического творчества, она пишет политические фельетоны и литературные рецензии, она занимается общественной и политической деятельностью. Выход в свет книги «Возвращение» вызвал целый ряд статей против Вала. Ее имя становится одиозным, ее обходят при выдаче литературных премий и пособий, ее ходатайство о получении места, которое позволило бы ей не разлучаться с семьей, не удовлетворяется. Правая критика упрекает ее за социализм в поэзии, левая же критика считает ее принадлежащей к буржуазному классу и вменяет ей в вину тонкость ее поэтических образов. Катри Вала приходится пережить много горя.

Последняя ее книга «Дерево с гнездом горит» вышла в 1942 г. Эти 8 лет были особенно тяжелыми в жизни Вала. Война, тяжелые условия жизни, борьба за существование, которая становилась всё трудней из-за развивавшейся болезни, изолированность в литературной жизни — всё это отозвалось на ее творческих силах. Стихов в ее последней книге немного, все они вызваны к жизни глубоким страданием. Она боролась против всего темного, неразумного, несправедливого, угнетающего, что она встречала в жизни. Но, как она говорит в стихотворении «Ивовая свирель», она не считала себя «знаменосцем». В своем творчестве она исходила из глубокого чувства, владевшего ею, первоначально, чувства любви к жизни, ко всему живому, позже материнской любви, не только к своему ребенку, но через него — к детям всего мира, к людям всего мира, ко всему человечеству, которое она хотела бы оградить своей любовью от всех бед и несчастий.

Вера в будущее, в спасение мира не оставляет ее в самое тяжелое время. «Утренний рассвет», «страна утра», «утро мира» встают перед ней видениями в окружающем ее мраке.

Последние годы своей жизни Вала провела в санатории, в Швеции. Последней ее радостью в литературной работе был выход в свет сборника переводов ее избранных стихов в Швеции, встретившего прекрасный прием в шведской печати. В 1943 г. она приехала в Финляндию, считая это своим долгом. Но эта зима, проведенная в тогдашних тяжелых условиях на родине, окончательно подорвала ее силы, и она должна была вернуться в санаторию.

Внешнее зло победило ее при жизни. Победа пришла к ней после смерти. Победа ее духа, победа ее творчества, победа ее имени, ставшего символом. В юности Катри Вала написала «Молитву», вошедшую в первый ее сборник, в ней она просит у Бога «не многих лет», а дать ей гореть «только ночь и день высоким столбом огня». Эта молитва была услышана и исполнена.

*Вера Булич*

---

Вера Сергеевна Булич (род. в Петербурге в 1898 г., скончалась в Гельсингфорсе в 1955 г.) — автор сборников стихов «Маятник» (1934), «Пленный ветер» (1938) и «Бурелом» (1947). Неизданными остались ее переводы из финских поэтов. Мы печатаем здесь несколько переводов из финской антологии В. Булич, подготовляемой к печати Алексисом Раннитом. Неопубликованная, печатаемая нами статья об У. Кайлас и К. Вала любезно предоставлена нам подругой В. Булич — Верой Лэйно. РЕД.

## У У Н О   К А Й Л А С

### *СКРИПКА*

Целый день он сидел одиноко  
В уголку, занимаясь игрой.  
Был в руке его стебель травинки,  
И березовый прут — в другой.

И сухой этот стебель травинки  
Был для скрипки его смычком.  
Целый день он водил им над скрипкой,  
Над березовым этим прутом.

Что играл этот прутик березы,  
Знал лишь Бог среди вышних сил.  
Эта скрипка была — безумца,  
Человек же тот счастлив был.

### *ПЕСНЯ РАДОСТИ*

Ты знаешь, однажды, томясь без сил,  
Когда мне стало так тяжело,  
Старинную Библию я раскрыл.  
Мне было тогда так тяжело.

С листов пожелтевших сошло ко мне  
Преданье, что живо веками.  
Те буквы большие горели в огне,  
Они сверкают веками.

Ибо ввергнуты в печь, в добычу огню  
Были три святых человека.  
И песню радости пели свою  
Эти три святых человека.

Победно ходили они сквозь огни,  
И пламя их не коснулось.  
И песню радости пели они,  
А пламя их не коснулось.

Прочел я и новых исполнился сил,  
Мне стало вдруг так отрадно.  
Старинную Библию я закрыл.  
И было мне так отрадно.

### *ЛАПЛАНДСКАЯ ПЕСНЯ*

Благодарствуй, о жизнь,  
Хоть была ты домом студеным  
На ладони Лапландской равнины,  
На юру, на ветру ледовитом;

Хоть была ты безрадостной зыбкой  
В холодном Лапландском поселке,  
Женой, качавшей ребенка  
От забот закорузлой рукою;

Хоть была ты курткой в лохмотьях  
На плечах ребенка худого,  
Черствым мякинным хлебом  
Голодающему глодать,  
Лаем серой собаки сердитой  
У дверей богачей деревенских;

Хоть была ты зимним скитаньем  
По горбам ледяного наста,  
Когда ищут глаза проталин,  
Слух о жаворонке мечтает  
В этой ночи полдня без света,  
В этом темном краю без песен;

Хоть была ты кровавым следом,  
На который светили звезды,  
Болью, медленно заледеневшей  
Под летучим снегом, под вьюгой.

Один есть закон Лапландский:  
Стоять, головы не склоняя,  
С чувствами пламени ярче,  
С глазами моря синее.

А упадешь ты в крови,  
В блеске северного сиянья  
На льдистый снег, чтоб очнуться,  
Когда смерти рука на плече,  
Одна есть прекрасная песня:  
— Благодарствуй, о жизнь!

## К А Т Р И В А Л А

### *БЕЛЫЕ УТРА*

Белые утра приходят  
Чудесною вереницей,  
Скрывая росистыми волосами  
Земли пробуждающееся лицо.  
Прыжками из лесу поднимаются  
Чистые песни  
В неба колокол голубой.

Слишком большое счастье  
Жить этими белыми утрами,  
Касаться живыми пальцами любимого лица,  
Чувствовать жизни вкус на губах.  
Радость вернулась в сердце мое,  
Как птиц перелетных стая.  
Я хотела бы испариться росой  
В звенящий колокол голубой.

*ТАНТАЛ*

Мы ходим по улицам,  
Ты, Который Будешь, и я,  
И мы голодны.  
За окнами красные пирамиды яблок,  
Апельсинов сочные солнца,  
Винограда прозрачные горы.  
Когда отворяется дверь, мы жадно глотаем запах.  
И ты говоришь: ешь.  
Ты не змея,  
В тебе только мудрость жизни,  
Ты знаешь, что делает кровь чистой и крепкой.  
Но у меня нет денег,  
И никто не дает мне работы.  
Я ухожу поспешно прочь,  
Но ты говоришь, укоряя: ешь.  
Я — твой мир,  
И мне надо тебя питать,  
Как должен был бы мой мир мне давать пропитанье.  
Может быть, надо мне стекла разбить?  
Ты не знаешь законов и распоряжений,  
Разящего камня над Танталом.  
Ты удивлен голодным скитаньем среди изобилья.

*МОЛИТВА*

Господи,  
Я только малое пламя,  
Которое тихо трепетало вдали  
И ожидало.

Теперь мне этого мало.  
Я хочу пылать.  
Хочу гореть высоко.  
Только день и ночь.

Пусть потом будет конец,  
Только бы тело мое стало огнем,  
Чтоб его пламя коснулось неба  
Огромным, ужасающим и прекрасным.  
Гореть я хочу, гореть, гореть.  
Силу лет расточить  
В мгновение ока.  
Только день и ночь, о Боже.  
Не многих лет, в оковах которых влечешься к могиле,  
Не ровной и длинной жизни молю,  
Только ночь и день  
Высоким столбом огня.  
Господи!  
Господи!

*Перевод Веры Булич*

# НАРЫМ\*

## ДНЕВНИК ССЫЛЬНОГО

Прожито еще несколько месяцев. Не писала. За это время пережито много тяжелых минут, оскорблений, унижений, пролито украдкой много слез и несколько раз жизнь была на волоске, а смерть стала как-то ближе, понятнее, иногда была желанной. Хочу вкратце описать, что произошло со дня, когда мне объявили о смерти Ники. Я поверила, а порой не верю в то, что его нет. Польское посольство не могло и не успело помочь, а помочь было трудно. Я знаю, что Ника никогда не отказался бы от своего русского подданства. Тогда, как враг, он осужден и смерть — конец страданий. Но если извещение о смерти только средство укротить и пригвоздить меня? То еще есть надежда на спасение. Я была слишком поражена, чтобы посмотреть, кем написано было извещение. Очень скоро после этого рокового дня «паспортный стол» опять привлек меня к работе. Меня стали преследовать на улице, завлекать в дом, так как добровольно я не являлась. Я стала, выходя на улицу, менять верхнюю одежду, чтобы меня не узнали. За мной приходили на дом. Я переменяла тактику: пользуясь переменой очередного «хранителя», прикинулась тупой идиоткой, но всему есть конец. Василий Васильевич, благодаря своим взглядам, человеческому отношению к людям, их страданиям, — попал в опалу. Мне было поручено смотреть за ним. Маруся-конюх, в его Райлесхозе (не помню фамилии, но пусть эта Маруся будет многотысячным именем, собирательным — имена их Ты, Господи, веси) получила через сельсовет извещение, что б. красноармеец — ее муж — расстрелян, как изменник родины за желание поддаться в плен,... а она объявляется врагом на-

---

\* См. кн. 76 и 77 «Н. Ж.».

рода. В. В. должен, конечно, ее сразу уволить, а у него рука не поднималась на бедную, обреченную жертву. Куда бы ни тронулась она со своей справкой (вроде моей) нигде ее не примут на работу. А у нее ребенок. Нет места врагу народа, — врага надо уничтожать. И на каждом очередном заседании Исполкома В. В. спрашивают — уволил ли уже? Уходя на каждое заседание от нас, он прощался: «Ну, до свиданья, друзья мои, иду на Голгофу, быть-может не увидимся». Точно также прощалась каждый раз и я, так как не было уверенности — вернусь ли ночевать домой. Часто на вопрос, заданный той или иной сибирячке, где ваш муж? Слышишь: — А кто его знает, уж год, как вышел из дому и не вернулся. Каждый невернувшийся оказывался врагом народа и так или иначе платил свой счет.

Однажды В. В. накануне заседания видел сон: во сне он видит, что из противоположного угла комнаты появляется страшный черный паук; он смотрит на В. В., растет на его глазах, заполняет собой всю комнату, у паука шевелятся сотни колоссальных ног; глядя на В. В., он приближается к нему... и В. В. просыпается от собственного крика в холодном поту.

На следующий день В. В. заставили уволить Марусю, и мое место нештатной уборщицы поставлено В. В. в строку — его бы могла занять **полноправная** гражданка, «имеющая право на труд». Не всякая гражданка заслуживает право убирать заплыванные полы и колоть большие бревна. Марусе Вас. Вас. дал совет: — «Тебе один выход: выйди замуж, перемени фамилию и будешь жить...» И Маруся оставила Парабель, пошла искать счастья в стране, где так вольно дышит человек.

Я добровольно взяла на себя обязанность убирать комнату В. В., так как до сих пор делала это Маруся-конюх. Однажды понесла очередную почту Райлесхоза, а на обратном пути попала в паспортный стол, хотя эту улицу я всегда обходила. Мои нравственные пытки продолжались несколько часов, допоздна. Я пробовала освободиться ссылкой, что я на работе, и лесничий спросит почему не убрала комнаты и т. д., что я живу в одной комнате со счетоводом (О. И.) и счетовод спросит, где я столько времени была... «Ничего, ничего, не бойся, мы завтра и счетовода вызовем». И действительно, О. И. была на следующий день вызвана в «паспортный стол»

для проверки хлебных карточек. Конечно, я придя домой, предупредила обо всем. О. И. продержали в паспортном столе 5 часов, посмотрели для отвода глаз карточки, вежливо извинились, что побеспокоили и отпустили, но она была **только** в паспортном столе. Наконец, пришел и такой день, когда я, не видя иного выхода, решила или освободиться или погибнуть. Становилось не под силу, а цели уже не было. Я категорически заявила, чтобы меня больше не вызывали, не требовали — не приду и следить за людьми не буду. Оторопели. Не ожидали. Ушли на совет. Пришли втроем. Подошел четвертый. Мне грозили:

— Вам здесь слишком хорошо, вам место в тундре.

— Если вы через десять лет приедете навестить меня в тундру, я скажу вам тоже самое. Но я знаю советские законы: запугивать **нельзя**, а вы меня запугиваете тундрой... Я не боюсь и вашей тундры!

— Ну, чего нам возиться с ней, — под конец сказал один.

Конец, мелькнула мысль и глаза остановились на их револьверах в кобурах. Сидевший напротив, взял лист бумаги, стал что-то писать — затем протянул мне.

— Подпишите.

Я хорошо помнила, что за подпись платить надо дорого и лучше не подписывать. «Я, такая-то, объявляю, что признаю власть Гитлера и т. д.» Дальше я не читала.

— Это ложь, и я не подпишу вам этого, — и разорвала лист.

Точно голодные стервятники бросились они на меня, разъяренные от злости.

Как вы ведете себя в стенах НКВД?!

— Можете меня арестовать, но не имеете права запугивать!

Я была уверена, что не выйду из этого дома, но мне было уже всё равно — я не чувствовала страха, а скорее вызывала судьбу. Так, зажата в руке птица, чувствуя свою беспомощность, отчаянно клюет держащую ее руку.

К столу сел другой палач и тоже стал писать. Писал долго. А я ждала развязки. Кончив, подал мне. Опять стала читать. Не верила себе, не верила глазам: было написано про-

странно с ссылкой на статьи закона и §§, что я с сегодняшнего числа порываю всякую связь с органами НКВД, обязуюсь сохранить это в тайне. Не помню дословно, но таков был смысл.

— Вот это я подпишу вам, — сказала я и, подписав, направилась к двери. Я шла и не верила, что меня в спину не пристрелят или во дворе не набросится собака-волк. Никто не остановил...

Проходили недели, месяцы, есть было нечего. Приближалась весна. Порешили, что я отправлюсь в те поселки, где живут наши люди и где есть возможность за белье, обувь и одежду получить картофель и муку. В. В. нашел мне попутчика — тоже Василия — конюха из Леспромхоза. В ту сторону доедем катером, имея свою лодку, а назад по течению вернемся вдвоем лодкой, около 250 километров. Остановлюсь я в поселке Новиково, где живут знакомые. Они мне помогут. Оттуда пойду пешком в Тарск. А путешествовала я так с 25 апреля до 14 мая 1944 года.

После 6-7 дней путешествия (5 дней катером и 70 км. пешком) я дотащила до Новикова, пришла к знакомым. Не имея смены белья, не могла лечь в приготовленную постель: по мне ползали вши. Мой спутник, конюх Василько, рыжий детина, сделал мне неожиданно на обратном пути предложение: стать его женой, обещал «всякие блага». Я, понятно, вежливо, но решительно отказала. Он оставил меня одну с грузом, а сам воспользовался лодкой и уплыл. Частных пассажиров на пароход и на катер не пускали, и я решила вернуться на плоту. Это был небольшой плот, на котором вез такой же груз средних лет мужчина — уроженец Одессы, были еще мальчик лет 12 — Афоня, старик-поляк и какой-то нерасторопный мужчина. Одессит оказался инициатором этого путешествия, ехал, как и я, почти до Парабели, как и я не имел другого способа передвижения и взялся доставить этот небольшой плот — перевоза свой ценный багаж. Я показала ему свои документы и упростила не отказать, принять на плот.

Отправка утром. «Капитан» нашего корабля, как я его назвала, велел привезти с собою охапку соломы. Доплыла я утром до плота с охапкой соломы и с своим грузом (2 пуда картофеля и 2 пуда муки) на обласке. Река бурлила. Погрузились, устроились при помощи «капитана». Рядом с палат-

кой была устроена еще моя, на охалке соломы. «Капитан» предупредил, что ехать будем 6-7 дней, так как он должен еще в нескольких местах задержаться. Выбора не было. Я была довольна, что принял. На нашем плоту была небольшая душегубка, несколько досок, толстый канат, шесты, багры. Посередине устроили место для костра и уже горел очаг. Старик-поляк устроил себе шалаш из кедровых ветвей. Последние приготовления, распределение обязанностей и, наконец, отпустив державший нас канат, плот тронулся и скоро бурное течение, широко разлившейся грозной реки, вынесло нас на ее середину. Оглушил меня шум бешено рвущейся вперед воды. Мы должны были кричать, чтобы услышать друг друга. Налетали волны, обдавали нас брызгами. Мы неслись быстро, не имея ни малейшей возможности управлять нашим небольшим «судном». Спереди было что-то вроде руля, но даже все наши соединенные силы не в состоянии были изменить направление в разбушевавшейся стихии. Что я сделала? Но отступать было поздно. Надо было каждому исполнять возложенные на него обязанности «матросов». Одни готовили топливо, вылавливая несущийся по реке материал: доски, поленья, подхваченные во время половодья водой; другой был у костра (спички были дороги и ограничены), варил. А когда нас окружила тайга — всякую минуту грозила опасность быть сметенными, нависшими над водой ветвями деревьев. Один из нас зорко смотрел вперед, предупреждая об опасности. И тогда все мы падали пластом на мокрый плот, цепляясь друг за друга и за бревна. В течение первых часов смыло, как перышко, шалаш старика и сам он чудом удержался. С наступлением вечера «капитан», выбрав как бы залив в реке, выслал туда Афоню в лодке с канатом, который он закрепил за ближайшее дерево. Когда мы доплыли, Афоня бросил нам канат, и мы, вцепившись в него, стали притягиваться к первому ночному причалу. Все были измучены и рады отдыху. Ночь дежурили у костра по очереди. На следующий день тоже самое. Ночи были холодные, морозные. День, второй, третий, кое-где остановка. День и ночь не раздевались, и потели и мерзли. Было солнце, была весна, но такая безрадостная. Лица грязные от дыма (грелись у костра), заросшие, обветренные морозом и ветром. Однажды к вечеру налетела буря. Не удалось задержаться у выбранного места, сразу стемнело, поднялся ветер, налетела страшная гроза с

проливным дождем; костер погас, удары грома раздавались почти одновременно с ослепительными молниями и тогда каждый из нас на мгновение видел искаженные страхом лица остальных. Одна из молний осветила впереди нас нависшее дерево. Припали к плоту — пронесло. Каждый про себя прощался с жизнью. Затрудняюсь сказать сколько продолжалась гроза, была черная ночь. Ветер утих и то, что мы ничего не видя, неслись вперед, уже не казалось опасным, после пережитых часов. Все промокли до костей. Разожгли костер, сварили чай («капитан» угостил настоящим чаем) и первый признался, что не думал уже пить чай, не верил в то, что мы не разобьемся и не пойдем ко дну. Трое из нас устроились кое-как на отдых, а мы дежурили у костра, глядя перед собой, высматривая опасность. Пережитые часы, близость смерти сблизили нас, мы невольно почувствовали взаимное доверие и, уже не боясь, рассказывали друг другу многое. Я дежурила, а «капитан», ловчее повара, приспособился и пек вкусные лепешки из грубой пшеничной муки, раскатывая тесто бутылкой. Лепешки пеклись на куске жести. Оказывается, и он пережил немало. Под истрепанной одеждой притаился измученный, усталый русский человек, не находящий ни отдыха, ни покоя, ни спокойного сна...

На девятый день мы расстались навсегда. Двенадцатилетний «матрос» Афоня доставил меня на обласке 7-8 км., уже не по Оби, а по притоку — Полою до Парабели. Такова история приобретения за 250 км. двух пудов картофеля и двух пудов муки.

Дома меня не узнали: лицо распухло, почернело. Здесь я застала невероятную новость: нас куда-то вывозят. Польское правительство заботится о нас и дает нам лучшие условия жизни. Мы едем куда-то на юг. Но только польские подданные. Ни румын, ни латышей это не касается. Срок — ближайшие дни. Лихорадочные сборы. Стирка, сухари из привезенной муки. Кто-то пустил слух, что мы едем на юг, в теплые края, и я была готова отдать остающимся товарищам по несчастью все теплые вещи. Но дальновидные люди остановили меня. Неизвестно куда мы едем.

Наш отъезд был печальным событием для бедного «Васячого». Мы жились за это время, взаимно поддерживая друг друга нравственно и друг другу помогая. Мы уезжали в неве-

домое «завтра», ожидая чего-то нового. Он оставался затравленный (из-за нас), одинокий, беспомощный. Мы советовали ему уехать куда-нибудь подальше.

Нас несколько раз переписывали, считали, составляли списки. Приближался срок отъезда. Разделили по-братски привезенные продукты на три части: две нам и одну треть В. В. Продали, что было можно из нашего имущества, купив немного жиров, и на прощание, почти в канун отъезда я нажарила оладышков из тертого картофеля. Через стену (наш телефон) несколько раз стуком приглашали Василия Васильевича на завтрак. Он откликнулся, но не шел, и я решила отнести, пока не остыли, ему в комнату. Вошла, оказывается он еще и не вставал (а всегда был пунктуален). На мой вопрос, он не отвечал, из-под закрытых глаз катились слезы. Бедный Васячий...

28.V.1944. После трех лет жизни здесь мы выехали из Парабели на большую пристань. Было около 5 часов вечера. Светило солнце. Ехали на пристань пятитонным неводником. Ночевали на пристани под голым небом, разложив костры. Несмотря на полушубок, шинель и истоптанные пимы, я продрогла. Пароход был обещан на понедельник 29.V. Еще ходила в Парабель с последним «прости». Прошла еще ночь, но уже перетаскилась под крышу в барак. Под утро пришел «Тарас Шевченко». Погрузились, как обычно, в трюм и 30.V.1944 г. в 9 часов утра тронулись.

1.VI приехали в Томск. Ждем распоряжений, куда и как плыть дальше, до Новосибирска или до Черемашников — для погрузки в поезд. Бестолочь — никто ничего не знает. Вечером велено было выгрузиться и ночь опять провели под голым небом (тысяча человек). 2.VI. Нас грузовиками перевезли в город, на улицу Розы Люксембург. В доме грязь, клозеты не действуют, краны текут, теснота. Оказалось, что это карантин. К вечеру выдали еду на следующий день. Была избрана комиссия. Я в качестве переводчицы. Ходили, хлопотали, узнавали о всякого рода снабжениях. В таких антисанитарных условиях начались болезни. Случай сыпняка. Нельзя общаться с городом. 6.VI. Все еще составлялись разного рода многочисленные списки и никак нельзя было установить точного числа людей. По спискам выходит одно, по талонам на обеды — другое. Мертвые души.

## НАРЫМ

7.VI. Людей всё прибывает. Прибыло еще 200 человек. Списки, списки, списки...

14.VI. Мы всё еще в Томске. Ночью обещан эшелон.

17.VI. Суббота. Тронулись из Томска. Продукты на дорогу получали вчера всю ночь. Ночью, определенное число магазинов, в самых отдаленных частях города, работало до утра, а мы всю ночь простояли в очередях с мешками для продуктов. Того, что было обещано — не получили. Получили сырой хлеб на рассвете.

17.VI.44. Суббота. Тронулись из Томска по полудни. После 3-х лет нас везли в таких же товарных вагонах, хотя теперь и не в запломбированных, но везли, как людей, которые не имеют права знать куда их везут. И тем не менее все мы радовались, все воскресли. Стараюсь следить за направлением поезда, но маленькая школьная карта, какую имею, не позволяет еще ничего понять. Проехали Барабинск, Омск, Петропавловск. Потеплело. Солнышко. На остановках дети и взрослые рвут зелень и цветы, украшая вагоны.

22.VI. Челябинск. Говорят — едем на Воронеж. Пятилетней девочке Маше отрезало ножку. Во время остановки она залезла под вагон, мать не досмотрела — поезд тронулся. В поезде есть «санчасть» и сестра, но нет ни бинтов, ни ваты, ни йода. Девочка осталась в Челябинске, в больнице. Мать с другой девочкой поехали дальше. Впечатление угнетающее. На остановках обеды и мойка. Моментально появляются котелки, разводится огонь, и люди питаются, варят, кто что имеет. Мы сварили картофель. Мы в ста километрах от Оренбурга. В Оренбурге обедали: суп за 35 копеек (просяной на постном масле). Жара, много подсолнечников. Степь. Верблюды, много коз. Наши обеды — мутная вода, даже начальник эшелона сказал, что деньги с нас берут даром (обед 1 рубль). Наш эшелон — 70 вагонов (наш 59-ый), бросает, трясет точно в лихорадке. Подъезжаем к Саратову. Проехали Волгу. Сразу появилась зелень, дубы. Станция Ртищево. О. И. ушла за обедом, так как я всё пишу бесконечные списки по вагонам, нас ведь вагонами будут отцеплять. Обед был такой, что даже мы, выдавшие виды, есть не могли. Спасал собственный, привезенный на плоту, картофель и хлеб.

29.VI. Уже граница Воронежской области. Станция Макшеевка. Отцеплен первый вагон. Станция Поворино. Отсюда, по слухам, наш эшелон пойдет по двум направлениям: на Воронеж и на Борисоглебск. Все встревожены будущей судьбой, каждому хочется заглянуть в свое будущее, а пока что, хоть знать, где нас отцепят. На вагонах какие-то иероглифы. Всюду толки, суды-пересуды. Я устала, надоело мне мое окружение... Простояли весь день. Опять списки, списки надоели до отвращения. Спрашивали, допрашивали, писали на вагонах новые цифры: наш был 59-ый, теперь 2 29/У, на других 1 29/У. Все устали, угнетены неизвестностью. От нас отцепили 10 вагонов. Едем дальше, ночью убыло еще четыре вагона. Станция Колено — отцепили 8 вагонов с украинцами. Вагоны выхвачены из середины. Теперь на нашем и еще четырех вагонах написано мелом: «Бутурлиновка». Это, говорят, место нашего назначения. На ст. Тальван наши пять вагонов отцепили. Говорят, что до нашей Бутурлиновки 40 километров, до Воронежа — 180.

1.VII. Суббота. Выгрузили в Бутурлиновке, ночевали в разбитом бомбами клубе. Восемь пар громадных быков длинным караваном, черепашьям шагом отвезли нас за 12 километров до совхоза того же имени «Бутурлиновец» (красный). Глушь и степь. Под налетевшим дождем разгружались в маленьких домишках, обмазанных когда-то глиной. Воды употреблять нельзя (отравлена), а хорошей не привезли. Нас сорок семь человек, а состав был 70 вагонов. Мы разбросаны и никто не знает, где кто остался. Вечером привезли поллитра снятого молока и 16 кг. творогу.

2.VII.44. Перед приездом директора совхоза нам выдали по 300 гр. хлеба на два дня (хлеб из овсяной, ячменной муки и подсолнечных жмыхов), 300 гр. пшена и по 300 гр. свежего ароматного меда. Расположились все на траве. Директор, как и полагается, хорошо упитанный, сытый, сел на табурете посреди нас. Расспросил в чем наши нужды и желания. Затем подошел к существенному вопросу: еще идет война, победа, несомненно, будет за нами, но теперь **мы** помогаем вам... а вы должны помочь нам! Нам нужны рабочие руки. Работа — всякая: прополка, сенокосы, силосные работы, хлебоуборка и т. д. Уехал... Опять у разбитого корыта.

8.VII. Объявлено постановление исполкома: наши два ва-

гона (24 семьи) и 12 семейств отослать в соседний совхоз «Ударник». Опять собрали нас перед домишками — они торчат на горке, среди глухой степи. Мы молча выслушали постановление. Было что-то безотрадное, жалкое, горькое в этом молчании, так как некоторые уже приступили к работе. Правление совхоза выразило желание оставить тех, кто уже работает. Вопрос оставили открытым до завтра. На следующий день, 9.VII, пошли пешком в город — 12 километров. Обещанные волы ушли уже в 5 часов утра. Купили сообща чулым (куль) картофеля, отыскивали волов и первый раз в жизни я попробовала управлять ими (окрик — «цоб» означает налево, «цобэ» — направо). Я проехала только десять метров — волы не слушались; пришлось за пять рублей нанять кучера. Картофель стоил 675 руб. Ждем решения...

14.VII. Николенька! сегодня твой день рождения. Тебе исполнилось 48 лет. На-днях так ясно видела тебя во сне с таким знакомым выражением! Сегодня утром ходила за водой (и здесь вода далеко в степи — родниковый колодец). Около 1/3 км. поблизости целая плантация цветущих подсолнечников. Как хороши они в солнечное утро. Почему мы не вместе?

17.VII. Приехал агроном и записал меня — согласилась быть учетчиком во время жатвы комбайнами. Мои обязанности: учитывать ежедневно убранную площадь каждого комбайнера, количества зерна, горючего у комбайнеров и трактористов и записывать рабочие дни рабочих бригад. Жить надо в бригаде, в степи, если близко, то могу ночевать дома; но расстояния большие. Совхоз имеет 2.000 гектаров. Комбайнов шесть, тракторов — четырнадцать. Жалованье — 170 руб., котел общий.

20.VII. Взято Гродно. Была в конторе на инструктаже. Принесла сводку Совинформ бюро за 17.VII. Взята с боем Бело-вежа. Увидев эту сводку — я не слышала того, что говорил мне бригадир.

23.VII. Начала работать. В бригаде 45 человек и в том числе нас трое польских граждан. Проработали четыре дня. Среди степи построили «курень», по-нарымски «стан». Это обыкновенный шалаш из вербы, покрытый соломой. Ночью пасшился быки разорили его — устроили второй. С работой справляюсь, но ходить приходится весь день очень много. Вечером двух-метровой меркой площадь убранную меряю каждому отдельно.

Машины постоянно портятся, темп работы слабый; все работает без обычной жатвенной горячки. Питание утром — постная гороховка или болтушка из гречневой муки. На обед то же, чуть-чуть с маслом; на ужин опять болтушка, хлеба 500 гр. (овсяный, гороховый, ячменный и жмыхи подсолнечника), иногда на обед борщ. Третий день получаем по 200 гр. меду. Сегодня была каша из свеженамолоченной ржи... Челюсти устали жевать целое зерно. Ответственные рабочие получают на обед 100 гр. мяса в супе.

28.VII. Взяты Белосток, Львов, Станиславов. Да! Вчера нам было объявлено, что в Варшаве уже избрали новое польское правительство — вопрос только в освобождении Варшавы. Сегодня видела во сне сестру, неясно, плохо. Что с ней и где она? Жива ли моя мама, старушка? Написала три открытки домой на разные адреса. Буду писать ежедневно на другие адреса. Может быть, кто-нибудь откликнется.

29.VIII. Пишу в степи, на куче соломы. Прошел месяц — писать некогда. Дома только ночью. Ухожу в 7 часов, возвращаюсь в 9-10 впотьмах: некогда мыться, некогда думать. Работает 6 комбайнов, между каждым 5-6 километров расстояния; быки ходят шагом; на комбайне подъезжаю редко, остается: иногда лошадь агронома или бричка директора или на бочке водовоза.

5.IX. Возвращаюсь усталая. Коптилка дает копоть вместо света; при ней мы передвигаемся, как привидения, мы живем в первой избушке, о двух небольших оконцах, которые заложены кирпичами. Живем мы вдвоем с О. И.

17.XII.44. Вот прошло три с лишним месяца, как не брала в руки карандаш. Сегодня две коптилки и двойная копоть. Что же пережито за это время? И ничего и много. Прошло лето и осень и вот уже зима. Зима здесь хуже сибирской. Продолжительные холодные ветры, очень сильные, пронизывающие через одежду и стены нашего жилища. А мы всю осень были точно на луне и думали вот-вот уедем. Начальство наше тоже, видимо, не думало об условиях нашей зимовки. Уже в октябре получили из Москвы, из Союза Польских Патриотов, ответ, что наша реэвакуация начнется с весны 1945 г. и то в первую очередь семьи военных. Надо было подумать о зимовке. Жилища плохие, со щелями, топлива нет и никаких запасов. Уже в мороз, грея руки

в кипятке, стали некоторые из нас месить глину с песком и навозом и наспех обмазывать ею снаружи стены наших домишек (местный обычай). Обычно дома еще снаружи белят известью. Сделали это неумело, состав глины приготовлен по плохому рецепту и глина на морозе полопалась. Одно окно заложили кирпичами, замазали глиной, а в два оставшиеся состряпали зимние рамы. 3.XI я еще работала при молотье комбайнами, потом до 19.XI при вспашке зяби тракторами. 14.XI выпал первый снег, а 20.XI мороз сковал землю и тракторы уехали на зимовку в мастерские ремонтироваться.

Топливо своими силами я заготовила под окном избушки — маленький стожок соломы (возов 5, по здешнему воз — гарба). Солома почти один осот, пыль вылетевшая из комбайна. Стог сложен неумело, дожди промочили, а как это будет гореть, греть? Продырявлена крыша, не покрыта, и хотя я истратила много сил, чтобы затянуть на крышу доски, солому и 50 ведер земли, вода протекает. В избе нашей сырость, некуда спрятать полученный картофель. Решили под полом, в избе устроить погреб. Надо было выбрать сто шестьдесят ведер земли. Полученная капуста уже не уместилась и ее пришлось заморозить. Солома быстро подошла к концу и надо организовать заготовку хвороста. Лесов здесь нет. В глубоких ярах растут кусты какие-то и дубняк. Всё уже покрыто снегом, топоров у нас нет, только два на всю колонию. Яр глубокий и надо на себе вытаскивать приготовленный хворост наверх. Скользко, ноги едут вниз. Нас zorganizовал совхоз — 85 человек. Работали до пота два дня и на нашу избу пришлось 1½ воза, с соломой этого хватит на две недели. А дома предстояла еще рубка сучьев: сырорастущий дубняк и терн пишит, капает сок и не горит. Мучение! Температура низкая, топим два раза в сутки, за ночь вода и картофель замерзает. Спим с повязанными головами, в носках и часто встаю с ледяными ногами. Ночью чувствую по лицу ходит ветер, накрываемся всем, чем можно. До весны далеко.

По степи рыскают волки и за водой ходим компанией. Сегодня волк был шагах в 30 от нашего колодца. Да, правительство о нас позаботилось! Спрашивается невольно: за что всё это? И кому это нужно, что мы так страдаем? В конце ноября я видела сны, из которых выходит, что и мамы уже нет, с таким чувством я просыпалась оба раза. Я с сестрой в большом

лесу днем, но свет такой, как при затмении солнца. Мы молча пилим толстую лежащую сосну, и я знаю, что это на крест маме. Я во сне вспоминаю, что маме не нравятся громадные, большие кресты, и лучше из березы. Смотрю перед собой и вижу среди сосен несколько берез, на этом просыпаюсь. Видимо, и мамы уже нет. Мы не произнесли во сне ни слова. Второй сон: в нашей квартире одна кафельная печь, она стоит посередине. Мама с сестрой в тех комнатах, которых я не вижу. В комнате, где я стою, нет пола — стоит темная вода. И вдруг с треском печь разлетается, летят кирпичи, печь погружается в воду. Я кричу маме и сестре, чтобы они спасались, но их не вижу. Печь рухнула и будто под нею провалился погреб. Я боюсь этих снов. Они меня преследуют и впечатлительные оставляют страшное. Всё жду писем...

Во время обеденного перерыва (один час) нам из управления совхоза кто-то читал газеты. Я радовалась продвижению Красной Армии: освобождались близкие мне районы, а один из комбайнеров, рослый плечистый детина, привыкший есть сало и галушки в сметане, оглянулся вокруг себя — нет ли кого и сказал: «Послушайте! Ну, вот вы поедете домой, залечите свои раны и как-то там будете строить свою жизнь... а скажите, с чем мы останемся?! Вы ведь видите нашу жизнь! У моего отца свиньи, ей-Богу, ели лучше, чем мы с вами теперь. И я и моя семья голодаем, а я и моя жинка день и ночь, не покладая рук, свой огородик ночью обрабатываем...» Сказав то, что накопело, он вдруг испугался — не ошибся ли во мне. «Ведь время-то знаете какое».

В бригаде ко мне, все без исключения, даже агроном за мои «сводки» относились хорошо. «Жинки» часто угощали ломтем, принесенных из дому сочных арбузов. — «Давай, поешь маленько»... Недавно в свободную минуту опять перечитывала «Бесы». Верховенский предсказал: «придут, возьмут и фью — исчез человек». Послезавтра, Николенька, опять твой день, а о тебе ни звука. Пришли — взяли и исчез человек... Пять семей уже получили письма из дому. Польское эмигрантское правительство в Лондоне подало в отставку.

17.XII. Здравствуй, Николенька! В твой день солнышко было яркое и мороз настоящий, никольский. День к вечеру.

Ждала, как и каждый день письма, но и ради твоего дня — не получила. Ох, Ника, Николенька! Умолк ты и нет тебя...

2.I.1945 г. Начался еще один год. Нечем отметить прожитых дней. Дома грязь, копоть, сырость, темнота и холод. Хорошо, что ночь укорачивает эту «счастливую жизнь»! Из Брестской тюрьмы — многие мужчины дома. Муж нашей сибирской «польдоверенной» — жив. Под Варшавой бои. Будапешт почти взят. В палате общин Черчилль и Иден по вопросу о Польше выразились: «создалось положение досадное и мрачное, а перспектива соглашения относительно границ — призрачная»... Меняем остатки лучшего белья и платья на жиры и молоко. О. И. вяжет светр за дрова. Я, не имея понятия о шитье, сегодня, взяв за образец мужскую рубашку, тоже взялась за шитье (машину ручную мне одолжила красноармейка, а я ей за это тоже буду шить!)

3.I.45. Сегодня во сне я спешила в числе других на аукцион, где продавались николаевские какие-то вещи. Мы шли цепью, держа друг друга за руки. Передо мной кто-то незнакомый, сзади Ника. Я поскользнулась с крутого спуска, где было много людей и крикнула: «Николай, ты удержишься?» Ника не ответил, но попрежнему держал меня за руку.

25.II.1945 г. Девятнадцатого пришло письмо от сестры. Мама умерла в 1943 году. Перед смертью говорила: «Не надо плакать»... Мамусенька моя! Ты тогда, прощаясь со мной, говорила: «Ведь мы с тобой больше не увидимся». Я потеряла тебя и не нашла Николая. Судьба бывает жестока. Но за что?

14.III.45. Мама! Сегодня первого марта по старому стилю. Твои именины, а тебя давно уже нет! Я не могу молиться. Это так страшно молиться за упокой! А я молилась за сохранение всех страждущих, плененных, путешествующих и недугующих. За стеной в истерическом плаче В. К., она тоже получила письмо — ее муж расстрелян в 1941 году. Умерла ее мать, мать ее мужа, любимый брат, а двух братьев увезли немцы. Каждое письмо приносит такие страшные известия... Быть может, и не надо плакать, а окаменеть — жизнь стала страшнее смерти. Давно ходят слухи о нашем отъезде. Десятого марта нас срочно переписали. По слухам — отъезд в апреле.

19.III.45 г. Весна. Вчера была в Бутурлиновке (в одну сторону на лошади, назад — пешком). Продала последние (еще

из Белостока) туфли и кожаный портфель Ники и за эти деньги (1000 рубл.) купила прежде всего мыла, немного постного масла, луку и так как это была масленица — разорилась на 200 гр. колбасы...

10.IV. Взяты Гдыня, Крулевец, бой под Веной. Получила письмо от двоюродного брата. Сестра без работы и, видимо, больна. Ежедневно стали приходить письма. Письма были в пути по четыре-шесть месяцев. Говорят, что репатриация отложена на три месяца, и что репатриации подлежат **только** поляки и евреи... Белоруссов, украинцев, румын и латышей это не касается. Пути Господни неисповедимы. А ведь я везде в списках четыре года фигурирую, как русская...

Ежедневно утром я хожу далеко в степь за сухим бурьяном для топлива. Так как весь наш поселок, не имея топлива, собирает его в большом количестве, то ходить приходится всё дальше. Поселок стоит на горе и в ту сторону налегке идти хорошо. Бурьян выше человеческого роста. Я складываю на веревку громадную охапку, затягиваю петлю и с большими усилиями забрасываю охапку на спину и отправляюсь домой. Расстояние около  $\frac{1}{2}$  км.; донести без отдыха невозможно, а поднять вязанку в полпути, будучи уже усталой, дорога шла в гору — невозможно. Сильный ветер еще утрудняет положение. Ветер вертел моей ношей и заодно и мною и не было сил удержаться на ногах. На пути в степи стоял, оставшийся после военных действий бетонный бункер и я свернула немного с прямой дороги, подошла к бункеру и, не опуская ноши с плеч, оперла ее на бункер, давая отдых плечам, которые резала веревка, рукам и легким. До дому добиралась усталая, вся потная, несмотря на холод, с дрожащими поджилками. А такой принесенной охапки едва хватало на одну топку, при чем надо было беспрерывно сидеть у плиты, подкидывать и часто ничего в избе не было видно: всё пропитывалось дымом. И сами мы превращались в копченую, несъедобную воблу. Было до слез обидно, когда наша сытая, обутая и тепло одетая «тетя заведующая», жившая на нашей Охре в достатке и довольстве (по сравнению с нами), встречая меня с ношей, полу-участливо, полу-насмешливо спрашивала: «небось тяжело?» Ей дрова привозились чуть ли не наколотые.

Меня мучит новое полученное известие о том, что вернуться имеют право только поляки и евреи. Получила письма. Двоюродный брат написал, что сестра больна и живет только надеждой на встречу со мной, а сам он, судя по письму, не верит в возможность встречи. А ведь я теперь единственная опора сестры. Читаю, перечитываю полученные письма, стараюсь прочесть многое между строк, ненаписанное и становится невыразимо тяжело. Как теперь всё сложится? Как безрадостна жизнь!

Прочла в старой газете о подписании 21.IV.45 договора на 20 лет о дружбе и взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Сов. Союзом и Польской Республикой. В бригаде у нас было внеочередное совещание с докладом директора совхоза. Сообщал, что союзные войска соединились. Москва дала салют из 500 орудий. Окружение Берлина закончено, идут бои в городе... А мы в тылу только работаем: мало вспахали, мало посеяли. Надо улучшить «стиль» нашей работы. Выслушали молча, без энтузиазма и так же разошлись к работе. Сухо, холодно, еще нигде нет зелени. У меня нет обуви, и я всё еще щеголяю в валенках. Устаю от ходьбы. Походка давно перестала быть легкой. Тракторов восемь, между каждым — 3-4 км. и я за день «нашагиваю» не мало; хожу и пахотой и бороздой и жнивьем и дорогой. Случайные лошади (директор, агроном, водовоз, управляющий, кухарка) бывают редко и в большинстве я езжу «самоходом» в пимах. Домой прихожу в 10-11 вечера, смерив горячее в последнем остановившемся тракторе, если нет ночной смены. Самая приятная минута, когда вечером замолкнет последний трактор. Голова и уши так устают от непрерывного шума. В лунные ночи, возвращаясь с работы одна, — я наслаждаюсь абсолютной ночной тишиной и, кажется, что и на душе становится тише. Я полюбила быть одна, надоел людской гомон, шум и черные, как сажа, грязные, обездоленные, как и я, люди. 28 апреля Вербная Суббота. Так много вспомнила, много хотелось бы сказать... но некогда — угар посевной... Шум трактора заглушает всё! И всё это во имя хлеба, которого нет! Нет ни травки, ни вербочки. Первого февраля 45 года получила третье письмо от сестры.

В поле было опять «совещание», на котором, вместо первоймайского поздравления, всех ругали. Воодушевленные угрозами и руганью — все разошлись в «приподнятом» настроении.

Хаос, беспорядок. Все и всё в бригаде (сорок человек), не исключая кухарки, учетчика, котлов и посуды — грязные от копоти, керосина, сажи, масла. Я продолжаю щеголять в валенках, отмеривая до 20 километров в день. Вчера, второго мая, возвращалась домой от Красного до Охры 1½ км. До восхода луны было ждать долго, и я пошла через яр впотьмах, шлепя в валенках по грязи.

5.V.45. Взят Берлин. Арестован Муссолини и Петэн. Сегодня Страстной Четверг. Читается двенадцать Евангелий, и люди с огоньками возвращаются домой. Сколько теплоты в этом обычае! Когда в городе всюду медленно идут люди, стараясь донести непогашенным свой огонек... Слава страданиям Твоим, Господи... А мы здесь так безумно торопимся сеять, пахать... и нам некогда! Когда же успокоимся? И когда эти усталые старики, женщины и парни смогут свободно, никем не понукаемые — оставить трактор, прекратить работу, вымыться и достойно и свободно встретить праздник?! Мы ведь сеем и днем и ночью, и в выходные дни, сеяли 1-го мая и будем сеять в день Христова Воскресения...

11.V.45. Знакомая полька в шесть утра вернулась из Красного и сказала, что война кончена! Тракторы остановлены. Все на митинге. Главное управление нашего совхоза было в «Зеленом» (около 8-9 км.) и туда пришлось отправиться на праздник «Победы». За нами прислан пароконный воз, без сиденья и без соломы... Поехало нас с Охры восемь человек. Пока доехали нас растрясло, прибыли к концу митинга. В зале духота, потные, красные лица. Мы опоздали. Правление совхоза выдало бесплатно на душу 300 гр. муки, чтобы каждый у себя, объединяясь группами, по собственному усмотрению мог веселиться. Водка по желанию в ларьке за наличный расчет. Мы на Охру вернулись уже пешком, притащив с праздника кусок сырого мяса в 9 кг. на 23 человека и столько же муки. Муссолини казнен и труп его выставлен на площади. Арестованы Геринг и Гимлер. Впечатление дня — сплошная усталость; нам предлагают садить огороды и готовиться к зимовке. Еще письмо от сестры. Спрашивает, кто к кому должен ехать?.. А я столько раз писала, чтобы ждала меня. Оперативные сводки Совинформбюро прекратились. Списать трудно: письма идут долго, а события мелькают. Тоскливо, чувство усталости, бессилия, **манит**

**небытие**, как успокоились вы, близкие, и уже несуществующие. Вам уже всё безразлично, а мы еще мечемся, желаем и ничего не можем. 24.VI.45 достигнуто соглашение об образовании временного польского правительства. За это время (больше месяца) писать было некогда.

6.VII.45. Недавно я видела сон. Я выхожу из громадного здания. Со мной две спутницы. По мере приближения к выходу я вижу дым и пламя. Пройти уже нельзя. Я поворачиваю и вижу, что дорога, по которой я шла, вся залита водой. Наводнение. На моих глазах тонут животные. Пробую глубину и не ощущаю холода воды; захлебываюсь, вижу, что и тут перейти нельзя. Вода всё надвигается, но чувства страха нет. Вдруг вижу стоящую доску, кладу ее на воду и, как бывает во сне, край достигает какого-то сухого берега, и я благополучно преодолеваю препятствие. Просыпаюсь. Если доискиваться значения, то предстоит еще и огонь и вода, но выйду на какой-то сухой берег... берег жизни...

Писем от сестры нет. Времени свободного нет.

16.VIII. О. И. получила письмо от своей сестры из Ленинграда, склоняющее ее остаться тут. Я хочу уехать, но за меня всё решит его величество случай — ехать или нет. Тяжело и безрадостно. Весь день льет дождь. У меня мигрень — сижу и латаюсь. Только на письма и дневник времени всё меньше, а заплат надо ставить всё больше. «Пятый годик пошел...»

Погода для уборки катастрофическая, администрация совхоза беснуется; к нашим домишкам примыкают с одной стороны огороды с подсолнечниками и кукурузой. Вчера открыли дверь, а волк отскочил и спрятался в кукурузе. Рыскает по степи и ищет поживы. Видно, на огонек пришел. Летом перед каждым домиком и местные и мы ставим кирпичные печурки для варки. Волк, видно, и почувствовал запах жилья и пиши. Зимой, таская воду, я часто их видела, но не так близко.

18.VIII. Получена телеграмма. Меня вызывают в Воронеж к 28.VIII на трехдневный семинар. Японии до 20.X поставлен второй ультиматум: сложить оружие.

22.IX.45. Вдвоем с Р. носили в бутурлинскую милицию наши заявления о выходе из советского гражданства. Не приняли из-за отсутствия пяти булавок, которыми нужно было сколоть индивидуальные заявления вместе. День был не базарный, кв-

пить ничего не удалось, и мы вернулись ни с чем до вторника 25.IX.

25.IX.45. Отправились опять, булавки найдены, заявления сданы, но когда я попробовала попросить расписку в получении принятых от нас заявлений, — не рада была, что возбудила такой гнев власть имущих. Я посмела не поверить, сомневаться, требовать расписку... Ушли довольные, что нас не арестовали за мою дерзость.

18.XI.45. Неделю назад прибыл на Охру сотрудник милиции — остановился в нашей крайней избе и заполнил наши анкеты, касающиеся оптации — в Верховный Совет, принял документы (кто имел), подтверждающие бывшее польское подданство, две карточки, подпись... опять булавочка... всё скелето. Переночевал на Охре и завтра увезет в Воронеж, в отдел виз и регистрации. Ради такого торжественного момента было принесено в нашу избу от Р., привезенная из Семятич лампочка керосиновая № 5, с заклеенным бумагой лопнувшим стеклом (у нас никто ламп не имел, а только коптилки) и так как сотрудник милиции был не слишком грамотный и, как будто немножко навеселе, то я предложила ему свои услуги и пока не подошли наши охряне, перекрестясь, на первый огонь записала себя самое... Руки у меня дрожали, когда я, отложив свой паспорт, стала ему диктовать последующее. Изба стала наполняться нашими. Через три дня пошли мы к директору совхоза по хозяйственным делам: за картофелем, вопрос топлива, чтобы «дожить» до отъезда. И узнали, что по радио в тот день передавали... о продлении на год нашей репатриации. Умолкаю... «Не беспокойтесь, никуда вы не поедете...»

25.XI.45. Сегодня я пишу поздним вечером. Днем, весь день с утра, таскали с О. И. валежник. В свободные минуты я мысленно уединялась, но с ношей думать трудно. Теперь О. И. спит, а я присела: всё тело ноет от усталости.

Наш отъезд отложен будто бы до 3.VI.46 года. А так ли это — надо дожить и убедиться.

26.XI.45. Если страшная правда останется правдой, то три года, ты Ника, уже не страдаешь. И не дано мне даже знать, какого рода мученическую смерть ты принял. К нам идут. Некогда побыть свободно со своими мыслями.

5.XII.45. Сегодня в Воронцовку. Я приняла в польском детдоме место воспитательницы. Едем вместе с О. И. Будет ли она работать — еще не решили. Еще одна зимняя перетасовка. 30-42 километра (в зависимости от дороги), но всё сложно: ликвидация запасов, переброска багажа. А здесь было столько вложено труда в ремонт избы, доставку топлива. Сколько же осталось остановок до последней станции?

Шестого декабря была в конторе на Зеленом. Получила расчет, справку и снабжение хлебом до 15.XII, трудовую книжку и получила согласие на доставку меня до детдома грузовиком. Если буря, авария или смерть не помешают, то 12.XII переедем с О. И. Она пока на работу не нанимается. На Воронцовку я решилась потому, что, по слухам, детские дома уедут в первую очередь. Мы с О. И. продали на базаре всё, что было можно, чтобы иметь немного денег, жиров, мыла и т. д.

20.XII. Наконец, после острой размолвки с новым директором — вместо машины (даже горючее было оплачено) приехала пара гнedyх на розвальнях и в 12 часов дня, простившись с опостылевшей Охрой, мы двинулись через яр. Мороз до 30°. Около 9 часов вечера покрытые белым инеем, дотасились мы до Красного Кордона, где помещался детдом. Попали в тепло натопленную комнату. Охра в прошлом. Полтора года в степи. Переехали в лес, новое место, новые люди: директор детдома — безвольная Мария Леонтьевна — советская гражданка, человек десять служащих детдома. Среди детей очень много евреев.

28.XII. Не успев придти в себя, приступила к работе воспитательницы или, как я назвала, — дядьки. Я сразу утонула в невообразимой грязи, хаосе, шуме и бестолочи. Я получила группу детей V, VI и VII классов и несколько человек VIII класса, около года бывших без воспитателя — «самотеком». Есть среди них женихи, сажень в плечах, слово дисциплина — непонятно; это — беспризорные хулиганы с каторги, подчас становится неприятно, чтобы не сказать — жутко. Но есть и хорошие дети. Занята я чуть ли не круглые сутки. Хочется помочь детям, завести лад, порядок, начать перевоспитывать. Их поведение приводит в ужас. Мои воспитанники напали на погреб, куда сложили овощи для кухни, сломали замок и съели или

спрятали морковь и брюкву. Я стала беседовать с ними, укоряя за поступок, а они мне хором по-польски: «Если бы мы жили по вашей морали — давным давно подошли бы с голоду». «Если бы вы посидели в наших шкафах, то не говорили бы с нами так»... И всё-таки их строго осудить было нельзя. Я не оставляла их ни в спальне, ни во время приготовления уроков. После звонка они уходили в классы на занятия, и тогда я могла заняться другим. Я отвечала за их одежду (меховые шубки), постельное белье и прочий инвентарь. А воровство совершалось просто на глазах, простыни шли на обмотки, шубки продавались на еду. На кухне были большие злоупотребления, и изголодавшиеся дети получали недостаточные порции.

5.I.46. Пришла моя очередь ответственного дежурства (24 часа) и я решила поработать для блага детей, призвав их на помощь. Я с детьми получила продукты, взяла всё на ключ, весила и делила хлеб, сахар, жиры; не отходила от котла, нажив в двадцать четыре часа врагов в лице кухарки, кладовщицы и других воров, но завоевала большие порции для детей и приобрела их симпатии и послушание. Не знаю насколько меня хватит. Работать по 16 часов, всё время на ногах, в холоде и грязи, сесть негде, везде вши...

К усталости, крику детей, их болезням надо прибавить холод и дым в квартире, недостаток сна и сильную простуду. Большинство детей простужены, даже большие дети ежедневно мочатся в постели (простуженные мочевые пузыри), на всех печках и шнурах сохнет мокрое белье, которое невозможно ежедневно менять. Это ужас, а не детдом, какой-то бедлам! Едва ли я долго здесь выдержу! Весь персонал дома — шайка воров, обкрадывающих обиженных судьбой детей.

8.II.1946. Складываюсь! Еду опять на Охру для выезда домой. Р. телеграфировал, чтобы немедленно приезжать, так как они трогаются 16.II.46 г.

Подошли как раз выборы в Верховный Совет, и хоть мы poinformировались у прокурора, что нас, как иностранных подданных, они не касаются, — в последний момент узколобая директорша нашего детдома объявила мне, что если я вместе с другими служащими детдома утром, в пять часов (еще глухая ночь) не пройду пять километров и не подам свой голос, —

она ручается мне, что я в эшелон не сяду... а если и сяду, то меня снимут. Не помогли никакие разъяснения, ссылка на выясненный вопрос прокурором — лицом компетентным — просьбы... — осталась непреклонна! Ей необходимо выполнить план голосования на 100%! Я едва сдерживала свою злобу и неудержимое желание избить ее. Но делать было нечего! На помощь пришел Пушкин: «Плюнь, да поцелуй ручку у злодея». И пришлось по глубокому снегу, ночью трепаться пять километров до своего пункта, чтобы опустить в урну свой конверт со списком. Было обидно за свои ноги и за свое человеческое достоинство. Стахановцам, пришедшим впотьмах, издалека, первыми (мы были в их числе) были предложены какие-то бутерброды, от которых я демонстративно отказалась, зато директорша была мила, предупредительна и стала хлопотать о лошадях, которые доставили бы меня до Охры.

На Охре я застала подъем и дорожную суматоху. Все жили уже на связанных узлах, сундуках и чемоданах, в большинстве опустошенных.

На Охре среди нас жила красноармейка Шура с пятилетним ребенком. Кроткое, безобидное существо, не выдавшее в жизни ничего, кроме беспросветной работы и нужды. Это она не могла правильно назвать меня и почему-то называла «Любима». Она предложила мне свою ручную машинку для шитья, давая мне возможность заработка зимой. Она же поведала мне свою тайну: ее муж за попытку попасть в плен перед самым концом войны был осужден на 10 лет работы в шахтах. Ему не разрешено было даже повидаться с семьей. А так как она была неграмотная, то и переписываться не могла. И за время, пока я жила на Охре, я писала письма ее мужу и читала ей полученные от него. Она радовалась полученным письмам, тому, что осталась жива с ребенком, радовалась, что у нее есть кормилица-коровка. И жила надеждой, что когда-то свидится с мужем. Уже не виделись они пять лет, и ребенок родился в его отсутствие. Теперь предстояло 10 лет разлуки. Шура и муж ее были единоличниками (не состояли в колхозе) и потому жизнь ее во многих отношениях была еще тяжелее жизни окружающих.

Но надо было видеть, как преображалось ее исключительно некрасивое, всегда грязное лицо, когда она приходила ко мне

с нераспечатанным еще конвертом и говорила: «читай, Любима!» По мере чтения из глаз ее капали радостные слезы, а лицо светилось счастливой улыбкой. Она была счастливее меня... На следующий день после письма она, обычно, присылала мне через своего сынишку горячую лепешку или пирожок, которые я заставляла его тут же съесть. Шура была крайне неряшлива и нечистоплотна, но сердце у нее было большое и любящее. Когда она плакала, лицо ее никогда не изменялось, когда радовалась, — лицо становилось привлекательным, несмотря на некрасивость.

Наконец, 14.II.1946 г. на трех парах быков наша группа тронулась к станции железной дороги. Первые сани были украшены советским и польским флагами.

В сумерках мы погрузились в товарные вагоны с «полотьями» из досок, с железными печурками. Только теперь не было у эшелона людей с винтовками, двери вагонов были открыты настежь. К нашему вагону подъехал директор совхоза сказать свое последнее «прости»...

Прошло пять лет. Те же люди в отрепьях, заплатанных одеждах производили впечатление нищих, тряпичников. Когда-то жизнерадостные — теперь это были люди с опустошенной душой, больным сердцем, поруганным человеческим достоинством. Нехватало многих: голод, холод, непосильный труд и смерть не позволили дожидаться возвращения. Не хватало и всех тех, кого расстреляли.

15.II.46. Тронулись. На попутных станциях подбирали поджидавших наших людей. На какой-то станции формировался состав, выдавались продукты, платная и бесплатная помощь в виде одежды. Люди озверели: в очередях доходило до рукопашных схваток, слез, истерик, криков... Не хочется писать об этом — гадко. У меня от тоски болит сердце. Хочется тишины, покоя, хочется лечь, закрыть глаза и не думать; но в вагоне крик, споры и не с кем перекинуться словом.

О. И. успела переслать из Воронцовки письмо, а добрая Шура не поленилась пронести двенадцать километров, из Охры, на плечах, весь удой молока, чтобы мы еще успели на дороге попить свеженького. Она тронула своей заботой и отзывчи-

востью в нашем вагоне даже самых нечувствительных, когда, покрытая потом, металась вдоль поезда, разыскивая наш вагон. Прощаясь с нею, я прощалась с частицей России, к которой так всегда стремилась, которую так любила и которая отнеслась ко мне, как жестокая мачеха. «Прощай, немая Россия!» Было грустно и больно.

*Елена Ишутина*

## ВСТРЕЧИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ \*

Я познакомился с Горьким в конце 1905 г. в Москве, придя на свидание к Красину, будущему народному комиссару. Слава Горького была уже тогда огромна. Собрание сочинений его шло, кажется, седьмым изданием, а пьеса «На дне», с огромным успехом поставленная в 1902 г. Художественным театром, в печати выдержала 14 изданий в один только год. Стоило Горькому появиться в каком-нибудь ресторане Москвы или Петербурга и оркестр начинал в его честь играть «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно», песню из «На дне», ставшую популярной по всей России именно благодаря Художественному театру. Много лет спустя (в 1915 г.) Горький мне говорил, что эта унылая песнь так ему осточертела, так опротивела, что он слышать ее не мог. Он стал ее ненавидеть так же, как «пирог с морковью», а «доколе буду жив», шутил он в письме ко мне в 1930 г., «не угаснет в душе моей пламень ненависти к моркови».

В 1905 г. Горький внешне был таким же как на превосходном портрете, написанном Серовым несколько лет пред этим. Лицо его не было так некрасиво и сурово, не походило, как в поздние годы, на усатого моржа; копну в беспорядке спадающих волос он еще не сменил на прическу бобриком, щеткой торчащих жестких волос. Европейского костюма он тогда демонстративно не носил. На нем была черная рубашка-косоворотка, подпоясанная ремнем и широкие штаны, всунутые в высокие сапоги. Подобный костюм носили мастеровые побогаче, наездники на бегах, приказчики в Китай-Городе в Москве. В сущности, это был очень «мещанский» костюм. Непонятно, почему в нем шеголял Горький, объявивший войну всему внешне и внут-

---

\* Эта статья покойного Н. В. Вольского (Валентинова) любезно прислана нам из его архива его вдовой Валентиной Николаевной.

ренно «мещанскому»? Однако, не это привлекало внимание при первом с ним знакомстве, а его говор. Он сильнейшим образом «окал», особо твердо, явно, подчеркнуто произносил «о», там, где в центральной России, говорили «а». Это был говор рабочих, крестьян, мещан городков Окуровых некоторых губерний, например, Владимирской или Нижегородской, а в ней он родился.

Лев Толстой, начав свою первую беседу с Горьким усмехнулся: «ну, вас не нужно спрашивать, где родились, это видно по тому как окаете». А Федор Шаляпин, с которым Горький был очень дружен, ему часто советовал: «Алексей Максимыч, о философии лучше не болтай. Она с твоим говором в ссоре. Начнешь о ней говорить и получится смесь французского с нижегородским». Горький сам чувствовал, что окание, чуждое и Петербургу и Москве, придает его речи очень провинциальный тон, опрощает, не вяжется с большими, «вселенскими» темами, которых он любил касаться. Несмотря на усилия — прятать, заглушать «о», от этого говора он всю жизнь так и не мог отделаться.

В 1906 г. Горький уехал за границу и побывав в Америке поселился в Италии, на острове Капри. Он не желал жить в России, где после «красных дней» 1905 г. снова высоко подымала голову реакция. Кроме того, состояние его легких (туберкулез) принуждало жить в каких-нибудь более теплых местах. В Россию он вернулся лишь в конце 1912 г. С этого времени мое знакомство с ним возобновилось и до половины 1918 г. в течение четырех лет, я очень часто встречался с ним и переписывался. Переписка продолжалась и в 1930 году, когда Горький, снова в 1921 г. уехав из России, поселился в Соренто. Некоторыми впечатлениями от встреч с Горьким я и хотел бы поделиться. Мысль дать здесь какой-то «очерк» о Горьком от меня далека. Он слишком большая и сложная фигура и никак не может вместиться в несколько ниженабросанных страниц.

Горький в 1913 г. возвратился в Россию поздоровевший, полный энергии и разных больших планов. К тому времени у него началась дружба с И. Д. Сытиным, главным пайщиком, в сущности, хозяином самого большого книгоиздательского дела в России и самой распространенной газеты «Русское Слово». Ее тираж рос с каждым годом и во время войны перевалил за

1.000.000 экземпляров, цифра по тому времени небывалая. Но Сытин будучи русским американцем, не довольствовался достигнутыми успехами. Ему хотелось дело свое еще больше расширить. В 1914 г. он начал переговоры о покупке, давно существовавшего, многотиражного, очень популярного в России, иллюстрированного журнала «Нива», в приложении к которому (что крайне увеличивало число его читателей) давались полные собрания сочинений выдающихся русских и иностранных писателей. В 1915 г. это издание товарищества Маркса со всем его имуществом и правами было, при посредстве Русско-Азиатского Банка, приобретено Сытиным за три миллиона рублей золотом. В то же время Сытин задался целью обзавестись собственными бумажными фабриками, чтобы снабжаться бумагой отечественной фабрикации, а не выписывать ее из Норвегии и Финляндии. В перспективе вырисовывался концерн: собственные леса для добычи древесины, бумажные фабрики, издательство учебников, книг, иллюстрированных журналов, газета, оптовая и розничная книжная сеть. Когда Сытину говорили, что это «концерн», он отвечал — «я и слова-то этого не знаю, но думаю, что концерны хотят наживаться, а я хочу, чтобы народ **просвещался**».

Горький о замыслах Сытина был осведомлен и относился к ним не только с похвалой. Размах Сытина его увлекал. Он видел, что при соответствующем влиянии дело Сытина, финансово-солидное, с огромным техническим, налаженным, аппаратом, может быть прочной базой для широчайшей культурной и просветительной работы, а о ней, как о том будет сказано ниже, он и мечтал. И так как Сытин за ним ухаживал и, в частности, за огромную сумму, покупал собрание его сочинений, чтобы дать приложением к «Ниве» в 1917 г., Горький решил, что хорошо бы было использовать свое влияние на Сытина и стать, скажем, вдохновителем, высшим советником, гигантского сытинского дела. «У Сытина, говорил Горький, плохие советники. Он тратит массу средств на издание хлама, а между тем на эти деньги можно было бы напечатать превосходные и крайне полезные вещи». И Горький тут же давал длинный перечень действительно интересных изданий. У него был на этот счет большой и продуманный план: журналы для детей и юношества, популярные книжки по технике, истории труда, матери-

альной и духовной культуры, произведения иностранных авторов, сборники начинающих русских авторов и многое, многое другое..... Зная растущее влияние и тираж «Русского Слова» Горький хотел чтобы и там, как во всех других частях издательства Сытина, велась бы его линия, были бы люди близких ему убеждений. Без риска быть скомпрометированным какими-либо политическими качаниями газеты, это позволило бы Горькому писать в газете, сделать ее кафедрой, с которой, в тот или иной момент, он мог бы обращаться к стране. Я чуть было не написал — проповедовать. И не случайно: особый обличительно-социальный, проповеднический тон Горькому был несомненно присущ. В качестве образца можно указать на его статью в «Русском Слове», в которой он резко отнесся к желанию Московского Художественного Театра поставить сцены из «Бесов» Достоевского. Он считал это вредным и реакционным.

В течение нескольких лет пишущий эти строки сотрудничал в «Русском Слове» и формально числясь помощником редактора, был фактическим редактором газеты, так как В. М. Дорошевич жил в Петербурге, уезжал за границу и иногда в течение полугода не показывался в газете. Было бы долго, да и излишне, рассказывать как и по каким причинам это произошло, но незадолго до приезда Горького из-за границы я ушел из «Русского Слова». К моему уходу, считая меня «нетерпеливым», Горький отнесся неодобрительно. Он начал вести с Сытиным переговоры о моем возвращении на работу, а меня для обсуждения этого вопроса попросил приехать к нему в Петербург. Так начались встречи с Горьким. Но в 1914 г. разразилась война и переговоры о моем возвращении на работу в «Русское Слово» я счел нужным прервать. Ненавидя войну, не веря, что Россия в ней может победить, убежденный, что нужно скорее заключить мир, я абсолютно не был способен вести газету с теми шовинистическими и зоологическими ухватками, которых требует газетное обслуживание войны. Сытин, настойчиво звавший меня возвратиться в редакцию, этого понять не мог. Горький, разумеется, меня понял и на время войны разговоры о «Русском Слове» прекратил.

Завязавшееся с Горьким знакомство на этом не оборвалось. Наоборот, встречи с ним в 1915 и 1916 г. участились и дали

мне возможность лучше узнать его. Нужно напомнить, что в течение 1907-1913 г. Горький близко подошел к большевистской партии. Ленин очень искусно притягивал его к ней. По его предложению, Горький даже присутствовал на Лондонском съезде большевиков в качестве делегата с совещательным голосом. А позднее у себя на Капри с помощью Богданова, Луначарского, Базарова, Алексинского он организовал школу для приезжающих из России рабочих-большевиков. Горький даже согласился редактировать отдел беллетристики в выходившем в Петербурге в 1913 году большевистском журнале «Просвещение». Но общественно-политическая активность, в том виде, в каком она осуществлялась и связывалась с большевистской партией, его совершенно не удовлетворяла. В одно из первых наших свиданий в 1914 году Горький, со свойственной ему привычкой по несколько раз с небольшими вариациями повторять одни и те же слова, мне говорил:

«Ленин человек замечательный, очень замечательный. И большевики люди крепкие. Беда только, что у них слишком много склоки по пустякам, а склоку я не люблю. Очень не люблю. К тому же, они наравят действовать в подпольи, а я хочу действовать не тайно, а открыто. Все мы согласны с тем, что революция нам нужна и необходимо народ просвещать политически. Одного этого мало. Совсем мало. Нужно народ грамоте учить, культуре учить, почтению к труду, знанию техники. Нужно всесторонне воспитывать его. Ведь мы постылая отсталая Азия. Толка большого не будет, пока мы не вытравим из себя азиатский дух, не станем Европой».

Лозунг **«стать Европой»** я слышал от Горького в течение 1914-1915 г.г. множество раз. Это был его постоянный рефрен, что подтвердят, вероятно, все в то время с ним встречавшиеся. И когда ему приходилось кому-нибудь пояснять, что значит быть Европой, он неизменно отвечал: быть не рабами, а людьми свободными, уметь работать, быть культурными и знать. Слово знать, просвещать, не сходило с его языка. Знанию он придавал значение решающего, важнейшего фактора. «Интересы всех людей, писал он в 1916 г., имеют общую почву, где они солидаризуются, несмотря на неустранимое противоречие классовых трений; эта почва — развитие и накопление знаний. Знание это сила, которая, в конце концов, должна привести

людей к победе над стихийными энергиями природы и подчинению этих энергий обще-культурным интересам человека и человечества». Такой, совсем не марксистской, а чисто просветительской, в духе развития идей Белинского и Добролюбова, была общая программа, вокруг которой Горький намеревался собрать разные группы интеллигенции и, особенно, писательскую братию. Для этой программы он и хотел подчинить своему влиянию самое большое издательское дело России. И если бы не произошла революция, замысел Горького, конечно, осуществился бы, ибо Сытин шел ему навстречу. Этот из крестьян вышедший, монголовидный, еле грамотный, но очень большого ума человек был исключительно чувствителен к вопросу о пространстве знания. Юношей он начал свою карьеру офеней, обходя деревни с божественными книжками и сказками о Бове-Королевиче. Он тоже хотел быть «просветителем».

Программа и планы Горького ему были по душе. Уважение к Горькому у него увеличивалось еще и тем, что этот писатель поднялся вверх, будучи, как и Сытин, «низкого происхождения». После одного из свиданий с Горьким Сытин мне говорил:

«Влас Михайлович Дорошевич нам из-за границы привез знание как по французской манере телячьи почки в мадере готовить, а наш чувашин Максим (так он звал Горького) за границей большому, великому делу научился и нас просвещать будет».

Умница Сытин верно подметил, что чувашин «за границей научился большому делу». Он работал над собой по 12-13 часов в сутки. Его знания литературы, истории искусства, культуры, этнографии выросли изумительно. Огромное знание иностранной литературы было тем более удивительно, что кроме начал итальянского языка, он других языков не знал. К ним он не был способен. При разговоре с ним часто обнаруживалось, что он знает массу и других всяческих мудростей. Так на какой-то вопрос И. П. Ладыженского, Горький, однажды ответил целой интересной лекцией по антропологии народностей России. Но по части политических и экономических знаний, даже в их марксистской форме, он был весьма слаб. Он сам это открыто признавал. В очерке, написанном в 1924 г. о Ленине — Горький заявил: **«у меня органическое отвращение к поли-**

**тике и я очень сомнительный марксист**». Политиком он не был и не хотел быть. Он хотел быть идеологом-просветителем. В 1906-1913 г.г. Горький, повторяю, не зря прожил за границей. Уехав из России в черной нижегородской рубахе без галстука, он возвратился в европейском костюме. Это не была только смена одежды, а глубокая, внутренняя самопеределка и перемена. Он приехал убежденным европейцем, поклонником культуры, учреждений, техники, воззрений, активности, быта Запада. В 1916 г. в редактируемом им журнале «Летопись» (часть средств для него была дана тем же Сытиным) он впервые сделал попытку схематизировать приобретенные им новые понятия, сложить их в концепцию. Он уже освободился от «богостроительной» истины, введенной в его роман «Исповедь». А внесение ее в общественное движение ему одно время казалось нужным, чтобы религиозным пафосом углубить и поднять тонус движения. В очень значительной степени он отодвинулся и от слащавой идеализации рабочего класса, так портящей другой его роман «Мать», как и «Исповедь», тоже написанный за границей. Уход от этой идеализации стал виден в его словах: «я плохо верю в разум масс вообще». В статье «Две души» — он резко противопоставил мироощущение Запада, Европы, поклонником которой он стал, — мироощущению Востока и России.

«На Востоке, преобладание начал эмоциональных над началом интеллекта. Восток предпочитает умозрение — исследованию, научной гипотезе — метафизический догмат. Европейец вождь и хозяин своей мысли, человек Востока — раб и слуга своей фантазии. Запад рассматривает человека, как высшую цель природы, для Востока человек сам по себе не имеет значения и цены. Лозунги Европы — равенство и свобода, деятельность же Востока подневольна, ее вызывает только суровая сила необходимости».

Призывая бороться с различными азиатскими элементами русской души, с жестокостью по отношению к слабым и с «раболепием пред владыками», Горький объяснял исковерканность русской души — «нашим близким соседством с Азией, игом монголов, организацией Московского Государства по типу азиатских деспотий и целым рядом подобных влияний, которые не могли не привить нам основных начал восточной психики».

Замечательного и нового статья Горького не давала. Скажу больше: она не была солидна, была жидкой. Со времени еще Пушкина, писавшего в 1835 г. об «отчуждении России от Европы», на эту тему существует немало серьезных и обоснованно развитых суждений. К тому же Горький, будучи блестящим художником, с ярким стилем, как публицист был неловок. Тут его судьба подобна Льву Толстому и Гоголю: их публицистика раздражающе слаба. Горькому это было известно. «Я знаю, писал он в той же «Летописи», что я плохой публицист, это мне известно лучше тех, кто указывает на недостатки моих статей». Тем не менее, статье «Две души» Горький придавал очень большое значение. Она была важна для него самого, будучи связанной с некоторыми его глубокими душевными переживаниями, являясь попыткой оформить испытанную им в Европе самопеределку. Статью свою он мне читал еще в рукописи и перед чтением, щелкая по ней длинными пальцами, меня предупредил:

«Тут мое «како верую». Мысли ее мне нелегко дались. Буду читать без перерыва, пока голоса хватит. Потом поговорим. Заранее соглашусь, если укажете, что можно было бы лучше написать. Публицист я слабый».

Почему мысли статьи ему нелегко дались? Горький, окончив чтение, это объяснил. Детство и юность его были крайне тяжелыми. С ранних лет, лишившись родителей, он пошел «в люди», зарабатывать кусок хлеба. Был мальчиком в магазине обуви, в лавке с посудой, в магазине икон, служил на пароходе, был статистом в театре, пекарем, садовником, дворником, сторожем, железнодорожным служащим, рабочим, письмоводителем и наконец босяком исходил Россию. Заболел туберкулезом, придавленный жестокостью и мерзостями жизни, он пытался покончить с собой. То была минута слабости, сменившаяся огненным приливом желания снова бороться, не сдаваться, схватить за горло общественный строй, порождающий столько несправедливостей и страданий, опрокинуть его вверх тормашками, растоптать, поджечь, изрубить со всем тем, что в нем есть и всеми теми, кто в нем процветает. Даже позднее, когда он понял, что все растоптать и поджечь не есть решение, босяцкий разрушительный анархизм еще долго подспудно жил в его душе.

«Я ведь был деклассированный, говорил он, был вне об-

щества. Мне труднее чем неаполитанскому босяку было усвоить, что по-настоящему переделать социальную жизнь можно, в конечном счете, лишь при свободе знанием, любовью к работе, страстью к делу. Разрушительные эмоции у меня командовали над разумом. **Чувство меры, подчиненное интеллекту**, а в нем в сущности вся квинт-эссенция качественно высокой европейской мысли, мне было чуждо. Это мешало понять на чем стоит и чем сильна культура. Мне было трудно стать европейцем, но я не был им, как видите, не по тем соображениям, которыми питался антиевропеизм славянофилов или Достоевского».

«Чувство меры, подчиненное интеллекту», а об этом, как идеале социальной организации, любил говорить Горький в годы 1914-1916 г.г., определяло в его глазах и возможный характер будущей революции, хотя о ней в наших разговорах вопрос почти не ставился. Никто (и Ленин не исключение) — не думал, что она может быть близкой. Это неясно стало чувствоваться лишь в конце 1916 года после убийства Распутина. В революции, когда она пришла, Горький ни одной минуты не видел прелюдии к социалистическому перевороту. И две вещи страшили его в самом начале революции. Первая, что «при нашей склонности к анархизму мы можем **пожрать свободу**» и вторая, что буржуазия, в руки которой от самодержавия перейдут «развалины государства», может поправить слишком рано. Поэтому поводу из-под его пера выскочила однажды следующая неловкая, но весьма многозначительная фраза: «несомненно, что буржуазия **должна поправить**, но с **этим не нужно торопиться**, чтобы не повторить мрачной ошибки 1906 года». Однако, в конце марта, очарованный впечатлением от высокого подъема духа у сотен тысяч людей, участников грандиозной манифестации в день похорон в Петербурге на Марсовом Поле павших в февральской революции, Горький, отбросив свои опасения, стал оптимистически смотреть на дальнейший ход революции.

«Народ, писал он мне, показал высокую степень сознательности, он обвенчался со свободой и этот брак неразрываем». Я не разделял такого оптимизма. Политическая ситуация мне представлялась совсем не в радужном свете, а когда в апреле из-за границы приехал Ленин и обнародовал свои тезисы, у меня сложилось убеждение, что бессильное Временное Пра-

вительство удержаться не может и Ленин обязательно придет к власти со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом духе я и написал Горькому. Резко расходясь с его настроением, мое письмо, видимо, до того его раздражило, что через день он ответил на него очень грубо. Язвительно высмеивая меня за желание играть роль «некоей дамы» Кассандры, кликуши и предсказательницы всяких несчастий, он советовал мне «быть подальше от этой женщины, хотя бы потому, что по греческой мифологии она была сумасшедшей и худо окончила свою жизнь». «В ваши, подсказанные Кассандрой, предсказания, писал он, позвольте не верить». Горький пояснял, что холодная ирония, с которой Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выслушав тезисы Ленина, отнеслись к его анархическим призывам является лучшим доказательством насколько повысилась в народе политическая сознательность. Входить в полемику с Горьким и его дальше раздражать, я считал совсем ненужным. На письмо его ничего не ответил. Не поднял я этого вопроса и позднее, встретившись с ним, а только спросил его: виделся ли он с Лениным после того, как тот приехал в Петербург? Горький ответил: «Ленина я ни разу не видел и не предполагаю видеть». Горький посетил Ленина только в конце 1918 г., когда Ленин лежал раненый пулей Каплан. Позднее, в 1924 г. в очерке о Ленине Горький писал: «в 1917-1921 г.г. мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы видеть их». Но, многозначительно прибавлял он, «они не могли быть иными». В конце 1921 г. Горький, у которого началось кровохарканье, снова на семь с половиной лет покидает Россию, уехав в Италию, причем уехать **настоячиво** советует ему именно Ленин, в августе 1921 г. писавший Горькому: «В Европе в хорошей санатории будете лечиться и втрое больше делать. Ей-ей! А у нас ни лечения, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте».

В год своего шестидесятилетия, т. е. в 1928 г., Горький на несколько месяцев приехал в Россию, а в 1932 в ней окончательно осел. Его «европеизм» был уже совсем не ко двору в эпоху пятилеток. Приспосабливаясь к обстановке, созданной Сталиным, хотя он не хотел приспособляться к несравнимо более мягкой и более свободной жизни при Ленине, Горький был вынужден скрывать, извращать многое в своем мировоз-

зрении. Он делал это потому, что его ни на минуту не оставляла дорогая ему мысль как-то влиять на культурно-просветительное дело в стране и, особенно, на литературу, воздействию которой на душу населения он придавал исключительное значение. Вместе с тем, певцу труда, крайне импонировала ведущаяся в СССР кипучая работа нового строительства. В этом отношении очень характерна его речь в 1928 г. на торжественном заседании в его честь Пленума Совета в Тифлисе: — «Если бы я был критиком и писал книгу о Максиме Горьком, я бы сказал в ней, что писатель, которого вы так преувеличенно чтите, первый в русской литературе понял величайшее значение труда, образующего всё ценнейшее, всё прекрасное, всё великое в этом мире».

Для прославления пафоса труда, под редакторством Горького, с 1930 года в СССР стали выходить два журнала: «СССР на стройке» (при соредакторстве Пятакова) и «Наши достижения». Увлекаясь ими, Горький заставлял себя закрывать глаза на варварские условия и азиатское презрение к человеческой жизни, при которых эти технические достижения осуществлялись. Но он знал о них. И желание, в меру имеющейся у него возможности, вытеснить азиатчину духом Европы его не оставляло. В январе 1930 г., находясь на Капри, он мне писал в Париж:

«Не пожелаете ли дать для журнала «Наши Достижения» несколько бытовых очерков парижской и вообще французской жизни? Мы думаем ввести в журнал отдел «За рубежом». Для читателей наших было бы весьма полезно ознакомиться с тем как живет, чем живет рабочий, мелкий служащий, женщина, подростки и т. д.».

Я ответил Горькому, что напишу очерк, как живет и работает французский рабочий, об оплате его труда, как он одевается, питается, сколько платит за квартиру, какова обстановка его квартиры и т. д. Через два дня Горький сообщил, что «это как раз то, что надо», а посему убедительно прошу «напишите очерк». Немного позднее, подгоняя меня скорее прислать статью, Горький прибавлял: — «Очерки европейского быта нам крайне важны. Быт наш тяжек, нездоров, полон азиатских наслоений. Нужно его чистить и чистить. Корректуру в него может внести знание Европы и европейской жизни».

Так, повторим, Горький писал в 1930 г. Но с каждым последующим годом мысль о «корректуре» Азии Европой, о каких-либо полезных «бытовых» заимствованиях из Европы властям Кремля все более представлялась предосудительной, подозрительной, вредной. Внедрялась шовинистическая идея, что все совершенства и блага мира уже есть в стране восточного деспота, гениального Сталина. Маршируя вслед за этой эволюцией, М. Горький, к удивлению знавших его людей, даже водрузил на свою голову татарскую тюбетейку, в которой доселе видел эмблему Востока, столь же неприятную ему как «пирог с морковью». Очень памятно, как однажды Горький мне говорил:

«Отталкивание от европейской культуры может проявляться в виде кажущихся неважными мелочей. Реакционер Константин Леонтьев, например, остервенело убеждал турок, татар и балканские народы не расставаться с феской, с тюбетейкой и не надевать европейского костюма. Он не без основания рассчитывал, что под феской и тюбетейкой дольше и крепче протвердится в черепе азиатский дух».

Нужно ли пояснять, что даже ампутированные остатки европеизма Горького были бы сочтены подлым шпионским и вредительским воззрением в годы 1946-48, когда приказом Сталина и Жданова ненависть к европейской культуре была объявлена обязанностью советских граждан и было предписано «очистить» литературу, театр, музыку, живопись, историю, философию, биологию, лингвистику и вообще все области науки и жизни от того, что было злобно названо «низкопоклонством перед Западом». К счастью для него, Горький уже до этого подлого времени не дожил. Он умер в 1936 г., а в 1938 на московском процессе, окончившемся казнью последних представителей ленинской гвардии, знаменитый Вышинский объявил, что Горький убит врачами, по постановлению Троцкого, Рыкова, Бухарина и начальника ГПУ Ягоды.

В европеизме Горького была сторона, на которой, в виду ее исключительной важности, следует остановиться. Приехав однажды в 1915 из Петербурга в Москву Горький позвонил мне по телефону:

«Ждите меня к завтраку. Приду не один. Приведу с собой одного человечка. Кто? Не скажу. Сами увидите. Очень интерес-

ный. Нет, не интересный, а полезный. Прошу, если не любить, то жаловать».

Человечком-мужичком, пришедшим с Горьким, оказался беллетрист Семен Подъячев. Он действительно был из крестьян и жил в деревне в Дмитровском уезде, недалеко от Москвы. К 1916 году, при содействии Горького, которому он посылал на Капри свои пробы пера, ему удалось напечатать два тома рассказов, посвященных быту деревни. В его изображении она была адом. Убийства, поджоги, кражи, месть, драки, повальное пьянство, разврат, темнота, жестокость, алчность. Ни одной, ни малейшей, светлой черты в непробудном, безнадежном, страшном сельском мире! Я протестовал. Такое тенденциозно-перегнутое кривое изображение недопустимо. Ответ Горького забываем:

«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Пусть очерки Подъячева не художественное произведение, но они репортаж, фотография, документация выдающейся социальной важности. Вместо святых Власов, Акимов, Платонов Каратаевых народнической литературы и Льва Толстого, Подъячев дает подлинного, живого, неидеализированного, без всяких прикрас, мужика. Он продолжает линию разоблачений, начатую «Мужиками» Чехова и «Деревней» Бунина. Подъячев ставит точки над і. В этом его заслуга. Благодаря ему, мы лучше теперь знаем человекоподобного зверя, живущего в русской деревне».

Горький ненавидел крестьянство. Я точно характеризую его чувства. Мы не знаем другого русского писателя, который, оставляя свое восхищение «чувством меры, подчиненном интеллекту», так без всякой меры предавался бы полярным и жгуче противопоставленным чувствам ненависти и любви. «Не умея ненавидеть, невозможно искренно любить». Это его припев. Он проповедывал это устами Находки, персонажа из романа «Мать». И если об европейском крестьянине он говорил с холодным презрением, как о домовитом, дурно пахнущем клопе и антисоциальном мещанине, то об отечественном мужике мы слышали от него только слова ненависти. Город он любил, видя в нем потенциально-заложенные могучие начала разума и социальной справедливости. Деревню ненавидел. В его глазах она была вместилищем всяческих скверн. Он не желал считаться с историческими условиями, уродовавшими и кале-

чившими мужика. Его несправедливое отношение к крестьянину коробило. По этому поводу у нас всегда возникал спор. Тут было нечто от Челкаша, если бы тот заговорил с утрированно марксистскими аргументами. Когда Горький утверждал, что Россия постылая Азия, гнусный Восток, он имел в виду прежде всего и более всего — деревню. В своей статье «Две Души» он настаивал, что **«основным препятствием на пути России к европеизации и культуре является факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и полное отсутствие в нем социальных эмоций»**. Горький не только ненавидел крестьянство. Он боялся его. Пред ним вставало иногда видение, что стомиллионная сермяжная, дикая, жестокая, темная масса выйдет из повиновения, зальет страну, задушит город и, в конце концов, посадит на трон какого-нибудь нового Пугачева или Стеньку Разина. А оба они, эти мужицкие атаманы, ему были противны. Большевицкую идеализацию их он с насмешкой отвергал.

Ретроспективный взгляд позволяет нам вынести суждение о крестьянофобстве Горького. Теперь мы знаем, что зверскую, азиатскую жестокость обнаружил во время революции совсем не мужик, а именно «революционный город», по Горькому, носитель культуры и социальных эмоций. Деревня выгнала в 1917-18 году помещиков, пограбила и пожгла их гнезда (однако, далеко не все), но убийства помещиков совсем не были массовым явлением. Во многих местах, окорнав помещика, мужики даже оставляли ему «на прокорм» клочек земли. Уже потом, в 1922-23 г.г. и по распоряжению **только города** с земли были выгнаны последние из оставленных на ней бывших владельцев. В 1917 г. множество людей убежденно доказывало, что было бы безумием допустить дележку земли в самочинном порядке. Говорилось, что мужики, способные, как говорил Подъячев и думал Горький, из-за уворованного куренка соседа убить, друг друга перережут при распределении помещичьей земли. Оказалось это неверным. Переход сотни миллионов десятин в руки деревни в 1917-1918 г.г. прошел до удивления спокойно, при минимальном числе случаев междукрестьянских столкновений.

При последнем свидании с Горьким уже в 1918 г., я обратил на это его внимание. Но это не произвело на него никакого впечатления. Его отталкивание от крестьянства, по его мне-

нию, «анархизированного» войной и от дележки земли лишь обрастающего еще большей алчностью, было так велико, что поколебать Горького не было возможности. Но тут и ключ к пониманию одного факта, остающегося мучительно-непонятным для почитателей Горького и для людей его любивших. Мы говорим об его отношении к насильственной коллективизации, сопровождавшейся такой азиатской жестокостью, что при мысли о ней стынет кровь. Как ни страшно сказать, эта варварская операция могла и не производить на Горького какого-либо большого впечатления. Именно потому, что он ненавидел мужика, он мог в мероприятиях Сталина видеть, или лучше сказать, даже наверное видел спасительное средство от опасности угрожающей культуре апокалипсическим зверем из бездны сермяжной России. Здесь не было приспособления взгляда Горького к взглядам Сталина. Тут только встреча их. Мысль о настоятельной необходимости застраховаться от мужика Горький высказывал еще в 1915-1916 г.г., а тогда ни одна Кассандра не могла предсказать того, что потом произошло.

Я касался до сих пор социально-политических взглядов Горького. Мне хотелось бы слегка остановиться на некоторых чертах его характера. Он был удивительно интересен вне большого общества. Если Горький чувствовал симпатию к своему собеседнику, он оживлялся, сыпал груды разных воспоминаний, метких, красочных рассказов, характеристик. Но как только он попадал в большее общество, в общество даже 6-7 собеседников, Горький съезживался, замолкал, только время от времени бросал замечания, в виде каких-то афоризмов и никогда не делал попытки их развить или доказать. При немногочисленных слушателях он владел словом, как только слушателей было больше, Горький спотыкался, делался неловким и просто конфузливым. Я никогда не слышал Горького выступающим на больших народных собраниях, но зная ту черту, о которой я только что сказал, мне понятно почему так безнадежно пусты газетные отчеты о его речах, которые он произносил, приехав в Россию после 1928 года.

Странной чертой у него была слезоточивость, абсолютное невязавшаяся с его общим характером, чуждым сентиментальности. Однажды, сидя у нас в Москве, в 1915 г. он рассказывал, что русские солдаты принуждены идти в атаку на немецкие око-

пы, не имея особых ножниц, чтобы разрезать проволочные заграждения. Не берусь судить, так ли это в действительности было, могу только сказать, что когда Горький рассказывал, как русские солдаты пытаются перепрыгивать через проволочные заграждения и на них повисают, слезы катились из его глаз. Помню, на меня и на мою жену этот рассказ Горького произвел сильное впечатление. Горький вытер слезы и замолчал. Молчали и мы. После этого рассказа ни о чем говорить уже не хотелось. Дня через три после этого, Горький снова был у нас. Мы были не одни. Были профессор Тарасевич и его брат. Так как тогда речь постоянно заходила о войне, Горький повторил свой рассказ и снова слеза скатилась из его глаз. На обоих Тарасевичей рассказ и слеза, конечно, произвели большое впечатление. У меня и моей жены это впечатление уже ослабело. Через три недели, приехав в Петербург, я был вечером у Горького. За ужином за столом, помимо семьи Горького сидело человека четыре. Горький опять рассказывал о солдатах, предсмертно корчащихся на проволочных заграждениях, и у него опять появилась слеза. Должен признаться, что на сей раз Горьковское описание оставило у меня уже какой-то неприятный осадок. Известно, что некоторые артисты, играющие, как говорится «внутром», так входят в переживание изображаемых ими лиц, что по ходу пьесы могут, без всякого напряжения, по настоящему лить слезы. Слезы, так сказать, приходят когда им велят. Был ли Горький таким артистом?

Все видевшие его потом в годы 1928-1934 рассказывают, что слезы Горького появлялись легко, точно по заказу много и много раз по самым разнообразным поводам. В сопровождении бывшего начальника ГПУ Ягоды он посетил стройку Беломорского канала, и сугубо лил слезы, слушая объяснения Ягоды о том, как на этом канале, строившимся принудительным, каторжным трудом, происходит «моральная перековка» в добрых советских граждан тех, кто осмелился в какой-либо мере «вражески» нарушить советские законы. Мне было бы неприятно думать, что слезы Горького лишь лицедейство, наигранная, актерская вода, однако объяснить их нахлынувшей в тот момент сентиментальностью, якобы, присущей ему особой чувствительностью, я тоже никак не могу. Чувствительный человек в 1928-34 г.г. быть со Сталиным не мог бы.

Попутно хотел бы указать еще на одну черточку характера Горького, правда, совсем другого порядка, но много раз ввергавшую меня в недоумение. Горький как то рассказывал о некоем «рабочем» Вилонове, слушателе организованного Горьким «университета» на Капри, подготовлявшего руководителей революционеров из рабочей среды. Меня Вилонов очень интересовал: в 1902-1903 году он был в Киеве моим учеником в подпольном кружке, в который я ходил в качестве пропагандиста. Вечными спорами он много мне тогда попортил крови! Расходясь с Горьким и другими преподавателями университета, Богдановым, Луначарским, Алексинским, Вилонов, всегда готовый скандальничать с интеллигентами (он их всех не любил), после каких-то бурных сцен, уехал в Париж к Ленину, встретившему его, можно сказать, с распростертыми объятиями. Я спросил Горького, почему уехал Вилонов, что произошло тогда, по какому поводу Вилонов устроил, повидимому, очень большой скандал? Горький слушал меня, смотря не на меня, а в окно и ничего мне не ответил. Предполагая, что он не слышит, я повторил мой вопрос. Горький продолжал упорно молчать. Я понял, что по каким-то причинам он не хочет мне этого объяснить. Но не проще ли было сказать об этом? Я не остановился бы на этой маленькой сценке, если бы в течение четырехлетних частых встреч с Горьким, не сталкивался бы с этим практикуемым им непонятым молчанием, производившим странное впечатление. Человек ведет оживленную беседу и **вдруг** закрывает рот, делается непроницаемым, загораживается точно стеной.

Вот еще один пример такого Горьковского молчания. Кажется, в 1917 г. артистка М. Ф. Андреева, жена М. Горького до 1920 г., пришла к нам в сопровождении молодого безрукого французского офицера (руку он потерял в 1915 г. во Франции, сражаясь с немцами). К величайшему моему изумлению, этот французский офицер, входивший в состав военной французской миссии в России, оказался русским, или еще точнее — русским евреем. И носил этот еврей архирусскую фамилию — Пешков, т. е. настоящую фамилию М. Горького. Во вторую мировую войну Пешков, в чине генерала был представителем Франции при Мак-Артуре в Японии. А перед этим он был несколько лет в Африке одним из командиров знаменитого ино-

странного легиона. Позднее я узнал, что он брат известного большевика Свердлова и сделался Пешковым потому что был усыновлен М. Горьким. Разумеется, вся эта история меня заинтересовала и при первом же свидании я попросил Горького мне рассказать об усыновлении им Свердлова. Вопрос этот никак нельзя было назвать влезаящим в интимную жизнь, хотя бы потому, что об этом все, кажется, знали кроме меня. Горький выслушал меня очень внимательно, посмотрел на меня и стал смотреть куда-то вбок. Думая, что он не понял, я снова спросил его. Горький ответил: «я слышу» и погрузился в непроницаемое молчание, на которое приходилось наткнуться уже несколько раз до этого...

Горького весьма мало ценил Лев Толстой. Он, кажется, не признавал за ним никакого таланта. Он резко критиковал стиль Горького, а по поводу, горьковского «море смеялось» сказал ему однажды (об этом мне рассказывал сам Горький): «и вам не стыдно вертеть так словами»? Если Толстой не очень жаловал Горького, то, наоборот, Горький преклонялся пред талантом Толстого так, как, по-моему ни перед каким другим великим писателем. Он вечно повторял, что писать нужно как Толстой, т. е. не вертя словами, а пользуясь **«самыми простыми и самыми точными словами»**.

Как то вечером на даче у финляндской границы, расхаживая по саду, Горький мне говорил: «В чем гибель Толстого? Да в том, что он стал писать жалкие богословские наставления, проповедывать непротивление злу насилием и преданность воле Божьей, вечно говорить о смерти и смирать себя вегетарианством. А знаете, кем был в действительности Толстой? Языческим Богом — Паном. Подпоясавши чресла звериной шкурой он должен бы был с дубиной, эдак пуда в четыре, жить в дремучих лесах, бороться с медведями, дробить дубиной череп волку. Никто лучше его не мог описать как пахнет трава, деревья, роса, лесные ягоды. А почему? Да потому, что он Бог-Пан. Кому лучше знать всякие лесные запахи? Вспомните его нос: ноздри огромные и открытые вбирали в себя все, доступные нашему ощущению запахи. Ясно вижу, как Толстой — огромный, голый, заросший волосами — Бог-Пан, подбирается к реке, в которой купаются девушки и с того берега гогочет, хохочет, их зазывает: эй, девушки, плывите ко мне, сколько вас

ни есть, двадцать, тридцать, на всех у меня силушки хватит. Таков в действительности был Лев Толстой, а он ломая себя, идя против языческой своей натуры, стал толковать о грехе похоти, о воздержании. Норвежец Гамсун написал роман: Пан. А если бы, свободно отдаваясь своей натуре, Толстой взялся за такую вещь, получилась бы вещь потрясающая: уверяю вас, языческие боги воскресли бы и Дионис снова заплясал бы в хороводе с вакханками! Портрет Толстого, того, который написал «Крейцерову Сонату» и «Царство Божие на Земле», создан, распространен по всему свету. А мне часто хочется разорвать этот портрет и вместо него дать настоящий. Может-быть когда-нибудь и сделаю. Нужно только осмелеть. Слушайте, что я вам скажу. Был я как-то у Толстого, он жил тогда в Крыму. Когда я вошел к нему, от него уходил Бальмонт, поспешно, красный, очевидно, после далеко неприятного разговора. Подведя меня к окну и указывая на шагающую, худую фигуру Бальмонта Толстой сказал с усмешкой: «этот человек в стихах всё о любви, как воробей, пищит, а на деле он не в состоянии справиться даже с одной здоровенной девкой». Заметьте, Толстой не сказал «справиться с девкой», а без малейшего стеснения употребил другой и самый грубый глагол. Я тогда покраснел и оторопел: вот так яснополянский проповедник! Я в то время еще не понимал, что замечание по адресу Бальмонта лишь маленькая вспышка этой титанической, языческой натуры, насильно связавшей себя евангельскими рецептами о смерти и убийстве плоти. Натура эта часто прорывалась в виде признаний в дневнике, но эти признания не могут дойти до нас. Над его дневниками, к несчастью, бдели и бдят людишки вроде Черткова, Гусева, Душана Маковецкого и прочих. Эти «толстовцы» корректируют Толстого. Когда думаю об этом — негодование охватывает».

Однажды, будучи в хорошем настроении, Горький со смешком рассказал мне о его встрече с Лениным в Лондоне, если не ошибаюсь, в 1907 г. т. е. когда Горький в виде почетного гостя был приглашен на 5-ый съезд большевистской партии. Ленин пришел к Горькому в отель и после первого рукопожатия и нескольких приветственных слов, быстро подошел к кровати и начал, молча, шарить рукой под одеялом и под подушками.

«Я стоял, передавал Горький, чурбаном, абсолютно не понимая, что делает и для чего это делает Ленин. В моей голове пронеслась даже дикая мысль: не с ума ли он сошел! Слава Аллаху, мое смущение и недоумение быстро окончилось потому что Ленин, подойдя ко мне, объяснил: в Лондоне климат сырой и нужно тщательно следить, чтобы постельное белье не было влажным. Это очень вредно и опасно для людей, как я, с больными легкими. А мне де нужно особенно беречься потому что я только что написал роман «Мать», вещь, будто, полезную для русского рабочего и призывающую его на борьбу с самодержавием. За такой комплимент я, конечно, Ленина поблагодарил, только, сознаюсь, несколько досадно стало. Хорош или худ этот роман не мне судить. Кончая писать, я почти всегда остаюсь недоволен тем, что написал, но сводить мою работу к чему-то вроде комитетской прокламации на штурм самодержавия, как это сделал Ленин всё-таки не годится. Я ведь пытался в моей вещи подойти к нескольким большим, очень б-о-л-ь-ш-и-м проблемам. Оправдание террора, убийств, казни во время революции — ведь это большущая моральная проблема, ведь нельзя же легко уйти от мысли не пачкать убийством священное дело».

Горький, как видим, недостаточно тогда проник в Ленина. Той проблемы, которую он считал морально тяжкой и «очень большой», для Ленина не существовало.

*Н. Валентинов*

## ВО ЧТО ВЕРИТ СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ?

Осенью 1963 года делегация французской социалистической партии во главе с ее генеральным секретарем и бывшим главой французского правительства, Ги Молле, ездила по приглашению советского правительства в СССР и провела там две недели. По возвращении в Париж, была устроена конференция печати, на которой Ги Молле и его коллеги рассказали о виденном ими в Советском Союзе.

Мне, сотруднику русских эмигрантских изданий, казалось не совсем удобным публично задавать вопросы, они легко могли быть истолкованы, как непереносимое желание найти неладу в советском строе и быту, и вызвать не вполне дружелюбную реакцию у большинства присутствовавших, принадлежавших к левым и крайне левым течениям. Поэтому я обратился к Ги Молле после окончания конференции. Я спросил, не создалось ли у него впечатление, особенно после беседы с Хрущевым, что сам глава советского правительства готов бы был дать ряд новых послаблений, еще больше демократизировать режим, но что такая политика встречает большие трудности.

Ги Молле ответил, что лично у него такое впечатление действительно создалось, хотя, конечно, сам Хрущев ничего подобного ему не говорил да и не мог сказать.

«Мое мнение, — сказал Ги Молле: — всё будущее СССР зависит от молодежи и только от молодежи. В каком направлении эволюционирует она, в таком направлении эволюционирует и советский строй, а с ним и весь Советский Союз. Я думаю, и для этого у меня есть основания, что эта эволюция будет идти в направлении сближения с Западом, но до первых ощутимых результатов надо будет подождать лет шесть».

Один из моих знакомых французов, студент, подружился два года тому назад с молодым советским ученым, посланным для каких-то работ на шесть месяцев в Париж. По возвращении советского ученого — будем называть его «Н» — в Ленинград,

между молодыми людьми завязалась переписка (она ведется особым образом). В своих письмах друзья обсуждают разнообразные вопросы, начиная от отношения молодежи к теперешнему строю в СССР, до «перспектив будущего» и «культурных сопоставлений» Запада и Востока. Почти во всех письмах «Н» подчеркивает: «Я смею утверждать, что представляю всю прогрессивную советскую молодежь и имею право говорить от ее имени». И еще: «Тебя интересует эволюция нашего строя. Она будет зависеть от науки, от тех открытий, которые будут еще сделаны и которые безусловно приблизят нас к Западу. Но будущее нашей науки в наших руках, в руках молодежи. Будущее страны зависит от молодежи».

За последние пять лет мне приходилось довольно часто встречаться с советскими людьми, преимущественно с молодыми. Они принадлежали к разнообразным слоям советского общества. Среди них были писатели, художники, артисты, врачи, инженеры, студенты, спортсмены, даже простые рабочие, за особые отличия удостоившиеся поездки за границу. Встречался я с ними во Франции, в Швейцарии, в Австрии, в Бельгии и в Италии. Зачастую встречи были повторными, т. е. происходили не раз на протяжении нескольких недель. Почти всегда в таких случаях устанавливались дружеские отношения, удавалось говорить «до дна» откровенно. Всего чаще темой разговоров было сопоставление западной культуры с советской, западной жизни с жизнью в СССР. Я рассказывал о здешней литературе, живописи, философии, о том как живут здесь рабочие, какие во Франции социальные законы. Мне рассказывали, как обстоит положение в соответствующих областях в Советском Союзе. Очень редко (это были действительно исключительные случаи), когда наши мнения и выводы расходились. Почти всегда мы сходились на надежде, что придет время и советская культура станет более современной, более соответствующей настоящим нуждам и интересам советской молодежи, будут переводиться на русский язык Сартр, Кафка, Джойс, Гейдеггер, Карнап, Тейяр де Шарден, Бертран Рассель и др.

Среди моих друзей десять человек ездили с французской национальной выставкой в Москву в 1961 году. У многих из них, особенно у молодых, установились настоящие дружеские связи с советской молодежью. Один из них — как ни странно

это может показаться — молодой человек двадцати шести лет, и советский студент-медик обменялись крестами. Рассказы вернувшихся с выставки, т. е. пробывших в СССР шесть недель, только подтвердили мои прежние наблюдения о настроениях советской интеллигентной молодежи.

Я знаю многих лиц по несколько раз ездивших в СССР и продолжающих туда ездить. У них тоже установились прочные связи и настоящая дружба с москвичами и ленинградцами, с молодыми деятелями искусства, с артистами и учеными. Многие из них переписываются со своими советскими друзьями. Особенно показательны письма одной девушки из мира искусств. Она пишет своему лондонскому корреспонденту о нравах советских писателей, художников, музыкантов; рассказывает о духовной атмосфере, в которой живет молодая советская творческая элита. Это другой слой советской молодежи, иной чем тот, который описывает «Н», хотя в главном их свидетельства сходятся. В дальнейшем я буду называть эту вторую корреспондентку «С».

Всё нижеследующее будет состоять из рассказов советских молодых людей моим друзьям и мне, и из выдержек из писем «Н» и «С». Само собою разумеется, что я не могу называть какие либо имена. Мне даже пришлось изменить обстоятельства и даты встреч, их место и профессии рассказчиков. Как бы ни были интересны и нужны все эти уточнения, я не имею права подвергать опасности людей, которые с таким доверием делились с моими друзьями и со мной своими мыслями и настроениями.

### КОММУНИЗМ

Без сомнения, главный интерес представляет отношение советской молодежи к советскому строю, к коммунизму вообще. Лично я среди молодых советских людей настоящих стопроцентных коммунистов не встречал. Когда же такие попадались, это были люди или старшего, или «промежуточного» поколения, начиная приблизительно от тридцати пяти лет. Молодежь же, как правило, коммунизмом не интересуется, а те, кто подобными вопросами занимаются, считают, что коммунизм изжит или, во всяком случае, должен быть изжит. Вот, что пишет «Н»:

«Ты задаешь вопрос — существуют ли среди молодежи бескомпромиссные коммунисты? Существуют, но их надо искать в глубокой провинции, среди малоинтеллигентных элементов, которые ничего кроме партийной литературы и газет не читают и считают, что на Западе живут так, как жили до революции у нас. Но таких мало. Большинство уверено, что на Западе рай, особенно в Соединенных Штатах. Отсюда вывод: советский коммунистический строй никуда негоден, раз почти за пятидесятилетнее существование он не смог обеспечить жителей даже нейлоновыми рубашками... 'Нельзя себе представить, — так говорят они, — чтобы американцы нам завидовали, а вот мы им завидуем'. На этом их антикоммунизм и кончается. Как видишь он не высок, но для них совершенно достаточен. Всё это неинтересные люди и я не думаю, что их недовольство может перейти в открытый протест. Так наверное считают и «наверху», поэтому их и не боятся и не обращают на них внимания... В наших студенческих кругах отношение к коммунизму совсем другое, оно проходит совсем в другой плоскости — вне признания или отрицания. Мы вообще считаем, что «да» и «нет» не интеллектуальные категории... Коммунизм изжит, он дал всё, что мог дать и больше никому не нужен. Он только мешает»...

В другом письме того же «Н» есть такое место:

«Деления на коммунистов и антикоммунистов на высшем уровне быть не может. Оно означало бы, что не изжиты импульсы прошлого».

«Н» несколько раз повторяет, что «передовая советская молодежь живет вне политики... т. к. время политики вообще прошло». Признавая поэтому отставание СССР в целом ряде областей — в гуманитарных науках, в философии, в литературе и в искусстве, «Н» с некоторой даже гордостью противопоставляет такое отношение советской молодежи к политике, отношению к ней на Западе, в частности, во Франции:

«Когда я был во Франции и читал французские газеты, мне казалось, что я провалился в XIX столетие. Французы не занимаются политикой, но играют в нее... Наверно потому, что знают, что судьба мира больше уже не зависит от Франции».

А вот другое свидетельство. Оно исходит из мира искусств и находится в письмах «С»:

«Коммунизм для нас — злейшая из диктатур и вовсе не потому, что он навязывает нам свой заказ, заставляет служить себе и созданному им строю, но потому, что он принципиально приравнивает искусство к науке, хочет сделать его столь же рациональным, как и наука. Это убивает искусство, его душу, его сущность».

И в другом месте:

«Нашим властям непременно хочется, чтобы мы и любили по коммунистически. Это — то, что испакостило всю нашу литературу... Живопись вместо того, чтобы стать правдой о советском человеке, стала ложью о нем, его карриатурой. Нечего после этого кусать локти и жаловаться, что наши картины не ценятся на Западе, что на них никто не хочет смотреть, а с нашими художниками никто не желает разговаривать».

(Намек на поездку советских художников во главе с Герасимовым и Дейнеке во Францию в 1962 г., когда они добились встречи с Пикассо, но тот от встречи уклонился).

Есть у «Н» и такое признание: — «Для меня марксизм интересен не в плане политики, но в плане методологии. Марксистский подход к методам научного исследования дал ряд выдающихся результатов, особенно в области естественных наук и психологии. Если тебя это интересует, ознакомься с трудами А. Валлона\* и ты поймешь каким образом диалектический метод позволил ему сделать ряд интересных открытий преимущественно в области детской психологии».

Это письмо только подтверждает вышесказанное: интересуюсь, главным образом, наукой, советская молодежь и в марксизме ищет лишь те элементы, которые могут способствовать научному прогрессу.

Мои личные разговоры с советскими людьми на эту тему мало чем отличаются от приведенных показаний. Так, имея возможность почти двухнедельного непрерывного общения с группой советских молодых людей, я спрашивал их об их отношении к коммунизму. Мы разговаривали совершенно откровенно и я не нашел в них ни убежденных коммунистов, ни резких антикоммунистов. Я не помню точно их реплик и ответов, но смысл был таков: Коммунизм и коммунистическая власть сделали без-

---

\* Анри Валлон, известный французский психолог, автор выдающихся работ по психике детей.

условно очень много для Советского Союза. Они подняли его промышленность, научили патриотизму, сделали возможной победу над гитлеризмом. Советский спутник и советский человек оказались первыми в космосе. Но за последние три-четыре года коммунизм начинает как бы выдыхаться, а Запад даже в космонавтике начинает нагонять свое отставание. Словом, коммунизм уже не порождает прежнего энтузиазма, особенно у тех, кому удалось побывать на Западе. Один из советских молодых рабочих так мне и сказал:

«Если бы я был Хрущевым, ни за что бы не пускал мальцов за границу: вернутся, начнут сравнивать и пойдет буза!»

Однажды, познакомившись на улице с рабочей делегацией К-го завода, приехавшей на очередной международный конгресс, я провел с нею целый день. Мои собеседники, которым я служил добровольным переводчиком, все были убежденными коммунистами, а двое имели даже партийные билеты. Правда, все они были старше тридцати лет. Ужин вскладчину с цветным ассортиментом аперитивов развязал языки и размягчил сердца и руководитель группы — «нянька» (он сам сказал, что так его называют) — подытоживая нашу беседу, сказал мне приблизительно следующее:

«Глупо сравнивать уровень жизни в Советском Союзе с уровнем жизни на Западе. Ведь уровень, он дело наживное и не из-за уровня мы устраивали революцию, сидели в лагерях, дрались с нацистами. Вот вы всё попрекаете нас отсутствием свободы, жалуетесь, что не пропускаем в Союз вашу западную литературу, вашу передовую философию, ваше современное искусство. А что нам с ними делать? У нас на руках пятьдесят миллионов молодежи и мы хотим воспитать их хорошими коммунистами, а не беспринципным хулиганьем, душевно-опустошенными, не находящими себе места, людьми».

Я ответил, что насколько мне известно, это высокое задание должно быть очень трудно осуществимо, потому что советская молодежь еще больше западной падка на материальные блага, увлекается западной джазовой музыкой и когда имеет возможность зачитывается западной «гнилой» литературой.

Мой собеседник пытался возражать, но я привел ему несколько примеров из советских же газет и свидетельств самих советских руководителей.

«Перевоспитание народа, — согласился он, — самая трудная задача поставленная себе партией. Для этого нужны поколения. Нам помешала война, а главное, период культа личности. Он приучил к недоверию, к доносам, ко лжи, исказил самую воспитательную систему. Таких книжек, как «Коммунистическая мораль» Щукина, вы уже не найдете. Он затормозил развитие литературы, создав псевдогероев, породив псевдогероинку и псевдопроблемы. Когда теперь приходится разоблачать этот культ, приходится одновременно ломать и психологию молодежи. Не думайте, что такие повести, как «Один день Ивана Денисовича» появились с бухты-барухты. Вопрос о ее напечатании решался не только в редколлегии «Нового Мира», но и в самом ЦК. Такие дискуссии происходят и до сих пор: ведь те из молодых (да и не только из молодых), кому вдалбливали в голову, что лагерей не существовало, — вы что думаете они не задавали себе вопроса, как это всё так случилось, почему раньше все молчали, почему раньше партия всё это допускала, почему раньше никто ничего не видел и т. д.? Теперь, чтобы справиться со всей этой канителью, чтобы всё это улеглось, нужен не один год и не одно поколение... Но пока главный вопрос остается: как могла допустить партия культ личности и существование лагерей?»

Весной этого года из СССР вернулась одна французская художница русского происхождения. Она провела в Москве, Ленинграде и Киеве около двух месяцев и как раз интересовалась существованием подпольных литературных и художественных кружков. На вопрос — а приходилось ли ей встречаться с кружками или организациями политическими, она ответила, что нет и пояснила, что у нее создалось впечатление, что политический момент, как таковой, советскую молодежь не интересует, что в этом плане ее психология значительно отличается от психологии западной, уж хотя бы потому, что ей, т. е. советской молодежи, почти ничего неизвестно о некоммунистических политических доктринах, не считая тех их искаженных версий, которые дает официальная пропаганда.

Значительно позже, в сентябре, я встретил молодого американского ученого экономиста, только что вернувшегося из Москвы, где он прочел курс лекций. В противоположность утверждению художницы, он сказал, что ему приходилось встре-

чать и политические оппозиционные кружки молодежи, но тут же прибавил, что у него сложилось впечатление, что эти кружки живут своей замкнутой жизнью и не имеют почти никакого отголоска вовне. Он еще сказал, что такие поэты, как Евтушенко и Вознесенский, не пользуются большим уважением, именно за то, что имея в свое время огромную аудиторию, они ни разу не осмелились выступить в защиту настоящей свободы творчества, не говоря уже об элементарных гражданских свободах.

### НАУКА

То, что особенно поразило американца, это отношение советской молодежи к науке, число юношей и девушек по настоящему интересующихся наукой и их незаурядная осведомленность в том, что в интересующих их областях делается на Западе. Он сказал, что ему пришлось встретиться даже с знатоками философии Лосского и Бердяева. Правда, специальная западная научная литература доступна очень ограниченному кругу. Добывается она тоже почти всегда нелегально, но интерес к ней огромный. Не веря в Бога, разуверившись в коммунизме, советский человек перенес свою веру и свою любовь на науку.

Вот что писал «Н» своему парижскому приятелю:

«Ваши французы всё еще не понимают, что будущее человечества уже не зависит от политических партий, но от науки. Мы здесь прямо считаем, что пройдет еще несколько десятилетий и политикой будут заниматься одни бездельники и болтуны. Политика, к которой вы привыкли на Западе, исчезает и ее заменяет наука. Состязаться в построении лучшего общества будут не политические партии, а ученые в своих кабинетах и лабораториях».

И в другом письме: — «При Сталине науке был нанесен тяжелый удар (в некоторых областях его последствия чувствуются и до сих пор): ее старались коммунизировать, т. е. политизировать. Но процесс должен быть обратным — нужно согласовывать политику с последними научными открытиями, подчинять политику науке. Так уже было с кибернетикой и с Лысенко, так должно быть и со всем остальным...»

Затем идет просьба:

«Непреренно пришли Карнапа, если нет на французском, посылай по-английски, как-нибудь переведем. Я никогда его не читал, но слышал, что это самая серьезная попытка философии науки. Ведь Карнап создал специальную логику для понимания сущности научных явлений. Было бы интересно ознакомиться и самому, и товарищам. Я тебе уже писал, что у нас существует кружок как раз по таким вопросам. Пришли также и Б. Расселя, его — философию математики и вообще всё, что касается науки».

«Мы верим в науку, — говорил мне один советский доцент, — но надо, чтобы вы поняли, что наша вера в науку не имеет ничего общего с прежней слепой религиозной верой в Бога. Религия заставляла сносить худший мир и верить в лучший после смерти. Мы отвергаем всякий потусторонний мир, который существует пока существует его придумавший человеческий мозг. После смерти сгниет мозг и вместе с ним и потусторонний мир. Вера в науку иная: мы видим ее результаты и на их основании делаем заключения о вероятности будущих достижений. Мы, конечно, можем ошибаться, но ошибка всегда будет касаться лишь степени предположений, а не самих предположений, тогда как в вере ничего проверить нельзя».

Другой советский студент говорил:

«Главное в науке то, что она освобождает. По-настоящему свободным человеком может быть только ученый, человек науки, потому что лишь он будет меньше всех остальных связан с предрассудками. Свободный не тот, который прет против рожна, но тот, который знает, когда можно переть и когда нельзя. Марксизм есть научное мировоззрение, основанная на науке социальная система, поэтому и только поэтому, она нам ближе всех остальных и кажется наиболее справедливой».

На мое возражение, что именно в плане научном марксизм и отстает, т. к. последние технические достижения дают возможность такой реорганизации общественной жизни, о которой при Марксе никто не мог даже подумать, мой собеседник ответил:

«Отстает не марксизм, отстают марксисты, потому что до сих пор не хотят понять, что основная заслуга марксизма в том,

что он прежде всего метод. Они же напирают на содержание. Само собой разумеется, что за сто лет в содержании, в доктрине многое может устареть. Метод же стареет гораздо медленнее и марксистский метод научного исследования еще далеко не весь использован».

Это утверждение советского студента немного расходится с мнением «Н». Так, в одном из писем он замечает:

«Марксизм у нас вырождается, особенно в области аналитики. Здесь он превращается в простую формальность, главным образом, с целью отделаться от деталей и подтасовать значение некоторых явлений, чтобы затем во второй фазе согласовать синтетические заключения с генеральной линией данного момента... Но такой, обращенный назад метод, неизбежно ведет к увековечению бывшего, которое он пытается возвести в степень извечной истины. В этом причина нашего топтания на месте и нашего отставания от Запада, особенно нашей философии и наших социальных наук... Иногда я начинаю думать, что это делается умышленно: идущая вперед наука, непременно дойдет до такого момента, когда окажутся превзойденными и опровергнутыми казавшиеся прежде незыблемыми положения (напр., о прибавочной стоимости). Но что тогда будут делать наши горе-теоретики и наши горе-политики? Но мы-то очень надеемся, что это время придет и до него уже не так долго».

В одном из писем «Н» просит прислать книги Полицера, потому что «Полицер много взял у Фрейда»:

«Мы очень интересуемся работами Полицера.\* Я как-то не подумал купить его книги, когда был в Париже. Пришли если что-нибудь найдешь. Говорят, что Полицер был учеником Фрейда и очень много взял у него, главным образом, в области конкретной психологии, изучая ее в первом лице. Затем, как мне сказали, Полицер пытается осуществить синтез субъективной и объективной психологии, а это очень интересно».

Один молодой советский журналист как-то мне сказал:

«Русский человек не терпит пустого неба. Наука очистила его от Бога, святых и ангелов. Она же обязана заселить его новыми обитателями: космическими кораблями, спутниками и

---

\* Полицер — французский философ-коммунист, замученный нацистами. Книга, о которой говорит «Н», по всей вероятности, «Кризис современной психологии».

луниками. Чтобы русский человек продолжал верить в коммунизм, он должен прежде всего верить в советскую науку и уважать ее. Наши космические опыты нужны нам не только для международного престижа, но так сказать и для внутреннего потребления, для того о чем я вам только что говорил».

Советский ученый-биолог говорил мне весной 1964 года:

«Наши руководители начинают понимать, что наука может явиться настоящей угрозой для коммунизма, потому что научные открытия способны вызвать политический переворот».

По его словам, уже сейчас такие открытия, в частности в биологии, «могут опровергнуть материалистический миф структуры материи». «Это открытия, без которых никакая наука не сможет продвигаться вперед». Марксизм останется лишь составной частью, кубиком этой науки, «точно так же, как арифметика ничего общего не имеющая с новейшими математическими исследованиями, тем не менее необходима для элементарных вычислений».

## ИСКУССТВО

Искусство во всех его проявлениях, но главным образом, конечно, литература и живопись, есть та область, в которой Советский Союз по настоящему отстал от Запада. Главная причина такого отставания — стоит ли это повторять? заключается, конечно, в том, что литература и все другие отрасли искусства, обязаны быть на службе у политики.

Однажды мне пришлось встретиться с большой группой советских молодых людей. Старшим из них было вряд ли больше тридцати лет. Разговор зашел о Пикассо. Не зная их настроений я начал с «дипломатического» замечания:

«Лично я не люблю Пикассо и не понимаю его живописи, но не могу не признать, что он является одним из величайших художников нашего времени».

Ответ был следующий и исходил он от совсем юной девушки:

«А вот я и понимаю Пикассо, и люблю, и считаю его величайшим художником современности! Понимаете ли вы, что после Пикассо, после его «Авиньонских девушек», писать так, как писали раньше попросту невозможно? Он изменил не толь-

ко живопись, но нашу способность видеть мир, наше восприятие произведений искусства».

За сим последовала целая лекция о Пикассо с такими биографическими подробностями и техническими знаниями, которые оставили далеко позади мои сведения в этой области. В конце концов, я должен был признаться, что сам люблю Пикассо и ценю его, но сказал противное из осторожности. По свидетельству моих собеседников, эта осторожность была совершенно излишня и доказывала лишь мою полную неосведомленность о настроениях и интересах современной советской молодежи.

Одна французская художница-абстракционистка провела зимой 1963 года месяц в Москве и Ленинграде. Вернувшись, она рассказала мне не только о подпольной советской абстрактной живописи, но и о жизни самих художников-абстракционистов, о том, как они работают и как продают свои картины. Существует настоящий рынок абстрактных картин, их коллекционеры и скупщики, иногда даже среди ответственных правительственных чиновников, даже среди высших руководителей самого министерства культуры, директоров музеев и преподавателей академий.

В письмах «С» есть такие места:

«Партия упрямится признать, что изобразительное искусство есть лишь микроскопическая доля, капля океана, называемого искусством. Для художника искусство есть то, что для ученого научные теории, а для философа — философские идеи. И как невозможно вложить содержание современной физики в ньютоновские схемы, так же невозможно заключить современные идеи в рамки социалистического реализма... Если искусство должно быть правдой, то наши руководители требуют от нас лжи: они хотят, чтобы мы изображали мир не таким, каким мы его видим...»

Или еще:

«Когда я смотрю на происходящее вокруг меня, в моей душе разлагаются понятия и идеи, а в моих глазах формы и краски. Я начинаю видеть разорванные цветные пятна, которые для меня являются точной картиной современного мира... Мира классических форм уже давно не существует... Но у нас вообще запрещено говорить правду».

В другом письме она рассказывает о своих злополучьях:

«Добиваются, кому я продаю свои картины, хотя великолепно знают. Хотят выпытать еще новые имена... Вчера вызывали, спрашивали откуда у меня монографии Брака и Дали, выпытывали, кто прислал словарь «Современной американской живописи». Сказала, что подарили на французской выставке. Конечно, не поверили. Требовали, чтобы я призналась за сколько продала «Ляливую Весну» (одна из картин, К. П.). Сказала, что за триста рублей. Наверно, тоже не поверили... Я обозлилась, пригрозила, что буду жаловаться, что абстрактная живопись не запрещена, что дома я имею право заниматься чем мне угодно».

Один из советских писателей как-то жаловался:

«Мы многого не хотим: нам бы руководителей вроде Кастро или Тольятти. Они признают только современное искусство. Кабинет Фиделя завешен абстрактными картинами и это нисколько не мешает ему быть коммунистом. Наш же коммунизм давно стал рутинной, корзиной со старым бельем. Тольятти дружит и переписывается со всеми передовыми деятелями искусства, со всеми большими писателями, не считаясь с тем коммунисты они или нет».

Советский студент, прочитав в Париже «Доктора Живаго», так говорил о нем:

«Пастернак, конечно, не романист. Романа он построить не сумел, перегрузил персонажами. К концу романа три четверти из них забываются. Но его заслуга совсем в другом, в том, что ему удалось написать такую вещь в условиях советской действительности. И дело вовсе не в крикоте советской власти и коммунизма, которые там разбросаны (кстати, не очень убедительные), но в диапазоне идейного содержания пастернаковских героев: Николая Николаевича Веденяпина и самого Живаго. Для нас это совершенная новинка в литературе. Мы привыкли к суженному цензурой человеку. Я думаю, что в этом вся опасность «Доктора Живаго»: он затрагивает душевные элементы и психологические положения, которые не должны существовать у советского человека и о которых советский читатель не должен даже предполагать».

Приблизительно то же самое прочел я в письме одной советской женщины, писавшей своей подруге на Запад:

«Для меня «Доктор Живаго» был откровением. Прочла его залпом, в три ночи. Вот они настоящие русские люди, а не марионетки наших романов! Ты себе не представляешь сколько здесь нас похожих на Николая Николаевича, Юру, Лару... Главное они умеют любить, верить, надеяться, рассуждать, не по книжным обструганным штампам, но по настоящему, по-русски... Дала книгу мужу, сначала он ворчал, даже злился. Но через неделю прочел и сказал, чтобы я была осторожна — книга настоящий яд и можно нажать крупные неприятности. Думаю, что ему самому понравилось, но он из гонора не признается...»

Упомянутый выше писатель говорил о советской литературе вообще:

«В СССР всё политизировано. Коммунизм не политическая партия, но мировоззрение, поэтому он и проникает решительно во всё. Вы можете написать коммунистический трактат с доказательством достоинств коммунизма, а цензура вам скажет, что это буржуазная штучка, идеологический камуфляж, и черным по белому докажет, что ваш подход не марксистский, что вы славите коммунизм, а думаете по-буржуазному. На Западе совершенно не представляют перед какими трудностями стоит советский писатель, особенно писатель молодой (следовали имена), когда ему хочется по настоящему охватить жизнь, показать настоящую, а не штампованную душу советского человека».

Сартр где-то писал, что один молодой советский поэт сказал ему, что тот, кто не понимает, что «в Советском Союзе поэзия это то, во что обратилась молитва русского человека, не понимает вообще советской поэзии». Тонкое замечание. Можно привести множество примеров такой современной «религиозной» советской поэзии. На нее указывали сами советские поэты во время их пребывания за границей.

«То, что нас особенно поражает в Европе, — говорил один из них, — это огромность духовных, а значит и литературных, поэтических горизонтов. Когда мы знакомимся с иностранной поэзией, особенно с поэзией французской, мы бываем попросту раздавлены той пропастью, которая существует между тем, что пишется во Франции и тем, что делается в Советском Союзе. У нас ни один поэт не рискнет касаться тем, которые обычны для Элюара и Арагона, а ведь они тоже коммунисты!»

«Н» писал своему парижскому другу:

«У нас существует настоящая подпольная литература, но не политическая, конечно, а настоящая литература и поэзия. Это подлинная советская современная литература. Как только исчезнет наша дурацкая цензура, вы ахнете перед тем, что написано советскими писателями. Ахнете, узнав как умеют писать те, за подписью которых все привыкли читать партийно-пресные рассказы и надоедливые романы».

О существовании подпольной литературы в СССР мне часто приходилось слышать от самих советских людей. Беседуя как-то с одним молодым советским писателем, я к великому моему изумлению узнал от него, что лучшие подпольные произведения принадлежат вовсе не одним только еще неизвестным и ждущим своего часа авторам, но настоящим советским «тузам», лауреатам литературных премий, оплоту соцреализма!

«Это они хранят на случай реабилитации», — заключил мой собеседник.

## РЕЛИГИЯ

Вопрос с религией, с отношением советской молодежи к религии, как и к вопросам, касающимся существования духовного мира, обстоит крайне сложно, но мне кажется, что в большинстве (быть может, не подавляющем) молодежи СССР — атеистическая молодежь, привыкшая жить вне религии, ею не интересующаяся, считающая, что религиозное мировоззрение не совместимо с современным научным образом мышления. В этом отношении нельзя сказать, чтобы эта молодежь очень отличалась от большинства французской молодежи. Есть, однако, один момент, который разнит эти две молодежи: русский атеист настроен враждебно к религии, тогда как француз к ней совершенно равнодушен. До какой-то степени это значит, что даже русский атеизм религиозен.

Антирелигиозные аргументы атеистов слишком хорошо известны, чтобы их повторять. К тому же они почти одинаковы для всех — для русских и для французов, для немцев и для американцев. Религиозность есть своего рода талант: если им не обладаешь, если у человека нет предрасположений для религиозного восприятия мира, научить его этому нельзя. Я расскажу сейчас о встречах с религиозно настроенной молодежью.

Однажды, после уже двухнедельного знакомства с группой советских совсем молодых людей, мне случилось пойти с ними в православный собор на рю Дарю. Нас было человек пятнадцать, мы пришли когда не было службы и вышло так, что я с двумя из них порядочно отстали и пришли в храм отдельно. Мои спутники осмотрелись и убедившись, что их не видят, перекрестились и глубоко поклонились.

«Неужто вы веруете?» — вырвалось у меня.

«А что же? Ильича что ли поминать в святом месте?» — ответил один. К несчастью, мне уже больше не пришлось встретиться с ними наедине, чтобы подробней спросить об их вере.

Зато вот другой случай. Один молодой советский ученый, и не безызвестный, попросил моих друзей пойти вместе с ним в собор Парижской Богоматери. Там он прошел в один из темных углов храма, попросил сопровождавших встать так, чтобы его не было видно, опустил на колени и простоял таким образом около четверти часа. По словам моих друзей, он объяснил свой поступок так:

«Я биолог. Постоянный контакт с тем, что можно назвать основами жизни, убедил меня, что они не материального характера и искать их надо не за экспериментальным столом ученого. Я давно пришел к убеждению, что наряду с физическими материальными законами существуют и какие-то другие. Нас уверяют, что эти законы такие же физиологические и биологические, как уже известные нам, но они еще не открыты. Возможно. Только мой опыт говорит совсем о другом: эти еще неоткрытые законы никогда обычным опытным путем открыты не будут. Это те законы, которые называются духовными и познаются на основании духовного опыта человека. Здесь, в католическом храме, я чувствую себя связанным со всей огромной общиной, какой является католицизм. Я испытываю совершенно особое состояние, мне кажется, что я на пороге сенсационных открытий...»

Из опыта же моих личных встреч могу вкратце повторить то, о чем я уже писал однажды в другом журнале. В Риме я познакомился с группой советских молодых людей и мы провели вместе целый день. Узнав, что я русский, они просили меня быть их проводником по Риму. Я ответил, что я здесь в первый раз и наверняка знаю не больше, чем они сами. Они категорически

отвергли мои аргументы и потребовали, чтобы я их повел осматривать главнейшие исторические памятники и музеи. Таким образом мы побывали в соборе св. Петра, в Ватиканском музее, в церкви «Сан Пьетро ин Винколи» с знаменитым Микельанджеловским Моисеем, на Форуме и в Колизее.

Везде они просили меня «рассказывать» и сразу же вынимали блокноты, чтобы записывать, несмотря на мои протесты и предостережения, что я могу сказать и неправильные вещи. Так вот: никогда за всё мое пребывание за границей, ни среди французской молодежи, ни среди эмигрантской я не видел молодых людей — девушек и юношей — которые были бы столь чутки и восприимчивы ко всему духовному и религиозному, в частности к христианству, но, конечно, не к христианству церковному, христианству догматов и обрядов. Я это особенно подчеркиваю. Я никогда не видел молодых людей с таким благоговением входивших в церкви, как те мои случайные римские друзья. Расставаясь, уже поздно вечером под прожекторами Колизея, один из группы сказал мне:

«А вот мы думали, что приехали в Рим **только** для того, чтобы ходить по музеям да по старым церквам...»

О религии «С» писала:

«Всякое подлинное искусство всегда религиозно и это особенно важно для русского искусства. Европейец еще может быть атеистом, потому что европейец умеет думать. Мы же, русские, думать не умеем и никогда не умели (наверно поэтому и Ленина у нас считают философом!), и значит обязаны верить. Иначе получается уж очень бездарно. Троица нашего национального искусства — Рублев, Достоевский, Толстой. Они только тем и интересны для мира, что пытались по-русски разрешить религиозную проблему. Я художница и для меня каждая краска имеет свое религиозное значение. Вся моя «абстрактная» живопись имеет лишь эту цель — раскрыть религиозную природу красок, создать религиозное настроение у зрителей. Наверно поэтому меня гонят и не признают... Но я в моих взглядах не одинока. Здесь многие так считают, особенно молодые. Но чур: для нас религия ничего общего не имеет с традиционными религиями или с церквами. Я не специалистка этих вопросов, но думаю, что не ошибусь, если назову то, о

чем я говорю, основой всех религий, их духовным источником».

И в другом письме:

«Я начинаю понимать почему у нас не принимают абстрактного искусства, почему оно с такой яростью отвергается властями: оно есть выражение в красках духовного мира художника и, быть может, даже духовного мира вообще. Как же ты хочешь, чтобы с ним мирилась материалистическая власть, наша официальная идеология?»

Интересно пишет о религии и религиозности «Н»:

«С религиозным вопросом и с тем, как к религии относится советская интеллектуальная молодежь, надо быть крайне осторожным. Я уже несколько раз писал тебе, что нас не только приучили к научному мышлению, но мы просто не знаем другого мышления, поэтому и относимся подозрительно ко всему, что касается религии, оккультизма, мистицизма и т. д. Но научный подход к религии нас интересует. Не в смысле психологического феномена отчуждения, но в плане отыскания фактов и явлений действительно существующих, но не могущих быть вполне объяснимыми наукой... Мы не отрицаем огульно религии, но хотим, чтобы она не противоречила науке и не ссыалась на неприемлемые для разума авторитеты... Вот, напр., Тейяр де Шарден. Но я прочел всего лишь одну его книгу — «Феномен Юмен». Пришли, пожалуйста, остальные. Мне кажется, что он нашел интересующие нас точки соприкосновения, но для меня непонятно почему он не порвал окончательно с католицизмом. Это его сильно роняет в наших глазах».

И в другом письме:

«Пришли Бердяева. Хотя его религиозная мистика мне чужда, но в нем есть много интересного, он раскрывает христианство с совершенно нам здесь неизвестной стороны... Пришли еще сочинения иегов, но подлинные, а не рассуждения о них. Иогизм у нас и в моде, и в почете: ведь это попытка научным путем разрешить религиозную проблему... Словом, ты знаешь: религия для нас не область чудесного, но область неизвестных науке явлений, правда, быть-может, еще неизвестной нам области науки».

Само собой разумеется, что во время встреч с советскими

людьми, в переписке с советской молодежью, в рассказах о Советском Союзе и советском быте побывавших в СССР людей, затрагивались и другие темы — патриотизм, десталинизация, социальные условия труда в двух блоках, жизненный уровень здесь и там... Всего не перечислишь и не опишешь. Я привел одни из кажущихся мне наиболее характерными примеров.

Я не хочу делать никаких выводов. Выводы всегда будут субъективны. А это всегда будет навязыванием моего мнения читателю, а этого-то я как раз и не хочу. Я нисколько не удивлюсь, если кто-нибудь ответит мне, что он тоже имел контакты с советскими людьми, и что эти контакты были иными, даже противоположными тем, что привел здесь я. Я пишу лишь о том, что я сам слышал и читал, а не о том, что видели и слышали другие.

В заключение приведу слова, сказанные одним очень известным советским лицом столь же знаменитому французцу. Во избежание всегда возможных «последствий», не называю ни имен собеседников, ни их профессии.

«Трагедия советского коммунизма заключается в том, что он уже не импонирует нашей молодежи. Называющая себя революционной политической доктрина боится всего по-настоящему революционного, происходит оно в искусстве или в науке. Возьмите, напр., Пикассо. Смешно и противно, когда видишь, как корчатся перед ним наши ильичевы-теоретики, не в состоянии ни отбросить его, ни принять».

*Е. Померанцев*

## ПОСЛАНИЕ ИЗ СССР НА ЗАПАД\*

Я, автор этого послания, живу в Советском Союзе и считаю себя гражданином этого государства. Но по существу я — не гражданин, а заключенный Советского Союза, сам же Советский Союз — моя тюрьма: тюрьма, в которой я родился и вырос.

Будучи еще совсем молодым, я чудесным образом обрел веру в Бога и написал ряд книг, исходящих из обретенной мною веры и из обретенного мною знания. Я думаю, что эти книги имеют интерес для западного читателя.

Я кровно заинтересован в том, чтобы на Западе как можно дольше сохранялись условия демократии: те условия, при которых возможна публикация любых книг и открытое обсуждение их кругами общественности. Я заинтересован в этом потому, что каждый человек, находящийся в тюрьме, глубоко и страстно желает, чтобы где-то за стенами его тюрьмы сохранялся мир свободы.

Поэтому меня сильно беспокоило и встревожило то, что на Западе в последнее время, как будто, возросло влияние коммунистов: людей, которые объявляют себя солидарными с моими тюремщиками, коммунистами Советского Союза, и которые, очевидно, намерены превратить западный мир в такую же тюрьму, как Советский Союз, если только придут на Западе к власти. В Италии на последних выборах за коммунистов голосовал каждый четвертый избиратель, и число их сторонников возросло на 1.200 тыс. человек! Во Франции их влияние тоже велико, а ведь Италия и Франция — это центр западного мира, западной культуры!

Признаюсь, что результаты последних выборов в Италии

---

\* Эта рукопись доставлена нам с оказией из СССР. Мы печатаем ее, как ценный политический «человеческий документ», говорящий о настроениях среди населения Советского Союза. РЕД.

произвели на меня впечатление загадки. Как житель Советского Союза, я вплотную знаком с характером коммунистического режима, и для меня, как и для множества других людей, несомненно ясно, что этот режим **никому** не может быть выгоден и приятен, кроме партийных бонз и их прислужников. Этот режим, с его диктатурой и деспотизмом, противен интересам подавляющего большинства населения: и рабочих, и крестьян, и интеллигенции. И хотя коммунисты Италии кое-в-чем становятся в оппозицию к политике советского режима, в целом они всё-таки согласны с принципами этого режима. И если при этом за них голосует в Италии бóльшее число людей, чем, скажем, за социалистов, то это кажется мне загадочным.

Проблема эта привлекла к себе мое внимание не только потому, что я, как заключенный Советского Союза, болезненно воспринимаю всякий успех моих тюремщиков и их зарубежных друзей. Хотя я — не политик по профессии, я всё-таки имею в некотором смысле профессиональное отношение к этой проблеме. В тему нашей современности, конечно, неизбежно входит коммунизм и его роль. И когда стали известны результаты последних выборов в Италии, то я стал задавать себе вопрос: «**Почему** каждый четвертый избиратель в Италии голосует за коммунистов? Разве избиратели Италии не знают о том, что представляет собой на практике власть коммунистов? Разве пресса и радио Италии (или Франции) недостаточно информируют население о характере всякого советского режима, при котором у власти находятся коммунисты?»

Размышляя над этим, я смог найти лишь один правдоподобный ответ. Повидимому, весь громадный фактический материал, разоблачающий диктаторскую сущность коммунистической власти, на Западе не доходит в должной мере до сознания прокоммунистически настроенных людей. Очевидно, эти люди, когда-то и как-то подпав под влияние коммунистической пропаганды, затем стали в основном читать лишь коммунистическую прессу. Таким образом, многочисленные аргументы, выдвигаемые против коммунизма в печати, очевидно, проходят мимо глаз и ушей этих людей. Во всяком случае, придя однажды к коммунистическим убеждениям, эти люди, повидимому, стараются пропустить мимо глаз и ушей аргументы, чтобы не разувериться в том, что стало их верой. (Такова уж челове-

ская психология: поверив однажды во что-то ложное, люди затем стараются закрывать глаза на всё, что может разоблачить их ложную веру. Признание своих ошибок людям дается не легко).

Придя к такому ответу, я стал невольно думать о том, чем же можно **помочь** делу, чтобы побудить прокоммунистически настроенных людей на Западе внимательно и добросовестно изучить антикоммунистические аргументы.

Я, конечно, понимаю, что с моей стороны должно выглядеть несколько наивно и нескромно, если я буду здесь выдвигать предложения по борьбе с коммунистической ложью на Западе. Ибо на Западе есть великое множество людей, для которых борьба с коммунистической ложью является профессией, и которые согласованно обдумывают все возможные пути этой борьбы. И тем не менее, я решаюсь поделиться моими мыслями. Естественно, что общий разговор с читателем на тему о коммунизме требует от меня, чтобы я предварительно охарактеризовал и обосновал мое общее отношение к коммунизму.

---

Коммунисты изображают свою политическую программу, как программу некоего рая на земле. Однако, эта «райская» программа исходит отнюдь не из религиозных предпосылок. Наоборот, она исходит из чисто материалистических предпосылок марксистской философии. Мысль этой философии состоит в том, что материальное первично, а духовное вторично и, следовательно, материальное бытие людей определяет собой их духовное бытие. (Как говорит Маркс: «Бытие (материальное) определяет сознание»).

Исходя из этой философии, марксисты решили перестроить материальные основы человеческого бытия таким образом, чтобы они в наилучшую сторону определяли собой сознание людей. Марксисты вполне справедливо заключили, что основное зло в духовной жизни человечества — это эгоизм, ибо ложь, зависть, злоба и прочие духовные пороки — всё это проявления эгоизма и следствия эгоизма. А поскольку, по их философии, всякое духовное зло имеет свою причину в каком-то материальном зле, они стали искать: что же является этим материальным злом; что является материальной причиной эгоизма. И они

усмотрели такую причину в капиталистическом укладе общественной жизни: в праве частной собственности, которое здесь царит. «Именно частная собственность — заключили они — воспитывает в человеке эгоизм». Значит, если устранить частную собственность, то вместе с ней устранился и эгоизм, а вместе с эгоизмом устранился ложь, злоба, жадность, и люди станут прекрасными, и на земле наступит рай: все будут жить в мире и любви.

Сначала коммунисты сочли необходимым устранить частную собственность лишь на средства производства и на то имущество, которое, как они заявили, «приобретено на нетрудовые доходы». Эту фазу преобразования общества они назвали социализмом. Но в конечном результате, по их идее, должна устраниваться сама собой вообще всякая частная собственность в ее эгоистическом понятии, то есть такая частная собственность, которую человек имеет в ущерб другим людям: имеет так, что вот, он богат, а рядом есть бедные, но он не желает делиться с бедными, говоря: «Мое, не дам». В идеальном коммунистическом обществе, по представлению марксистов, будет такое изобилие материальных благ, что всякий человек сможет иметь всё необходимое ему из каких-то общественных фондов, и потому у людей исчезнет мораль собственников, исчезнут более богатые и более бедные, а все сделаются равно богатыми.

Возникает, конечно, такой вопрос: «Ну, а если человек при коммунизме захочет иметь не минимально необходимое, а максимальное необходимое ему: не квартиру с удобствами, а несколько роскошных дворцов: иметь это для того, чтобы чувствовать себя богаче и могущественней других? Как быть с ним? Ведь не сможет же коммунистическое общество удовлетворить его пожелание! И такой человек окажется совсем не один; если всем будет позволено брать из общественных фондов, сколько душа пожелает, то душа у каждого пожелает взять как можно больше: есть квартира — давай целый дом, есть один дом — давай два дома: ведь аппетит к богатству у людей ненасытный, и какое бы ни было на земле материальное изобилие, земного богатства никогда не хватит на то, чтобы каждому давать, сколько он пожелает. А если не давать каждому, сколько он пожелает, то придется ввести плату за труд, и притом —

разную плату за разный труд, и придется ввести закон, карающий тех, кто желает взять больше, чем он заработал, и придется ввести полицию, следящую за соблюдением закона, и какой же тогда будет коммунизм? Будет то же самое, что есть и сейчас.

На весь этот ряд вопросов коммунисты отвечают, исходя из своих материалистических представлений о нравственной природе человека. Они отрицают, что в человеке заложены врожденный эгоизм, врожденное тщеславие, врожденное желание быть богаче и сильнее других. Они считают, что всё это возникает в людях лишь от уродливой социальной системы, и поскольку при коммунизме уродливая социальная система будет устранена, у людей исчезнет тщеславное желание быть богаче своего соседа и по этой причине стремиться к обладанию целым домом, когда уже есть приличная квартира, и к обладанию целым дворцом, когда уже есть приличный дом.

Вот так выглядит марксистская философия. Что можно сказать о ней? Выражаясь наиболее мягко и учтиво, можно сказать, что эта философия основана на абсолютно превратном представлении о человеческой природе и о той зависимости, которая существует между человеческим духом и социальной средой. В то время как пороки человеческого духа являются причиной социальных пороков, эта философия утверждает прямо обратное. Вся истина в ней вывернута наизнанку, и в этом смысле можно сказать, что марксизм — это христианство наизнанку.

Христианство тоже считает, что эгоизм является сущностью зла, и что эгоизм проявляется у человека наиболее ярко в его стремлении к частной собственности. Именно поэтому Христос заповедал своим ученикам, чтобы они раздавали свое имущество нищим, то есть отказывались бы от того права собственника, которое выражается в словах: «Мое, не дам». Но христианство считает, что не частная собственность создает эгоизм, а эгоизм создает частную собственность; сам же эгоизм выражается не только в обладании частной собственностью, но и во многом другом. И поскольку эгоизм далеко не сливается с частной собственностью, а является чем-то гораздо более широким, глупо было бы надеяться искоренить эгоизм, искоренив государственным путем частную собственность; да к тому же

еще — не всякую, а лишь собственность на средства производства. Если человек хочет победить эгоизм, то он должен бороться именно с эгоизмом в себе, а не с правом частной собственности на средства производства; бороться со злым духом в себе, а не с социальной системой. В ходе борьбы со своим эгоизмом человеку полезно отказаться и от прав собственника, но это полезно лишь в том случае, если он отказывается добровольно, ибо только в добровольном отказе от собственности побеждается эгоизм.

Отнять же у людей их имущественную собственность насильно, и запретить им иметь ее в желанном для них размере под угрозой государственного наказания — это, конечно, ни в малейшей мере не может привести к победе над человеческим эгоизмом. Напротив, это должно привести ко всяческому злу, ибо всякое насилие человека над человеком есть уже само по себе зло, и потому чем меньше насилия — тем лучше. Прискорбно даже то, что по отношению к ворам, бандитам и прочим преступникам государство вынуждено применять насилие; но здесь по крайней мере утешительно, что преступники составляют собой лишь исключение из общего правила. А коммунистические преобразования общества приводят на практике к такой государственной системе, в которой царит насилие над большинством людей, хотя коммунистическая теория такого насилия над большинством не предполагает.

Но государство, в котором власть совершает насилие над большинством, превращается в диктаторское, полицейское государство, основным законом которого оказывается террор. Таким образом марксистское намерение установить рай на земле в реальности оборачивается адом. Вот к чему приводит превратная философия. Нужно мыслить совершенно неумно, чтобы представить себе, что можно изменить человеческую природу путем государственного законодательства: что можно одним росчерком пера, одним декретом превратить людей из жадных — в добрых, из грешников — в ангелов. А марксисты, если говорить по существу, именно так себе дело и представили: подпишем декрет об устранении частной собственности на средства производства, этим устраним первооснову эгоизма, и через какие-нибудь двадцать-тридцать лет вся человеческая природа преобразится до неузнаваемости. Нужно было не иметь

даже простой наблюдательности, чтобы мыслить так, как они мыслили, затевая свою революцию, а некоторые, может быть, — и сейчас мыслят.

Если перед ними был человек жадный и злобный, то они говорили: «Это — от дурных социальных условий». Ну, а если животное жадно и злобно, как, например, волк? Это что, тоже от дурных внешних условий, которые царят в лесу? Нет, это — не от внешних условий, а от внутренней природы, и если человек хочет как-то бороться со своим злом, то он должен бороться со своей волчьей внутренней природой, а не с внешними условиями, перемена которых так же мало способна изменить его внутреннюю природу, как перемена внешних условий для волка мало способна превратить его из волка в овцу.

Но пока не было установлено на земле ни одного государства по марксистской теории, весь этот спор между христианством и марксизмом оставался чисто теоретическим. А теперь, когда это пишется, прошло уже больше 45 лет со времени основания того первого социалистического государства, в котором марксисты осуществили на практике свои идеи, и мы можем практически судить о том, что эти идеи означают: добро или зло.

---

Прежде всего, установим тот факт, что через сорок пять лет коммунистического воспитания по марксистским рецептам, люди в Советском Союзе не сделались лучше, чем они были сорок пять лет назад. Скорее наоборот, ибо в результате «коммунистического воспитания» люди приобрели только то, что стали больше лгать и сделались более запуганными, чем были прежде. Всё остальное осталось таким же: жадность, зависть, злоба, разврат и прочее. (Хотя, конечно, как прежде так и теперь помимо всех этих дурных черт, в людях есть и хорошие).

В последнее время в Советском Союзе проводилась громадная кампания против так называемых «тунеядцев». В роли этих «тунеядцев» обычно выступали молодые люди, прошедшие всю советскую школу, и чаще всего — дети самых «сознательных» родителей: генералов, профессоров, партийных работников. Поскольку родители могли давать этим молодым людям деньги, молодые люди «наслаждались» жизнью: кутили в ре-

сторанах, устраивали оргии, невзирая на пройденный ими курс «коммунистического воспитания». В советских газетах не сообщается число убийств, ежедневно совершающихся в Советском Союзе. Но оно, несомненно, очень велико, хотя в Советском Союзе преступление совершить гораздо трудней, чем на Западе: во-первых, здесь не продается оружие, а во-вторых, здесь — система паспортов, при которой скрываться от властей очень трудно. И всё же здесь убивают довольно часто, причем иногда — с чудовищным зверством. А что касается воровства, то в Советском Союзе число воров, наверное, стало больше, чем их было в царской России. В царской России воровали в основном лишь низы и верхи общества, а в советской России воруют и низы, и верхи и середина: воруют начальники, воруют заместители начальников, воруют помощники заместителей: воруют все, кому не лень, потому что частных хозяев не стало; ни над чем нет хозяйского присмотра, для всех всё чужое. В советской торговой сети воровство — это стихийное бедствие. Почти каждый торговый работник, от продавщицы до директора магазина, здесь рано или поздно отправляется на скамью подсудимых (чаще всего — года через два-три своей деятельности).

Но главное, конечно, это то, что в советской стране люди остались в такой же мере эгоистами, в какой они были всегда и везде. И это тем более ясно, что советская власть по существу даже и не пыталась бороться с эгоизмом, как это следовало бы по марксистской идеологии. Если бы исходить из этой идеологии, то следовало бы запретить **всякое** право частной собственности, то есть делить все деньги и вообще все материальные блага так, чтобы никто эгоистически не возвышался над другими. Но поступить так марксисты не могли, потому что это настолько противоречило бы реальной человеческой природе, что вся государственная жизнь немедленно развалилась бы. В очень узком церковном обществе (на подобие монастырского) это еще было бы мыслимо, поскольку там каждый может делиться с другим, желая таким путем добровольно бороться со своим эгоизмом. В первоапостольской иерусалимской церкви примерно так и было. Но в масштабах государственного общества это немыслимо, ибо у большинства людей нет желания и цели бороться со своим эгоизмом. Учитывая это, марксистам

пришлось запретить далеко не всякую частную собственность, далеко не всякое имущественное неравенство. Им пришлось ограничиться только тем, что они запретили право частной собственности на средства производства; запретили иметь какие-либо частные промышленно-торговые предприятия (после НЭПа), а велели всем жителям работать на государственной службе. Но здесь, на этой службе, они назначили разным людям далеко не одинаковую плату за труд.

Чтобы материально заинтересовать, например, ученых, советская власть дала им прекрасные квартиры и стала платить столько денег, что крупный ученый может иметь и свои виллы, и вообще всяческую роскошь. Иметь роскошь на деньги, полученные от государства, советская власть не запретила: ни ученым, ни художникам, ни писателям. Даже наоборот: и ученых, и писателей и художников советская власть стала **прельщать** роскошью, чтобы они сотрудничали с ней. Но если, например, советский писатель имеет от государства и квартиру, и автомобиль, и две дачи, и сотни тысяч денег, и несколько не делится всем этим добром с бедным рабочим, который весь день работает в аду сталелитейного цеха, а ютится в одной комнатке с целой семьей, то какая же здесь, спрашивается, «борьба с эгоизмом»? Здесь — точно такой же эгоизм, как и в капиталистическом обществе. Ну, еще можно признать, что писателю для его работы необходимо иметь отдельную тихую комнату, и столько денег, сколько нужно для безбедного прожития ему самому и его семье. Но зачем ему две дачи, зачем ему сотни тысяч рублей, которые лежат у него в банке на сберкнижке? Это уж — не для писательской работы, а для самой обычной жадности, для самого обычного эгоизма, ничуть не лучшего, чем эгоизм всякого капиталиста, а даже вдесятеро худшего. Ибо капиталист, по крайней мере, не лицемерит, имея свое богатство, а ведь этот советский писатель в своих книгах обличает эгоистическую мораль буржуазного общества и призывает советских людей к самоотверженности и бескорыстию, а сам сколачивает себе всеми этими проповедями капитал, и живет, как буржуй.

Точно так же — советские партийные работники. Если бы они действительно ставили своей целью борьбу с эгоизмом, то они же первые и должны были бы показать нравственный

пример этой борьбы. Они должны были бы оставить себе лишь то, что необходимо для жизни и работы, а всё лишнее отдавать бедным и тяжело трудящимся людям: рабочим и крестьянам. Но они поступили иначе. Каждый крупный партийный

работник в Советском Союзе имеет не только прекрасную квартиру из многих комнат, но и роскошную виллу (а может быть — и несколько вилл), и лимузин, и десятки, если не сотни тысяч рублей сбережений, и такую пенсию, на которую можно жить, как барину. Ну, а средний советский рабочий, как уже сказано, часто ютится с семьей в одной комнатке и получает так мало денег, что ему трудно купить себе на них даже велосипед или хороший костюм. И советское государство, советская коммунистическая идеология даже не призывает советских граждан к тому, чтобы более богатые из них делились с более бедными. Ибо, во-первых, таких призывов всё равно никто не послушался бы, а во-вторых, человек, который к этому призывает других, должен **первый** показать на примере, что он делится сам с бедными. Но так как советские партийные начальники отнюдь не желают делиться теми капиталами, которые они себе назначили, то они не могут и других призывать к этому.

В этой связи нужно учесть, конечно, и то, что представляют собой советские партийные работники, как люди. В первые годы советской власти среди них было много довольно честных, хотя и недалёковидных людей, которые действительно хотели блага для народа, а не для себя. Но поскольку эти честные, но недалёкие люди, согласились с принципом **насилия** над всеми инакомыслящими, с принципом **диктатуры** (которую они назвали «диктатурой пролетариата»), эта диктатура, которую они вызвали к жизни, уничтожила их самих. Ибо когда в государстве устанавливается диктатура, то подавляется всякая оппозиция; когда подавляется оппозиция, то исчезает всякий общественный контроль над действиями правящей партии; а когда исчезает общественный контроль, то открывается простор для деятельности политических бандитов и авантюристов вроде Сталина. Кроме того, когда берется курс на диктатуру, возникает надобность в громадном числе шпионов, осведомителей и просто злых людей, способных бросаться на всех инакомыслящих, как бульдоги. И все эти бессовестные и злые люди

неизбежно захватывают в диктаторском государстве власть, ибо диктатура — это злой и бессовестный государственный строй, а потому он и приводит к власти злых и бессовестных людей. Придя же к власти, они тут же уничтожают всех, кто им мешает. А больше всего им мешают те люди, у которых осталась какая-то совесть и честность, и которые, вместе с тем, занимают высокие посты. Таких людей они в первую очередь отправляют за решетку или пускают им пулю в затылок. Именно это в Советском Союзе и произошло. Очень скоро все более или менее идейные, бескорыстные коммунисты здесь были уничтожены той самой диктатурой, которую они вызвали к жизни, как они полагали, «для борьбы с имущими классами». В результате в роли руководящих партийных работников в Советском Союзе оказались, как правило, откровенно бессовестные люди, которым нужно от жизни только то, чтобы урвать себе кусок пожирнее, хотя бы этого пришлось достигать ценой самой гнусной лжи, самого гнусного лицемерия, самого бесчеловечного террора.

Когда я смотрю на этих людей и их дела, мне всегда вспоминается сказка про Красную Шапочку. Для тех, кто, может быть, забыл, я напомним суть этой сказки. Маленькая девочка, которую звали Красная Шапочка, пошла в гости к своей доброй бабушке. А добрую бабушку съел хитрый волк. Он одел на себя бабушкин чепец, бабушкины очки, лег в бабушкину постель и притворился бабушкой. Когда Красная Шапочка пришла, то она доверчиво подошла к этой «бабушке». Подойдя поближе и разглядев эту «бабушку», она испугалась: почему это у доброй бабушки такие страшные зубы? Почему у ней — такие страшные когти? Но пока она разглядывала «бабушку» и задавала ей вопросы, «бабушка» разинула пасть и сожрала Красную Шапочку.

В роли доброй бабушки мне представляются добрые марксисты-революционеры прошлого века и их идеи, которыми они хотели облагодетельствовать народ. В роли Красной Шапочки мне представляется сам народ, а в роли волка — нынешние советские «коммунисты». Они сожрали бывшую коммунистическую бабушку, напялили на себя ее наряд из коммунистических идей, и в этом наряде теперь представляются и собственному народу, и народам других стран: «Посмотрите и послу-

шайте: чем мы не те же коммунисты, не те же революционеры, которые самоотверженно отдавали жизни ради народного блага? День и ночь трудимся для народа!» И народ подходит к ним, и робко спрашивает: «Добрая бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Почему такие страшные когти?» Но теперь уж поздно спрашивать. «Добрая бабушка» разевает пасть из тюрем и концлагерей, и эта пасть поглощает всех наивных «Красных Шапочек», которые поверили ее наряду и подошли к ней слишком близко.

Что же дало в реальности всё марксистское преобразование государственной жизни? Только то, что вся жизнь страны, и хозяйственная, и культурная, перешла под абсолютный контроль государства, и потому функции и права государственной власти чудовищно усилились. И это оказалось в полнейшем противоречии с философией «доброй коммунистической бабушки», которая рассказывала народам свои сказки в прошлом столетии. По философии марксизма выходило, что в социалистическом обществе функции государственной власти должны сделаться гораздо слабей, чем в капиталистическом. А в действительности оказалось наоборот: оказалось, что еще никогда за всю историю государственная власть не обладала такими абсолютными полномочиями. В социалистическом обществе государственной власти подчинено всё: и тяжелая, и легкая промышленность, и торговля, и сельское хозяйство и вся культурная жизнь людей. Полицейский, как выразитель государственной власти, здесь сделался главной фигурой в жизни общества. И всё это оказалось идущим наперекор здравому смыслу, наперекор нуждам и желаниям подавляющего большинства населения.

Если рассуждать с точки зрения рациональной, то государственное владение в легкой промышленности и в сельском хозяйстве нецелесообразно. Ибо и в легкой промышленности, и в сельском хозяйстве первостепенное значение имеет не государственная плановая система, а частная инициатива и конкуренция; а всё это требует частного владения предприятиями и землей. Поэтому, когда в Советском Союзе была ликвидирована частная собственность в легкой промышленности и сельском хозяйстве, то результатом этого оказался хронический и острый недостаток и в продуктах легкой промышленности, и в продук-

тах сельского хозяйства, то есть недостаток в том самом, что нужно человеку. Ведь человеку для его жизни нужны не счетные машины, а хлеб, масло, молоко, одежда, обувь, предметы обихода.

Но несмотря на то, что запрещать право частного владения в легкой промышленности и сельском хозяйстве было явно нецелесообразно с точки зрения нужд населения, советские правители сделали это, и притом — в абсолютной мере. К нынешнему дню они запретили не только такие частные предприятия, как, скажем, фабрика или магазин, но даже и такие, как ремесло сапожника. В Советском Союзе человек фактически не имеет права быть частником-сапожником, или портным, или шляпником. Правда, формально государство дает ему такое право, если он, как выражаются марксисты, «не эксплуатирует чужой труд», то-есть работает сам, не нанимая платных помощников. Но фактически его единоличное предприятие облагается таким колоссальным налогом, что он вынужден его закрыть, потому что вести предприятие при таком налоге — это значит скоро сделаться нищим. Доводя до конца эту свою политику, советская власть запретила людям даже продать или купить какую-нибудь вещь на рынке, считая это — «частным предпринимательством». В таком громадном городе, как Москва, городе с населением в восемь миллионов, сейчас нет ни одного рынка, где позволена торговля вещами. Да и продуктовых рынков оставлено ничтожно мало.

Легко понять, что вся эта экономическая политика советской власти создает для рядового населения громадные неудобства. Ибо если бы были частные сапожники, портные, плотники и так далее, они конкурировали бы между собой, их продукции было бы много, и она была бы сравнительно дешевой (тем более, если бы государство оставило за собой право как-то регулировать и контролировать цены частников, учитывая нужды населения). А запретив все эти мелкие частные предприятия, советская власть отнюдь не возместила их государственными предприятиями. Государственных сапожных мастерских в Москве нехватает (и качество работы в них — отвратительное), ателье по пошиву одежды нехватает еще больше, а какой-нибудь шкафчик вообще негде достать, потому что частная работа плотникам запрещена, а в государственных

магазинах дешевых шкафчиков и тому подобных вещей нет или почти нет. Плохо обстоит дело и с товарами легкой промышленности. Иностранец, который заглянет в московский промтоварный магазин, подумает, что товаров здесь вполне достаточно, потому что все полки чем-то заставлены. Но на самом деле именно того, на что существует наибольший спрос, в продаже обычно нет. Летом в московских магазинах трудно достать ходовую летнюю обувь, зимой трудно достать ходовую зимнюю обувь. И так во всём. Правители советского государства не заинтересованы в том, чтобы снабжать население той продукцией легкой промышленности, которая ему нужна. Если они что-нибудь нужное и дают населению, то только из милости и из-за страха перед восстанием, которое может вспыхнуть, если населению совсем уж ничего не давать. Практически же им всё равно, что продавать: нужное для населения или ненужное, потому что население **всё равно купит**, и необходимые деньги поступят от него в государственную казну. Если население не найдет за свои деньги нужных ему товаров, то по крайней мере с горя пропьет эти деньги или объестся на них мороженым, и они всё-таки вернутся к государству.

Это — с одной стороны. А с другой стороны, эффективно развивать легкую промышленность — это значило бы делать в нее такие капиталовложения, которые многое отнимут от тяжелой промышленности. (Особенно — если учесть нужды транспорта товаров по железным дорогам, которых в Советском Союзе очень мало). Но советские правители, при той агрессивной и вызывающей политике, которую они ведут, прежде всего заинтересованы в тяжелой промышленности: в том, чтобы гнать развитие этой промышленности сумасшедшими и гипертрофированными темпами, и поэтому они не собираются развивать легкую промышленность, как этого требуют нужды населения.

А вот если бы легкая промышленность была в руках частных, заинтересованных в прибыли, то в продаже всегда было бы то, что нужно населению, и по такой цене, которая доступна населению.

Такое же неудобство — из-за колхозной системы в сельском хозяйстве. Когда крестьянин был частным владельцем своей земли, он работал в основном для того, чтобы торговать

своими продуктами на рынке. От этого и ему была польза, и городскому населению была польза. Он имел от этого деньги, а городское население имело от этого обилие недорогих сельскохозяйственных продуктов. Колхозная же система рассчитана на то, что у крестьянина почти все плоды его труда отнимает государство, которое платит ему за это гроши. Но от этого не только крестьянину неудобно, а также — и всему рядовому городскому населению. Ибо государство, отняв продукты у крестьян, вовсе не заботится о том, чтобы передать их целиком и полностью городскому населению, и притом — по дешевой цене. Во-первых, государство, или, точнее — советские правители, могут отправить порядочную долю сельскохозяйственной продукции на экспорт, чтобы на вырученные деньги строить танки и ракеты. Во-вторых, они могут и просто раздаривать сельскохозяйственные продукты странам вроде Кубы для поддержания там коммунистического режима (тратя при этом громадные средства и на транспорт продуктов), а в-третьих, они продают городскому населению сельскохозяйственные продукты намного дороже, чем их продавал бы крестьянин-частник, если бы крестьянам-частникам была дана полная свобода торговли и между ними была бы конкуренция. Но всё это — неудобства и тяготы лишь для рядового населения, а уж никак — не для советских правителей и их прислуги. Как уже было сказано, они позволили самим себе иметь всяческую роскошь и нисколько не вменили в свою «коммунистическую обязанность» разделять с простыми людьми тяготы их жизни. Тем самым они сразу отгородили себя от нужд народа, и им, говоря образно, стало наплевать на народ. Они стали в положение царей, а когда это было, чтобы цари беспокоились о том, что народу тесно, что народу неудобно, что народу тяжело?

Все знают, что для всех «руководящих» советских работников существуют специальные закрытые магазины, где есть абсолютно все продукты самого высшего качества и уж, конечно, по доступной для них цене. Точно так же у них есть свои закрытые ателье, свои закрытые больницы и амбулатории, и прочее всё «свое», и всё — высшего качества. Так чего же ради им горевать от того, что колхозная система в сельском хозяйстве и государственная система в легкой промышленности и торговле неудобна для населения?

Для них эта система очень удобна. Им она дает полноту власти надо всеми областями государственной жизни, включая даже сапожные мастерские, которым они могут предписывать по плану, что хотят, и где они могут назначать такие расценки, какие хотят. А ведь это для них — колоссальное удобство. Если им, допустим, захотелось поразить весь мир космической сенсацией или запугать Запад чудовищной водородной бомбой, то ведь для такой их забавы нужны деньги! А когда под их властью в государстве находится всё, вплоть до каждой сапожной мастерской, и до каждой крестьянской избы, то что им стоит выжать из народа столько денег, сколько нужно?

Сейчас же понесутся гласные и негласные приказы во все инстанции: там повысится цены, тут в два раза ухудшить качество продуктов для широкого потребителя, там совсем лишит широкого потребителя продуктов и товаров, и деньги будут, и космическая сенсация будет, и водородная бомба, чтобы пугать весь мир, тоже будет, и удовольствие им от всего этого тоже будет. Им это очень удобно.

А наряду с этим, не будем забывать, что они называют себя марксистами и коммунистами, и на самом деле считают себя таковыми. Ведь нужно же им кем-то себя считать! А не могут же они сами себя считать разбойниками, грабителями, деспотами и лицемерами! Нет, конечно. У всякого из них, как и у всякого человека, есть потребность в том, чтобы считать себя чем-то хорошим, а не чем-то плохим. И чем хуже плохой человек, тем большая у него потребность в том, чтобы считать себя не плохим, а хорошим, скрывая от самого себя свое лицо какой-то маской. Тем более велика потребность в такой маске у этих людей. В роли этой маски им служит всё тот же добрый «бабушкин наряд»: всё та же марксистская философия столетней давности, которая проповедует, что устранение частной собственности на средства производства должно привести к исчезновению эгоизма, к облагораживанию душ и, наконец — ко всеобщему раю на земле. И вот, поскольку они объявляют это своей официальной идеологией, и поскольку такое «объявление» им вывесить на свой фасад совершенно необходимо, они вынуждены что-то всё время **делать** во имя этой идеологии, чтобы иметь повод говорить: «Мы — марксисты, а не бандиты! Мы захватили власть в государстве не для того,

чтобы иметь виллы и жить по-царски. Это для нас — лишь как бы между прочим, а главная наша цель — не в этом, а в том, чтобы вести человечество твердой и мужественной рукой к светлому коммунистическому будущему!»

Вся эта идейная маска им служит, безусловно, не только ради сознательного притворства. Очень часто бывает так, что маска наполовину срывается с лицом, и именно это у них, очевидно, произошло: у таких людей, как Сталин, Хрущев и их сподвижники. Маска коммунистических идей врезалась им в самый мозг, и превратилась в их фикс-идею, в их **манию**. Это — примерно так же, как у нацистов было в их расовой теории, и особенно — в их отношении к евреям.

Нечто такое же маниакальное — в отношении советских правителей к частному предпринимательству. Сначала, в годы революции, их борьба с частным предпринимательством имела в себе нечто вполне рациональное. Национализировать какие-то основные отрасли тяжелой промышленности, установить над хозяйственной жизнью страны государственный контроль — это было в условиях тогдашней России во многих отношениях полезно.

Но позднее, начиная с тридцатых годов, идея борьбы с частным предпринимательством стала обретать у них всё более маниакальный характер. Взять, например, колхозы. Хотя они и дают государству возможность всячески **обдирать** крестьянство, государство могло бы иметь от крестьянства не меньше, а еще больше продуктов и без этого обдиранья, если бы колхозов не было. Для всех очевидно, что если бы землю, конфискованную после революции у помещиков, передать крестьянам в частное владение, то-есть устроить сельское хозяйство по американскому образцу, то оно давало бы гораздо больше продуктов, чем при колхозной системе, потому что частная заинтересованность крестьянина-фермера — это колоссальнейший фактор в продуктивности сельского хозяйства. При такой частной фермерской системе и государство получало бы от сельского хозяйства больше, и население было бы довольно: как сельское, так и городское. Но наперекор всем разумным соображениям советские правители устроили колхозы. И еще как устроили! Приступив к крестьянам с ножом к горлу. Крестьяне страшно сопротивлялись: резали скот, чтобы только не

отдавать его в колхоз, резали самих коммунистов, насколько у них была возможность, и всё-таки их загнали в колхозы. Почему? Только потому, что советских правителей одолела коммунистическая фикс-идея. «Частная собственность на землю — это, видите ли, антикоммунистический принцип, а они, марксисты, призваны всеми силами насаждать на земле коммунизм». В насаждении коммунизма они ощущают некое свое «мессианское» предназначение.

То же самое — в легкой промышленности и торговле. Разве такие мелкие частные предприятия, как сапожная мастерская, ателье, розничная торговля, повредили бы плановому развитию социалистической тяжелой промышленности? И разве они не явились бы громадным удобством для населения? Но советские власти, как только увидят частника, торгующего хотя бы детскими игрушками собственного изготовления, бросаются на него, как собаки: «Ага, — частник! Преступник! Враг государства! Обложить его таким налогом, чтобы он прекратил свою торговлю!»

Это, действительно, — болезненная мания, и она сродни мании властолюбия. Они ощущают дело так, что всякий частник подрывает их всевластие, потому что он в какой-то мере становится независимым от государства; у него появляется что-то **своё**, что-то неподвластное указам и плановым предписаниям, исходящим от них, и это для них нетерпимо с чисто психологической точки зрения.

---

Далее, выявим следующую сторону советской системы. Поскольку эта система оказывается страшно неудобной для подавляющего большинства населения, население, конечно, смело бы ее в один день, если бы ему дать волю. Советские правители это прекрасно понимают, и потому основной принцип их правления состоит в том, чтобы населению воли не давать: чтобы не давать ему ни права политической оппозиции, ни свободы устного слова, ни свободы печати, ни свободы собраний, ни свободы каких-либо культурных обществ и объединений, иными словами — держать его, как в тюрьме. А между тем, по своей официальной марксистской идеологии, по своей маске коммунистов, советские правители объявляют себя демо-

кратами из демократов, лучшими друзьями и слугами народа, для которых воля народа — закон!

Официально и прямо они не могут объявить, что запрещают народу все демократические свободы. Наоборот. Во имя соблюдения своей маски они вынуждены официально предоставить народу все эти свободы в конституции. Поэтому им остается только путь подавления демократических свобод — неофициально, тайно. А этот путь требует страшного террора: такого террора, о котором знал бы каждый житель советского государства, или на собственном опыте, или от друзей и родных, но — который тщательно скрывался бы от заграницы официальной маской свободы и демократии: той маской, которая состоит из газетных статей, радио-речей и прочего декорума. В этом отношении советский режим — самый лицемерный и гнусный из всех режимов, когда-либо бывших. Советский режим возник в той части Земли, которая является полу-Азией, и со временем в нем возобладало чисто азиатское начало. А азиатскому характеру свойственна хитрость и, главное — закрытость. Символ Азии — это китайская стена, наглухо отгораживающая страну от внешнего мира. Такой же стеной лжи, глушителей и пограничных кордонов советский режим отгородил свои дела и от собственного народа, и от внешнего мира.

Ложь — это, пожалуй, самая характерная и основная черта советского режима. Ложь проникает в этом режиме всё насквозь, каждое его дыхание: ложью здесь наполнены и идеология, и газеты, и журналы, и выступления руководителей государства и экономические отчеты об итогах выполнения плана — всё вообще. Это и естественно, ибо сама марксистская идея, на которой возникло это государство, была абсолютно ложной и очень быстро доказала свою ложность. Поэтому, если советские руководители не отказались от этой идеи, то им пришлось чем дальше, тем больше усугублять ложь. По характеру своему советская ложь похожа на издевательство.

В веках истории и в нашей современности навряд ли можно найти такое государство, в котором свобода слова, печати и собраний были бы подавлены более полно, чем в Советском Союзе. А между тем, советская пропаганда провозглашает, что никогда еще за всю историю трудящиеся не обладали столь пол-

ной свободой слова, печати и собраний, как в «стране победившего социализма».

В условиях двадцатого века навряд ли есть такая страна, в которой правители могли бы более пренебрегать желаниями своего народа, чем это делают правители Советского Союза. А между тем, все советские газеты, книги и речи провозглашают, что советское правительство — это исполнитель воли народа.

Очевидно, не менее, чем миллионов пятнадцать людей в Советском Союзе сосланы и замучены без суда. А между тем, все советские книги и газеты в то самое время, как это происходило, утверждали, что нет другой такой страны, где более соблюдались бы правила законности, чем в стране социализма. И когда в Америке совершалось осуждение хотя бы одного человека, которое казалось противозаконным, то вся советская пресса была полна негодующих статей, призывов к совести и «гневных обличений» капиталистического мира.

В Венгрии, маленькой стране, поработанной Советским Союзом, народ поднял в 1956-ом году восстание и вышвырнул посаженных ему на шею советских марионеток. Тогда были пущены в ход советские войска, залившие восстание кровью. Больше ненависти, чем ненависть венгров к этим войскам, наверное, не существовало за всю историю человеческой вражды. И при этом весь мир был свидетелем событий в Венгрии. И вот, советские газеты объявили всему миру, что «венгерский народ приветствовал советскую армию-освободительницу, избавившую его от насилия контрреволюции, пытавшейся свергнуть законную революционную власть» (то-есть, советских марионеток).

Точно так же было с прибалтийскими странами: Латвией, Литвой и Эстонией. Навряд ли можно найти страны и народы, в которых была бы бóльшая ненависть к Советскому Союзу и советскому строю, чем в этих странах, где люди жили очень зажиточно, где почти каждый крестьянин имел свой хутор и где в самом духе людей заложено глубокое отвращение к идеям социализма.

Население этих стран встретило советских завоевателей в 1940-ом году с яростью: советским властям пришлось очень и очень многих оттуда отправить в Сибирь, чтобы утвердить там свое господство. А главное — налицо был сам факт завоевания.

Ведь туда вошли советские войска, советские танки. (Так же, как и в западную Белоруссию). И советское правительство на весь мир объявило, что прибалтийские страны и западная Белоруссия «добровольно присоединились к Советскому Союзу». Это было по существу такое же заявление, как если бы нацистская Германия заявила, что Польша добровольно отдала себя в распоряжение Третьего Рейха, а польские евреи сами изъявили желание, чтобы их заперли в гетто. Фашисты на такую наглую ложь оказались неспособны, а вот советские власти оказались способны.

Так же обстояло дело с колхозами. Трудно выразить словами ту ненависть и ярость, с какой крестьяне Советского Союза встретили идею колхозов. Писатель Борис Пастернак в тридцатых годах, когда устраивались колхозы, поехал на Урал, чтобы там собственными глазами посмотреть на всю эту колхозную кампанию. От того, что он увидел, он на некоторое время психически заболел и несколько лет не мог работать. Крестьян загоняли в колхозы самыми бандитскими средствами. И обо всём этом советская власть заявила на весь мир, что крестьяне добровольно вступили в колхозы, и что они благодарят родную партию и правительство за такое мероприятие, отвечающее их исконным чаяниям.

Вообще всё, что в Советском Союзе делается под угрозой репрессий, объявляется «добровольным». Например, в течение очень многих лет всё население Советского Союза заставляли подписываться на заем в очень солидном размере. (Подписка на заем составляла собой регулярный вычет примерно одной восьмой части зарплаты у каждого рабочего и служащего). Тех, кто отказался бы подписываться на заем, не отправили бы в концлагерь, но постепенно сжили бы со света: придравшись к пустяку, уволили бы со службы, потом не приняли бы на другую службу, и так далее. Это все прекрасно знали, и все подписывались. Это было объявлено чисто добровольным мероприятием. А потом правительство объявило, что так же добровольно все трудящиеся отказались от розыгрыша займов по тем облигациям, которые у них накопились за много лет, и розыгрыши прекратились. Однажды я даже услышал по радио такое сообщение: рабочие какого-то завода устроили митинг, и на этом митинге единодушно попросили,

чтобы им снизили расценки, ради повышения доходности предприятия, идущей в «пользу родного государства».

На весь мир советская пропаганда трубила и трубит о «стахановском движении», о каких-то необычайно высоких показателях труда на советских заводах. А как эти «показатели труда» достигаются? Об этом мне рассказывал один инженер. Вызывают в партбюро какого-нибудь рабочего и объявляют ему, что он должен стать «стахановцем» и перевыполнить норму на столько-то процентов. Затем выделяются специально несколько человек, которые помогают ему «перевыполнять норму», а затем на весь мир распространяется сенсация: «Советский чудо-богатырь перевыполнил норму на триста процентов! Для советских людей, воодушевленных идеями коммунизма, нет невозможного!»

Даже в спорте — и здесь советская власть не может обойтись без лжи. Советские футболисты, например, — это настоящие профессионалы, потому что кроме футбола, они ничем не занимаются. Но официально профессиональный спорт в Советском Союзе запрещен, как «аморальное явление», и потому советские футболисты считаются «любителями». Ради соблюдения любительского декорума все они имеют фиктивные профессии: инженеров, рабочих, служащих.

Но, конечно, самая чудовищная ложь в Советском Союзе — в сфере политики. Недавно меня поразил новый сюрприз советских газет. Московские «Известия» стали публиковать сообщения о жизни западного мира под рубрикой «За железным занавесом». На Западе вполне справедливо называют Советский Союз страной за железным занавесом, потому что советские власти не допускают в страну никакой объективной информации с Запада: западные передачи глушатся, западные газеты и журналы в Советский Союз не пропускаются. На Западе же открыты все двери для советской «информации», хотя в основном она является дезинформацией. И вот, советские власти набрались наглости, и заявили, что железным занавесом отгораживается не Советский Союз от Запада, а Запад — от Советского Союза.

Если бы советские власти издали официальные диктаторские законы, которые запрещают населению гражданские свободы и оправдывают террор, они поступили бы, как жестокие

правители, но по крайней мере — не как государственные преступники. А если они в официальном законе провозглашают все демократические права, а сами же попирают их, то они нарушают собственный государственный закон, и поступают, как типичные преступники.

Если людям запрещают выражать свои искренние мысли и чувства, то им, конечно, велят выражать какие-то фальшивые. Так было всегда и во всех диктаторских государствах. Какие же фальшивые мысли и чувства советские власти велят выражать своим подданным? Конечно, те, которые должны служить официальной коммунистической маской государства. Поэтому всюду и во всем советские власти требуют от людей, чтобы они выражали свою «коммунистическую сознательность», свою «веру в светлое коммунистическое будущее», свой восторг перед «светлым социалистическим настоящим» и, наконец — просто бодрое, веселое настроение, которое должно свидетельствовать, что в стране советов людям живется очень хорошо.

Отсюда становится ясным облик **культурной** жизни в советском государстве. Прежде всего ясно, что советские власти должны были запретить всякую философию кроме марксизма (если только можно назвать марксизм философией). Ибо, конечно же, они не могли позволить, чтобы какой-нибудь философ в их стране публично назвал весь их марксизм недоразумением или ложью, и потом объяснил бы, почему он придерживается такого мнения.

Затем ясно, что они должны были подвергнуть всяческому гонению религию, ибо религия явно мешает им «воспитывать коммунистическое сознание людей», то-есть заставлять людей громко выражать свой восторг прелестями социализма и грядущим раем коммунизма. (Который обещан по плану совсем скоро: в 1980-ом году).

И, наконец, ясно, что всё искусство советские правители должны были превратить из искусства в пропаганду «коммунистических идей». Так они и сделали. Они, по существу, запретили искусство, ибо искусство и лживая пропаганда — это, конечно, не совместимо. И чем дальше, тем петля «коммунистического воспитания» сжимается всё туже. До войны, помню, в

Советском Союзе передавали по радио и человеческие песенки, и танго, и можно было купить пластинки с такими записями. Песенки тогда были о любви, о томлении сердца, об Андрюше, о Маше, о Любушке. Теперь, после войны, всё это изъято из всех репертуаров, как «аморальное» и ничего в таком роде не позволяется. Но пусть западный читатель не подумает, что в этих песенках действительно было что-нибудь аморальное. Ничего подобного. Там была самая невинная грусть или радость любви, и ни одного слова, которое даже самый придирчивый пуританин мог бы счесть неприличным. «Аморальным» явлением в искусстве советские коммунисты объявили самую тему любви, если эта тема трактуется вне связи с «производственными успехами», «героическими дерзаниями» и «трудовыми свершениями». Так — в серьезном искусстве, так же — и в легком. Редко-редко сквозь кордон советской цензуры прорывается песенка с человеческим мотивом и человеческими словами, но и то ее всячески третируют или просто запрещают. («Подмосковные вечера», которые так полюбились на Западе, не третируют и не запрещают потому, что советские правители видят в этой песне патриотический мотив: ведь не парижские же вечера в ней воспеваются, а подмосковные). Когда известная советская эстрадная певица Ружена Сикора включила в свою программу испанскую песенку со словами «Целуй меня, целуй», ее обвинили в безнравственности, и запретили ей такой репертуар. Потом появилась советская песенка «Ландыш». В ней уже не было упоминаний не только о поцелуях, но даже о любви вообще, которую советские вожди считают чем-то столь опасным, что это стоит на грани шпионской деятельности в пользу Запада. В этой песенке пелось просто о весенних ландышах, но — без упоминаний о производственных успехах и героическом труде. Эту песенку очень полюбили и всюду распевали: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет, ландышей, ландышей белый букет!» Она тоже вызвала гнев в каких-то вышестоящих инстанциях, и по ее адресу прозвучала «суровая и принципиальная партийная критика»: «Нам не нужно бездумного птичьего искусства». И тотчас эту песенку изъяли из всех советских репертуаров. Изъяли отовсюду даже музыку танго. В этой музыке, по мнению советских правителей, звучит что-то слишком антисоветское: какая-то грусть, какая-то лю-

бовь, не зарегистрированная в ЗАГС'е, какое-то интимное настроение. Это опасно, это создает не тот дух, который должен быть у бодрых строителей коммунизма, и это теперь запрещено: этого не услышишь теперь ни по радио, ни с эстрады, ни на пластинках, которые есть в продаже. Зато из репродукторов теперь гремят новые песни: «И прекрасней, чем ТУ-104, в нашем мире машин не найти!» Затем — марши коммунистических бригад, затем — гимны бодрости, гимны радости, или такие песенки о любви, которые, кажется, сочинили комсорг в содружестве с парторгом. (Может быть, в передачах для заграницы советское радио позволяет себе и что-нибудь более человеческое; может быть, оно специально собирает для таких передач те несколько человеческих мотивов, которые чудом проникли в советский репертуар и удержались здесь, но для советских слушателей что-нибудь человеческое звучит очень редко).

Я специально остановился так подробно на песенках, потому что в каком-то смысле это — самое характерное, это — то, что наиболее образно передает дух жизни, царящий в государстве. О серьезном искусстве нечего и говорить. На Западе прекрасно знают, что это искусство в Советском Союзе фактически запрещено. Единственное, что есть незапрещенного в советском серьезном искусстве — это классический балет, музыкальное исполнительство, а отчасти — и музыкальная композиция. В серьезную музыку советские правители вмешиваются меньше, чем во всё остальное, потому что эта музыка неконкретна: в ней нет ни зримых образов, ни слов, и от нее нельзя категорически потребовать изображения доярок и заводских цехов. Композитор пишет в этой области, что ему угодно (только не крайне левое), и называет это «увертюрой революции 1905 года» или какой-нибудь «симфонией третьей пятилетки», и на этом советские правители успокаиваются: большего они здесь не могут требовать. Но в литературе, в театре, в живописи всё под запретом, кроме пропаганды коммунизма и патриотизма. (Причем в патриотизм входит и такая графа, как «воспевание родной природы», на основании чего в живописи и литературе допускается пейзажный жанр).

Но песенки — это что-то гораздо более широкое, народное, и в этом смысле — характерное для жизни всей страны.

И когда в государстве запрещают даже петь песенки, причем — вполне приличные и хорошие, песенки о грусти, о душе, о любви, то становится особенно ясно, что этим государством правят люди, к которым можно приставить частичку «не»: не-люди. Это — враги рода человеческого, потому что им враждебно всё человеческое: слезы, волнения, мечты. Они любят только железное, только машины и приказывают петь только о машинах и о том, что связано с машинами. Они и самого человека хотят превратить в машину, которая только работает, ест, спит, рожает им солдат и повторяет заученные фразы о «светлом счастье коммунизма».

Есил бы даже в этом государстве был полный материальный достаток, если бы каждый имел здесь свою квартиру и свой автомобиль, то в нем всё-таки не имело бы смысла жить ни одному человеку, имеющему живую душу. Ибо душа живет не квартирой, не автомобилем, а любовью, грустью, мечтой, песней, искусством, мыслями о вечном, верой в Бога. Это — главное, это — смысл человеческой жизни, и когда это душат железной рукой, то жизнь теряет свой смысл, человек превращается из человека даже не в животное, а в тупой автомат.

Не так давно я прочел характерную заметку в советской газете «Труд». В этой заметке сообщается, что дирекция какого-то ленинградского клуба ведет «опасную развлекательскую политику». (В скобках замечу, что советский клуб — это именно такое место, которое официально предназначено для отдыха и развлечения). Авторы этой заметки с гневом пишут, что рабочий, приходящий в означенный клуб, не может увидеть здесь на стенах даже графиков текущего выполнения плана, отчетов о производственных успехах предприятия и плакатов. На их возмущенные вопросы ответственная за это безобразие З. Иванова без тени смущения ответила, что «рабочие приходят в клуб отдохнуть, а плакатов и графиков и на заводе хватает!» Кроме того, дирекция этого клуба пошла на прямой срыв партийно-государственной воспитательной работы: пригласила на вечер поэзии каких-то модных молодых поэтов, сурово осужденных партийной критикой за бездумное птичье искусство.

Но, как сообщают авторы заметки, своевременно были приняты необходимые меры бдительными людьми, и вечер с

этими поэтами был отменен. Будут приняты надлежащие меры и по устранению «развлекательской» тенденции в оформлении клуба. Стены клуба будут украшены графиками выполнения плана и фотографиями передовиков производства, чтобы глаз рабочего, приходящего сюда, мог отдохнуть в созерцании истинно прекрасного.

Это — сам дух, сам смысл советского режима. Жить при этом режиме позволено только машинам и все функции жизни сводятся к обслуживанию машин и мыслям о машинах. Всё человеческое объявляется «чуждым нам». На Западе многие судят о советской жизни по советскому искусству, а о советском искусстве — по таким кинофильмам, как «Баллада о солдате», по некоторым приличным рассказам Паустовского или стихам Евтушенко и Вознесенского, но, во-первых — всё это появилось в тот период, который Эренбург назвал «оттепелью», и эта оттепель длилась очень недолго: лет пять-семь. А до нее был мороз и после нее настал мороз. И во-вторых, даже во время этой оттепели температура лишь чуть-чуть поднималась над нулем. Даже весеннего тепла, не говоря уже о летнем расцвете, в советской культурной жизни не бывает. «Баллада о солдате» — это человеческий фильм, и жители Запада это знают. Но они должны знать и то, что такой фильм в Советском Союзе приходится один на двадцать фильмов о производственных успехах и коммунистической морали. (Может быть, это делается даже по плану. Может быть, специально для того, чтобы что-то можно было показать за границей, советские правители позволяют в искусстве какой-то процент человеческого).

Многие на Западе ценят дух советского режима за то, что при этом режиме нет такой свободы разврата, как в условиях западной демократии. Сам я тоже не восторгаюсь западной жизнью за то, что душой народа там овладели джаз, твист, секс, истории об убийствах и прочее возбуждающее нервы. Но что ж поделаешь: это — фатальный недостаток демократии и нашего технического века, которые в совмещении неизбежно дают именно то, что сейчас есть на Западе. Демократия двадцатого века — это далеко не Царствие Божие, и молиться на нее не приходится. Но дурные стороны демократии — это гораздо меньшее зло, чем дурные стороны социализма. Уж луч-

ше, когда всему предоставлена свобода: и нравственности, и безнравственности, чем когда всё запрещено и заморожено: запрещен и разврат — запрещена и святость, запрещена и порнография — запрещены и книги о чистой любви, запрещены и публичные дома — запрещены (фактически) и монастыри. А к тому же, на Западе не такая уж полная свобода предоставлена разврату. Правительство там тоже не позволяет всё, что угодно, и там жить еще вполне можно. А здесь — уже нельзя: здесь можно только страдать, как в тюрьме, и это западные сторонники «советской целомудренности» должны понять. Пусть они подумают о том, какой климат лучше: на экваторе, где свободно расцветает всё, что угодно: и ядовитые растения, и чудные цветы, или на Северном полюсе, где всё заморожено: где невозможен тлен, но невозможен и рост, а возможны лишь льды и белые медведи.

К тому же, с точки зрения прав государственной власти, позиция демократической власти в этом вопросе является несравненно более справедливой. Государственная власть вообще не должна иметь права вмешиваться в личную жизнь людей, поскольку их личная жизнь остается в рамках законности. В этом смысле государственная власть не имеет права запрещать людям развлекаться так, как им угодно, поскольку их развлечения не мешают другим. А советская власть присвоила себе право именно мешать и даже запрещать людям развлекаться так, как им угодно. Например, на советских танцевальных площадках висят объявления: «стильные танцы запрещены». Точно так же запрещены десятки и сотни других форм развлечений: закрыты ресторанчики и погребки, которых раньше в городах России были тысячи и в которых люди довольно невинно отдыхали за кружкой пива под уютные звуки граммофона, запрещены интимные кафе, в которых можно было бы не только съесть обед, но и посидеть и поговорить, запрещено вообще всё, кроме демонстраций с красными флагами. (Во многом этот запрет исходит из страха советских правителей перед революцией. Они прекрасно понимают, что если дать людям места, в которых они смогут собираться и непринужденно говорить, то не хватит шпииков и осведомителей, чтобы за ними уследить). Всё это — прелести именно того «целомудренного советского воспитания трудящихся», которое

исключает возможность западной свободы нравов. Так лучше уж пусть будет эта свобода нравов, чем такая «целомудренность», которая превращает всё государство в казарму, колхоз и заводской цех.

А к тому же, если говорить о «целомудренности» советского образа жизни, то нужно учесть, что эту «целомудренность» советские правители предназначают только для масс, чтобы удобнее было сдерживать их. Себе же самим они позволяют кое-что более веселое. На Западе, очевидно, знают громкую историю Г. Александрова, о которой советские газеты писали в 1955 году, хотя писали, конечно, далеко не всё. (Тогда начался период развенчивания Сталина, и потому вообще кое-какие «развенчивающие» сообщения стали попадать в печать). Г. Александров был главным советским идеологом-марксистом, то есть тем самым человеком, который непосредственно руководил «коммунистическим воспитанием трудящихся». Но этой деятельностью он занимался лишь днем. А по вечерам и по ночам он и его коллеги выступали в ином амплуа: приглашали женщин, отправлялись с ними в свои загородные виллы, устраивали там оргии и купали женщин в шампанском (наполнив этим напитком ванны). В таком же духе живут почти все эти «воспитатели коммунистического сознания». Разврат и пьянство — это их основное проведение досуга.

---

Итак, вот чем марксистская теория оказалась на практике.

Люди на Западе, конечно, достаточно слышали об этом, но многие всё же не верят, или верят лишь в малой степени. Ибо человек недоверчив: пока он не увидит собственными глазами, он склонен сомневаться; тем более, когда один говорит ему одно, а другой — другое. Очевидно, этим и приходится объяснять, что многие люди на Западе объявляют себя друзьями советского режима и поклонниками коммунистических идей. Кроме того, объяснения здесь нужно искать, очевидно, и в том, что этих людей покоряют экономические достижения Советского Союза в области тяжелой промышленности.

Конечно, нужно признать, что несмотря на все безобразия, сопутствующие социалистической системе, эта система, с ее плановостью, централизацией и, главное — **диктатурой**, имеет

много преимуществ для развития тяжелой промышленности. Этого отрицать нельзя. Ибо само собой разумеется, что если правительство страны ставит перед собой цель все государственные средства бросить на развитие тяжелой промышленности, пренебрегая ради этого легкой промышленностью, выжимая ради этого все соки из населения, не обращая ни малейшего внимания на обиходные нужды населения, то в результате такой политики тяжелая промышленность должна развиваться гипертрофированными темпами, даже если половина угля будет просыпаться при перевозках сквозь щели платформ на полотно, и половина машинного оборудования будет ржаветь под открытым небом.

Но возникает вопрос о том, кому **нужно** такое гипертрофированное и самодовлеющее развитие тяжелой промышленности? Советским правителям оно действительно нужно, потому что им оно прибавляет власти и могущества, а от их обиходных нужд ничего не отнимает. Но зачем оно нужно населению?

Ведь не есть же населению стальные машины вместо бутербродов и фруктов! Ведь не одеваться же ему в станки вместо костюмов и платьев! Ведь не использовать же ему космические корабли, с их изумительной аппаратурой, для снабжения торговой сети! Все эти громадные и сложные машины сами по себе человеку абсолютно не нужны, поскольку они не производят того, что ему нужно. А при советском режиме они как раз не производят того, что человеку нужно. В капиталистических странах развитие тяжелой промышленности переходит и в развитие легкой, и вообще той промышленности, которая создает предметы, служащие для удобства человека: автомобили, мотороллеры, велосипеды, холодильники, стиральные машины и прочее.

В Советском же Союзе это происходит лишь в очень малой мере. Автомобиль, например, здесь почти невозможно купить, даже если есть для этого деньги. Автомобилями советские правители обеспечивают только «своих людей», и только им же дают всё необходимое для содержания автомобиля: запасные детали, гаражи. О мотороллерах один итальянский турист справедливо писал еще в конце пятидесятых годов, что их на улицах Москвы не больше, чем в Риме — вертолетов. За холо-

дильниками в Москве — всегда колоссальная очередь: люди записываются в очередь на холодильники за два-три года вперед. Их очень мало и они очень недешевы: большой холодильник стоит примерно три месячных оклада квалифицированного рабочего. И так — во всем. А что касается советской торговой сети, и вообще сети снабжения, то она работает так. Где-нибудь возле Алма-Аты в колхозах гниют целые тысячи тонн перво-сортных яблок. Где-нибудь в Грузии так же гниют горы винограда. Где-нибудь на Дальнем Востоке так же гниют горы сельди. А в Москве и в других городах Советского Союза каждое яблочко, каждая гроздь винограда и каждая селедка стоят очень дорого, да и по этой дорогой цене их часто не найти. Почему всё это происходит? Потому, что тяжелая промышленность в Советском Союзе не работает для нужд человека. Вместо того, чтобы строить самолеты, которые должны перевозить яблоки из Алма-Аты в Москву, советская тяжелая промышленность строит самолеты, которые должны носить бомбы; вместо того, чтобы строить железные и шоссейные дороги для целей торгового снабжения населения, советская тяжелая промышленность строит лишь то, что предназначено для ракет, пушек и прочих средств уничтожения людей. И видя, какими гигантскими темпами эта тяжелая промышленность растет, следует не восхищаться, а ужасаться, ибо она растет не на пользу, а на горе и смерть людям.

Советский Союз и страны с более поздним советским режимом, в принципе ничем не отличающиеся от Советского Союза, являются до сих пор единственным опытом марксистской системы государства. Если кто-то хочет думать, что это — неудачный опыт, а можно произвести и какой-то более удачный, то пусть себе так думает. Пусть себе предполагает, если ему хочется, что где-нибудь во Франции можно так же насильственно запретить всякое частное предпринимательство, как это было сделано в России или Венгрии, но при этом избежать диктатуры и сохранить все демократические свободы. Лично я и великое множество других людей считаем такое предположение утопией, но кому мешают утопии?

Однако, утопии — это дело одно, а реальная политика — это дело другое. В реальной международной жизни сейчас выступает на арене не какая-то утопическая мечта о сказочно

прекрасном марксистском государстве, а то **реальное** государство, устроенное марксистами, каким является Советский Союз, и вообще вся советская империя (включающая в себя и страны Восточной Европы и Китай). И долг каждого человека Запада сейчас заключается в том, чтобы дать правильную оценку этому **реальному** политическому режиму, чтобы занять по отношению к нему правильную позицию: и нравственную, и политическую.

И вот здесь-то приходится говорить об очень странной и опасной позиции, которую по отношению к этому режиму заняли западные коммунисты и прокоммунисты. Если они представляют себе в мечтах какое-то идеальное марксистское государство и объявляют такую мечту конечной целью своей политики, это — их дело. Мечтать всякому позволено. Но как они относятся к **реальному** советскому режиму? Они не только не осуждают диктаторский характер этого режима, а прямо наоборот: они стараются убедить, может быть — и себя, и других, а может быть — только других, что этот режим — не диктаторский, а демократический и что он принес народу не угнетение, а свободу. Такая позиция — это или опасное заблуждение или, что еще вероятней — опасная сознательная ложь.

Если коммунисты Запада объявляют себя политическими друзьями и соратниками коммунистов Советского Союза, то, конечно, они и в военном отношении не собираются противостоять Советскому Союзу. Они **подрывают** оборону свободного Запада. И если они придут на Западе к власти, то это означает, что они в военном отношении откроют ворота Советскому Союзу. А тогда, даже если бы они **хотели** установить у себя на Западе что-то более мягкое и терпимое, чем советский строй на Востоке, коммунисты Востока над ними только посмеялись бы. Ведь венгры хотели именно этого. Они хотели оставить у себя социализм и во главе государства хотели оставить даже коммунистов (таких, как Имре Надь), но — отказаться от всякого деспотизма: предоставить всему народу свободу слова, печати, собраний, культурной деятельности. Однако, венгров не отделял от Советского Союза оборонительный вал Запада. И что вышло в результате из их хотения установить у себя «хороший», «добрый» социализм? Вышло то, что советские

пушки расстреляли их в упор, и на их место посадили людей, которые восстановили в стране по существу прежнюю диктатуру.

И разумеется, точно так же советские коммунисты поступят с теми западными коммунистами, которые, может быть, захотят установить у себя на родине «добрый социализм», если эти коммунисты придут к власти и отказавшись от военной обороны Запада, откроют на Запад дорогу советским танкам и пушкам.

А в том, что диктатура вообще может осуществиться и на Западе, не приходится сомневаться, несмотря на то, что на Западе в целом люди гораздо больше ценят свободу, чем на Востоке. В Германии и Италии фашистская диктатура была в двадцатом веке. Но если это было, то это может и вернуться в новой форме, и именно на возвращение этого направлена деятельность западных коммунистов.

Если бы население Запада всё это вполне сознавало, то, мне кажется, ни один человек там не стал бы голосовать за коммунистов, ибо **такая** диктатура, какая есть при коммунистическом режиме, никому не нужна, кроме самих коммунистов, делающих себя при этом режиме сатрапами.

*Икс*

## ВОЖДИ УХОДЯТ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

В те октябрьские дни, когда мир был оповещен о смещении Хрущева и о взрыве китайской атомной бомбы, многие были полны одновременно и надежд и опасений. Теперь, спустя два месяца, кажется, политическая жизнь опять вошла в привычные берега.

Между Москвой и Пекином возобновился «обмен мнений», по своему тону и содержанию мало способствующий восстановлению коммунистического единства. Москва, правда, избегает острой полемики, оскорбительных ярлыков и выражает даже готовность идти на какие-то «протокольные» уступки. Однако, одновременно она твердо и недвусмысленно дает понять, что в коренных вопросах и внутренней и внешней политики она пойдет по пути, который за последние годы был связан с именем Хрущева.

Похоже на то, что, независимо от того, какую роль в октябрьских переменах советско-китайские отношения сыграли, развитие событий, происшедших уже после устранения Хрущева, говорит о невозможности действительного советско-китайского примирения. При суетливом и импульсивном Хрущеве еще казалось, что помимо трудно примиримых и противоречивых интересов, оскорбительные ярлыки прикрывали также и тщеславие и честолюбие «вождя» перьей и самой мощной социалистической державы. Теперь, когда элемент личного соперничества между Хрущевым и Мао отпал, пропасть, отделяющая Китай от СССР, предстала с еще большей наглядностью.

Требую от Советского Союза отказа от политики сосуществования с Западом и отказа от замены диктатуры пролетариата всенародным государством в самом СССР, Китай фактически требует от Советского Союза полной перемены курса его внешней и внутренней политики. Оставим в стороне вопрос о

том, в какой мере строй Советского Союза действительно отвечает требованиям «всемирного» государства и в какой мере он искренно осуществляет политику сосуществования с не-социалистическими странами. Но отметим, что, в китайском понимании, революционная внутренняя политика сводится не к «гуляшю и новой квартире», а к новому наступлению за торжество коммунизма. Вот почему один из основных споров между Китаем и Советским Союзом по вопросу о внутренней политике СССР приводит к дилемме: или всемирное государство или диктатура пролетариата. Первое подразумевает, по крайней мере, в теории, эволюцию в сторону либерализации режима и увеличения народного благосостояния; второе — возврат к террору и сталинизму.

Революционная (в китайском понимании) политика во вне обязательно означает атомную войну; но она обязывала бы Советский Союз к интенсивной политической, экономической и военной помощи уже существующим коммунистическим странам и к активной революционной политике в Азии, Африке и Южной Америке. Невинный на первый взгляд, тезис, по которому уже существующие коммунистические страны должны прийти к социализму или к коммунизму одновременно, обязывает промышленно опередивший и в военном отношении мощный Советский Союз делиться своим богатством, опытом и техническими возможностями с бедными родственниками социалистической семьи.

Не следует упускать из виду, что ко всем этим спорным вопросам китайские руководители вовсе не относятся с буржуазным или соглашательским благодушием. Как истые ленинцы, они воспринимают и толкуют лозунги и решения буквально, требуя их действительного претворения в жизнь. Подлинный ленинизм тем и отличается от других (даже в теории более радикальных) движений, что он к своей миссии относится абсолютно всерьез, тотально и беззаветно, а не условно и относительно. Когда ленинцы говорят о революции и вооруженном восстании, они их одновременно и готовят. Когда ленинцы говорят о мире, они его заключают, даже если он «похабный». Когда они охвачены идеей немедленного коммунизма, они его внедряют, даже если он предстает в виде голода, продрозверсток или китайских коммун.

Возглавлявшиеся Хрущевым ленино-сталинские эпигоны готовы были подписаться под тезисом об одновременном вступлении в эру социализма, под решением о форсировании революций в капиталистических и колониальных странах и под обязательством о широкой помощи своим социалистическим собратьям. Они были готовы всё это подписать и всё это включить в первомайские и октябрьские лозунги, но смысл всего этого они толковали широко и относительно. В этом отношении, китайцы не так далеки от истины, когда они уподобляют современных советских вождей старым лидерам Второго Интернационала, которые, накануне первой мировой войны, говорили об интернационализме, антимилитаризме, о готовности к генеральным забастовкам, а на самом деле имели в виду мирные реформы и, в случае войны, безусловную защиту своего отечества. Правда, и тогда были люди, воспринимавшие и толковавшие радикальные решения Интернационала буквально и тотально. Но это именно и были большевики-ленинцы, болгарские ленинцы («тесняки») и несколько польских и других эмигрантов, которым нечего было терять и нечего было защищать.

Ленинские эпигоны в Советском Союзе и сподвижники Мао в Китае говорят на разных языках и вкладывают разный смысл в их пока еще общий идеологически-политический лексикон. Однако, и те и другие прекрасно понимают причины их расхождений. Как марксисты, они знают, что «бытие» не только «определяет сознание», но и революционный темперамент, даже таких людей, которые долго пили из ленинского источника. Воспитанные и умственно-определившиеся в жесткой школе марксизма-ленинизма, они не могут не понимать того, что, несмотря на общее наследство, их действительные интересы, позиции, оценки и пути разошлись.

Китайский коммунист-«шестидесятник» исходит из других «оптических» позиций, видит другой мир и рассчитывает на другие перспективы. Для него «человечество» — это миллиарды отсталых, голодных и еще неразбуженных людей. «В переживаемую нами эпоху», когда в марксизме-ленинизме найден был рычаг, с помощью которого можно сдвинуть и перестроить мир, «центр человеческого развития» переместился из «коррупцированного и гнивающего» Запада в отсталый и полуколониальный мир Азии, Африки и Южной Америки.

Перспектива китайского «шестидесятника» может исторически оказаться верной, но советский «шестидесятник» может ее не только не желать, но даже бояться, ибо в захваченном коммунизмом мире ему уготованы не то место и не та роль, на которую он привык претендовать. Панмонголизм хоть и «ласкает слух» философа и поэта, но в советских буднях, несколько тысяч азио-африканских студентов в Москве вызывают трудно-сдерживаемое раздражение. Куда могут увести мысли советского «шестидесятника», когда Китай, этот атомный младенец, навязывается в учителя и предъявляет требования, фактически сводящиеся к разделу Советского Союза по расово-этническому принципу? В этих условиях, едва ли можно удивляться, что людям, сменившим Хрущева, придется в китайско-советском конфликте идти по стопам своего предшественника, по уже привившейся формуле: хрущевизм без Хрущева. По тактическим соображениям, стороны могут временно приостановить полемику или даже заключить перемирие. Но настоящего мира и союза — без камня за пазухой, — повидимому, быть не может.

## II

С точки зрения далеких перспектив, значение советско-китайского разрыва велико. Но немедленного разрешения этот вопрос не требует и преемники Хрущева вполне могли до поры до времени даже игнорировать его. Отказавшись от созыва подготовительной конференции коммунистических партий на 15 декабря, они вовсе не были обязаны назначить новую конференцию на 1-е марта. Всё равно никакая конференция советско-китайских разногласий разрешить не может, и несомненно правы те, кто утверждает, что конференция имела бы смысл только в том случае, если бы до ее созыва обе стороны могли бы придти к соглашению по главным вопросам. Конференция не в состоянии переубедить не только главных участников спора, но даже и второстепенных. Почти во всех партиях позиции уже более или менее определились; одни партии поддерживают Москву, другие Пекин, в третьих (как например, в Индии и Бельгии) произошли расколы. Руководство КПСС вполне могло бы мириться с этим состоянием, ибо вес коммунистических партий, поддерживающих Пекин, не так уж зна-

чителен. С другой стороны, известно, что некоторые влиятельные партии, поддерживающие Москву (итальянская, польская, югославская), считают, по разным причинам, такую конференцию несвоевременной и вредной. Решение Москвы созвать конференцию, в которой Пекин и его сторонники, по всей вероятности, откажутся участвовать, становится тем более загадочным, если принять во внимание, что руководство КПСС стоит перед другими сложными проблемами, которые действительно не терпят отлагательств.

Каковы же они? Надо полагать, что главной и наиболее спешной проблемой, стоящей перед преемниками Хрущева, является проблема власти, точнее, ее стабильности. Формально такой проблемы не существует. Новое руководство единодушно следует в своей политике решениям двадцатого, двадцать первого и двадцать второго съездов. С уходом Хрущева, грешившего по части «культы», кумовства, зазнайства и безответственности, изменились только методы и стиль, но не сама политика. В действительности, однако, проблема власти стоит во всей своей остроте и не может быть разрешена мудрыми указаниями предыдущих съездов, даже если эти указания трактуются и осуществляются в новом стиле и новыми методами.

Проблема власти в Советском Союзе не нова и формулировать ее можно было бы так: совместимо ли действительно коллективное руководство с системой существующей в СССР? Если да, то при каких условиях и какой ценой? Но предварительно надо уточнить, что и как надо понимать под действительным коллективным руководством.

Признаками действительно коллективного руководства (с ударением на «действительно») не является ни перечисление членов президиума в печати в алфавитном порядке, ни разделение главных партийно-правительственных функций между разными членами руководства, ни даже факт продолжительного пребывания одних и тех же членов Президиума и цеха в этих правящих органах. Ведь член президиума, секретариата, цеха или правительства может выжить не благодаря своему независимому положению и поведению, а, наоборот, ценой полного подчинения фактическому хозяину упомянутых учреждений. Под действительным же коллективным руководством надо понимать режим такого порядка, при котором руководи-

тели, объединенные одной общей целью и одной широкой перспективой, говорят, когда это нужно и когда речь идет о коренных, жизненных вопросах, разными голосами.

Режим такого порядка существовал в Советском Союзе и в партии или в периоды после ухода с политической сцены настоящего хозяина, или в периоды, когда положение претендента на пост нового хозяина еще не было окончательно закреплено. Некоторое коллективное руководство осуществлялось в первые годы правления Ленина, когда его ближайшие соратники могли по важнейшим вопросам не только занимать разные позиции, но даже активно их защищать. Несмотря на его исключительное положение в партии и правительстве, Ленин иногда оставался с меньшинстве в вопросах, от которых зависела сама судьба советской власти. Так, например, «левые» коммунисты, борющиеся, во главе с Бухариным, против заключения брест-литовского мира, не только резко выступали против Ленина в цехах и на партийных собраниях, но даже издавали свой собственный фракционный орган.

Следует отметить, что, в этом отношении, влияние личности Ленина оказывалось противоречивым. С одной стороны, его волевая натура вождя и его превосходство как теоретика и политика подавляло и (по выражению Б. Суварина) «стерилизовало» его ближайшее окружение. Этим объясняется то, что большевизм, во-первых, менее чем какое-либо другое революционное течение привлекал в свои ряды ярких и самостоятельно-мыслящих людей; во-вторых, — наиболее выдающиеся большевики (как Богданов или Красин) на долгие годы от большевизма уходили. Большевистская партия пополнилась выдающимися людьми только в 1917 году, когда к ней примкнули троцкисты, многие левые меньшевики и выходцы из других партий, как Дзержинский, Радек, Раковский.

С другой стороны, преобладающий авторитет Ленина действовал в обратном направлении. Ленин мог предоставить известную свободу критики и терпеть некоторое подобие коллективного руководства, именно благодаря своему превосходству и авторитету. В этом смысле, интересно отметить одну особенность, свойственную всем революционным режимам. Они становятся менее терпимы и более тоталитарны не тогда, когда находятся в состоянии наибольшей опасности, т. е., когда эту

нетерпимость можно логически понять и оправдать, а, наоборот, когда опасность со стороны контр-революции начинает уменьшаться и когда революционный режим начинает проявлять относительные признаки стабильности. Так, подобие коллективного руководства при Ленине, практиковавшееся в период, когда советская власть держалась на волоске, сменилось режимом диктатуры руководящей ленинской фракции, когда гражданская война кончилась и когда советская власть могла считать себя сравнительно укрепившейся. Именно в последний день десятого съезда партии, в марте 1921 года, сразу после подавления кронштадтского восстания, по инициативе и под давлением Ленина, принимается резолюция о запрещении фракционной деятельности в коммунистической партии. Направленное преимущественно против «рабочей оппозиции», оно и фактически и формально вносит элемент тоталитаризма в партию, в которой, несмотря на присущий ей авторитарный характер с самого ее зарождения, всё же в какой-то мере сожигались разные течения.

С болезнью и смертью Ленина, подобие коллективного руководства в партии и стране проявляется с большей отчетливостью, особенно в первые годы. Действительного коллективного руководства и тогда было не так уж много, ибо реальная власть находилась в руках вождей руководящих фракций (сначала «тройки», потом право-центральной группировки), главным манипулятором которых был Сталин. Однако, тот факт, что с оппозицией приходилось бороться, иногда заключать с ней кратковременные «гнилые» союзы, уступать ей в одном, чтобы обмануть в другом, ограничивал присущие диктатуре тоталитарные и единодержавные тенденции.

Всякое подобие коллективного руководства исчезает, разумеется, с окончательной победой «генеральной линии» и консолидацией власти ее генерального секретаря. Оно в слабой, еле слышной и видимой форме возрождается на очень короткое время после смерти Сталина, когда, к примеру, Маленков выступал за «крутой подъем сельского хозяйства», а Хрущев за преимущественное развитие тяжелой промышленности. Это подобие коллективного руководства, повидимому, исчезает с победой Хрущева над антипартийной группой в 1957 году. Мы говорим, повидимому, ибо некоторые признаки свидетельству-

ют о том, что власть Хрущева не была, особенно в последние годы, такой абсолютной, как многим могло казаться.

Надо было ожидать, что с устранением Хрущева вновь возродится формула «коллективного руководства» и что некоторые руководящие его члены (те, которые «более равны» чем другие) начнут говорить, хоть и придушенными, но всё же разными голосами. Действительно, отчетливая разногласица, свидетельствующая о трениях между разными группами и высокопоставленными людьми, отражается за последние месяцы и в речах руководителей и на страницах советской печати.

Устами председателя белорусского совета министров Т. Киселева правительственные «Известия» от 27-го ноября жалуются на «приращение роли Советов» и правительственных учреждений, на «мелочную опеку предприятий», на «некомпетентное вмешательство», и ратуют за «независимость и самостоятельность советских учреждений» и за «персональную ответственность в исполнении принятых решений». Сам Косыгин, сетуя в своем докладе на последней сессии Верховного Совета на ту же «мелочную опеку», возмущает, что «забота о быте населения — важная обязанность Советов». С другой стороны, Брежнев, в своем выступлении по случаю годовщины Октябрьской революции, заявляет, что «коммунисты имеют широчайшие права для... дальнейшего контроля над деятельностью государственных, общественных и хозяйственных организаций». «Правда», рупор партийной бюрократии, напоминая, что «мы — коммунисты, мы за всё в ответе» и «служба быта — дело партийное», требует «безраздельного руководства партии» и «усиления партийного руководства на всех участках экономики и культуры». В другой часто-упоминавшейся в западной печати статье («Государство всего народа», «Правда» от 6-го декабря) говорится, что «усиление руководящей роли коммунистической партии — неотъемлемая черта всей жизни и деятельности общенародного государства». Разумеется, партия «не берет на себя функции непосредственного управления всеми государственными и общественными организациями»; партия, однако, «осуществляет их политическое руководство» и «придает им верное направление». Формулировка, как видим, более чем двусмысленная и сильно напоминающая официальные комментарии по поводу сталинской конституции 1936 года.

Тогда тоже советским гражданам объясняли, что дарованная им «самая демократическая конституция в мире», по существу, должна усилить режим диктатуры пролетариата.

За отмеченной выше разногласицей, скрываются, разумеется, существенные разногласия и разные интересы. Высшее «секретарское» руководство партии, которое и по традиции и по самой своей функции олицетворяет тоталитарное всеохватывающее начало, естественно стремится задушить возродившееся подобие коллективного руководства. Однако, эта «секретарская» группа партийной бюрократии, повидимому, пока недостаточно сильна, чтобы полностью устранить влияние других групп. Режиму приходится поэтому лавировать, дозировать и уравнивать. Так, жесткая речь Брежнева о внешней политике уравнивается умеренными выступлениями Косыгина; «либеральные» мероприятия в пользу приусадебных участков, статьи о необходимости поставить промышленные предприятия на более рациональную основу, символическое уменьшение военного бюджета, заявления о необходимости упорядочения советского права, — уравниваются в свою очередь слишком частым напоминанием о необходимости «крепить оборону страны» и, соответственно, усиливать тяжелую промышленность.

### III

За исключением первых лет после революции, периоды некоторого коллективного руководства совпадали с периодами ослабления напряжения в партии и стране. Наоборот, периоды единоличной диктатуры совпадали с периодами «организованного построения социализма». Советский Союз сейчас нуждается в ослаблении напряжения, в спокойствии, в выздоровлении, в упорядочении, в глубоких мирных реформах. Ни международная обстановка, ни внутреннее состояние страны не благоприятствуют новому напору или прыжку в коммунизм. Нам думается, что интересам страны соответствовало бы действительное коллективное руководство, предполагающее наличие известной независимости суждений у правящих верхов и возможности эти суждения отстаивать (хотя бы в руководящих органах и в специальной печати).

Надо уточнить: это, конечно, не «демократия» в западном смысле, а скорее что-то такое, что существовало при многих недемократических и даже абсолютистских режимах, не исключая и режим царского самодержавия. Почти при всех этих режимах, правящее сословие или его представители пользовались иногда формальным и широким, а иногда фактическим и ограниченным правом высказывать и предлагать отличные от предложений власти, идеи и планы — политические или экономические, а также правом эти идеи и предложения, в известных рамках, проповедывать и защищать.

Во времена Александра I, Сперанский мог в течение долгих лет предлагать и отстаивать реформы, которым противился Аракчеев. В царствования Николая I и Александра II, Погодин, Кошелев, Аксаковы и другие представляли «записки» о реформах, не встречавших одобрения у тогдашних всемогущих сановников. Некоторые из названных лиц даже резко критиковали внешнюю политику царя, и во время Крымской кампании высказывали откровенно пораженческие взгляды. При Николае II граф Витте был поборником одной политики, а Плеве другой. Правда, иногда кое-кого из таких людей за крамольную деятельность отправляли в «почетную» ссылку, чаще всего, в их же поместья. Но ни потерей жизни, свободы или имущества им это не угрожало. В опале они не теряли ни чести, ни достоинства, ибо им не приходилось ни каяться, ни отречься от своих идей. В думский период, уже не только правящие сословия, но и представители широких кругов народа — интеллигенция, буржуазные группы, крестьянство, рабочие — завоевали себе право предлагать и отстаивать свои предложения. Разумеется, иногда эти права и свободы сильно урезывались; но эти жертвы ограничений имели всё-таки возможность легально, полуполюгально или нелегально, в зависимости от обстоятельств, против такого произвола протестовать и бороться.

В Советском Союзе официально нет правящего класса. Фактически, однако, несколько сот тысяч людей руководят всей жизнью страны. Эти руководящие кадры пользуются, в виду выполняемых ими функций, материальными привилегиями. Почти все из них, вероятно, члены партии. Но политически они пассивны и бесправны. В партии уже давно никто ничего не обсуждает и не решает, партию только информируют, ей угро-

жают и приказывают. В партии давно уже нет политической жизни, ибо ее члены, даже руководящие, не обладают тем минимумом свободы и независимости, без которых и самая скромная политическая активность невозможна.

Десятимиллионная масса партийцев не может, в наличных условиях, стать средоточием и очагом борьбы за независимость и свободу, о которой здесь идет речь. Для этого она слишком многочисленна, бюрократизирована и безлична. Практика доказала, что громоздкие массовые организации легко могут быть управляемы хорошо налаженным бюрократическим аппаратом. Центральный Комитет РКП(б) был действительным органом власти, когда он состоял из двадцати одного члена; он стал, в большой степени, декоративным органом, призванным, главным образом, утверждать и одобрять решения более узкого органа, когда он начал насчитывать несколько сот человек. В этом смысле Ленин глубоко ошибался, когда незадолго до своей смерти, предлагал, с целью борьбы против усиливающейся власти политбюро и секретариата, увеличить число членов Цека.

В еще меньшей мере эту борьбу за независимость можно ожидать от «народа», с которым обычно ассоциируется колхозно-совхозная, рабочая масса и сильно разросшиеся и плохо оплачиваемые прослойки низшей бюрократии. Распыленный, атомизированный, лишенный руководителей (ибо наиболее способные и амбициозные выходцы из народа пополняют ряды руководящих слоев бюрократии), «народ», еще в большей степени чем распропагандированная партийная масса, может быть только орудием и жертвой того же манипулятора, т. е. высшего партийного аппарата.

Октроировавшие некоторую свободу и независимость для правящих групп, абсолютистские режимы прошлого способствовали созданию независимого общественного мнения, с которым власти приходилось считаться и даже иногда уступать. Только тоталитарные и идеократические диктатуры двадцатого века создали тот специфический, надклассовый режим, нивелировавший и подчинивший всё и всех — и народ, и верхи, и самих идеократов.

История завоевания свободы в Европе является прежде всего историей борьбы за свободу привилегированных верхов.

Народ добился политической и других свобод лишь после того, как аристократия, церковь, городская буржуазия уже давно этими свободами пользовались. Неужели Советский Союз должен будет теперь начинать этот давно пройденный Европой путь? Неужели страна, в которой почти полвека назад совершилась революция во имя свободы, должна теперь рассматривать ограниченную свободу для **нового** правящего класса, как своего рода прогресс?

Повидимому эта возможность не исключена. СССР, быть может, опередил кое-в-чем Америку в освоении космоса. Но он далеко отброшен назад в области культурной, духовной, политической. На фоне советского опыта оказалось, что и в сфере политической и в сфере других свобод кратчайшего пути не существует. Известное предсказание Герцена о России, которая, в отличие от Запада, придет к свободе **через** социализм, оказалось миражем.

В свете того же советского опыта небезынтересно было бы проследить судьбу некоторых аналогичных предсказаний и идей, которые, будучи вначале основами идеологии народничества, были потом приспособлены и утрированы большевиками. Более чем сто лет тому назад Герцен и Чернышевский обосновали идею «самобытного» русского социализма. Россия, согласно этой концепции, должна была миновать или «перескочить» этап капитализма и на базе общинного строя прыгнуть немедленно в царство социализма. Другим каноном идеологического арсенала народничества была мысль о том, что в политической свободе заинтересованы не народные массы, а только «либералы» и социальные верхи.

Определившиеся формально как противники этих идей, большевики фактически их переняли и претворили в жизнь. Перескочив этап капитализма, большевики строили свой социализм не на базе общины (это было невозможно), а путем форсированной индустриализации и коллективизации, но всё же на примитивной социально-экономической основе. В результате, получился социализм сильно сдобренный «татарским соусом»... До захвата ими власти (или по крайней мере, до приезда Ленина в апреле 1917 года в Россию) большевики объявляли себя сторонниками демократической республики, требовали созыва Учредительного Собрания и предоставления «народу» всех

буржуазных свобод. Только захватив власть, они объявили эти свободы ненужными и недостойными рабоче-крестьянской власти.

Нужен был советский опыт, чтобы эти идеи вновь обрели своеобразную актуальность. Однако, актуализируясь, они как-то перевернулись; защитники и противники этих идей поменялись ролями. Сто лет тому назад в русской жизни признаками прогресса и «служения народу» были радикализм и бескомпромиссность. Сейчас этими признаками становятся умеренность, терпимость, скептицизм и широта взглядов. Нужные стране реформы и упорядочения можно, повидимому, ожидать только от кругов «элиты», и компетентных кругов, и только путем экспериментирования и диалога. Но это едва ли возможно без той независимости и свободы, о которых мы говорили выше.

По некоторым наблюдениям, взятым из современной советской литературы и по разговорам с людьми, посетившими Советский Союз, там нарождается новый тип человека, которого по своим наклонностям, убеждениям, психологическому и эмоциональному складу можно условно назвать «советским либералом». Этот тип человека, вызывавший насмешки и презрение не только в коммунистической литературе, но и в дореволюционных интеллигентских и «освободительных» кругах, может быть, еще будет реабилитирован и восстановлен в своих правах. Мне думается, что именно он — герой, если не нашего, то будущего времени.

*Д. Анин*

## ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СССР С СВОБОДНЫМИ СТРАНАМИ

Когда Хрущев разоблачил преступления Сталина и его «культ личности» на съезде КПСС в 1956 г., партийная программа Ленина явилась якорем спасения для потрясенных коммунистов. Но диктатура без диктатора оказалась краткосрочным мифом. И нынешние претенденты на трон коммунистического диктатора обвиняют Хрущева в «культе личности», восхваляя в то же время его программу, принятую на XXII съезде в октябре 1961 г.

Эта программа отражает то «хвастовство» и «пустозвонство», которые ныне приписывают Хрущеву, и которые, якобы, чужды ленинской партии («Правда», 17 окт. 1964). Вслед за свержением Хрущева ЦК КПСС опубликовал призывы приуроченные к 47-й годовщине Октябрьской революции и возглавленные следующим требованием: «Трудящиеся Советского Союза! Все силы на выполнение программы КПСС!» («Правда», 18 окт. 1964). Эти призывы обращают внимание на весьма своеобразные и серьезные проблемы советской экономики. Так например, ЦК КПСС требует от трудящихся, чтобы они боролись с «безхозяйственностью и расточительством» за «наиболее разумное и экономное использование капитальных вложений». Следуют призывы к борьбе за рентабельность, за снижение себестоимости и повышение качества продукции и т. д. Отсутствует среди 110 «призывов» лишь призыв к борьбе за увеличение заработной платы и за улучшение уровня жизни, обещанные в партийной программе и оставшиеся на бумаге. Настаивая, по обыкновению, на увеличении производительности труда, ЦК КПСС даже не упомянул о заработной плате в этих «призывах».

Падение реальной заработной платы, повышение цен на мясо, масло и другие продукты животноводства, отсрочка обещанно-

го повышения минимальной заработной платы, отсрочка обещанной отмены подоходного налога, сокращение жилищного строительства, — все эти наболевшие для рабочих вопросы исчезли из поля зрения ЦК КПСС в канун 47-ой годовщины. Зато рабочие, раскрыв программу КПСС, могли 7-го ноября 1964 г. прочесть: «**В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы)** Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, *всем будет обеспечен материальный достаток*». (Первый курсив подлинника, второй — наш. Ю. Г.).

Не мало горечи вызовет у рабочих и такое обещание программы: «**В соответствии с ростом доходов населения будет достигнут быстрый подъем общего уровня народного потребления...** В ближайшее время в народном потреблении значительно возрастет доля продуктов животноводства (мяса, жиров, молочных продуктов), фруктов и высокосортных овощей. В достатке будут удовлетворяться потребности всех слоев населения в высококачественных товарах широкого потребления». (Курсив подлинника. Ю. Г.).

Принимая во внимание очереди на хлеб и муку летом 1964 г., сильное сокращение производства мяса, рост цен на продукты животноводства, залежи негодного ширпотреба на складах, острый недостаток даже спецодежды для рабочих и работниц, легко понять, что рабочие должны воспринять обещания программы для ближайшего времени как сплошное издевательство над реальными условиями их существования через 47 лет после октябрьской революции.

Ни Брежнев, ни Косыгин и никто из президиума КПСС не обвинил тогда Хрущева в бахвальстве. Вместе с ним они обещали в Программе «превзойти уровень промышленного производства США в течение ближайших 10 лет». Более того. Программа КПСС довела «хвастовство» до утверждения, что «СССР будет располагать невиданными по своему могуществу производительными силами, превысит технический уровень наиболее развитых стран и займет первое место в мире по производству продукции на душу населения». При этом Программа выражает

уверенность в «решающей победе в экономическом соревновании с капитализмом». Это соревнование было объявлено залогом победы коммунизма в мировом масштабе.

Но с каким капитализмом СССР вступил в экономическое соревнование? Программа КПСС дает на это такой ответ: «Неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй... Современный капитализм крайне обострил проблему рынка... Сотни миллионов людей видят, что капитализм — это строй экономической анархии и периодических кризисов, хронической безработицы и нищеты масс, хищнической растраты производительных сил...» — «США — самая сильная капиталистическая держава — прошли точку своего зенита и вступили в полосу заката».

Возникает вопрос: в какой индустриальной стране авторы программы КПСС наблюдали в октябре 1961 г. разложение экономического строя и экономическую анархию? Что касается утверждения, что США вступили в полосу экономического заката, то в действительности, США с начала 1961 г. переживают экономический подъем продолжающийся 4 года без перерыва, т. е. подъем небывалый в мирное время, в то время как темп экономического роста СССР весьма уменьшился за 1959-1963 гг.

Явно раздраженные возрастающими темпами роста в США и убывающими темпами роста в СССР, даже именитые советские экономисты прибегают к испытанному коммунистическому методу отрицания и искажения фактов. Так например, академик С. Г. Струмилин уведомил советских читателей в 1964 г., что в США аграрный кризис перепроизводства перерастает «платежеспособный спрос населения», и что рост налогового обложения всё более широких кругов трудящихся уменьшает покупательную способность на внутреннем рынке. А «это тормозит рост производства во всех отраслях обслуживающих этот рынок». Сообщая, что рост товарных цен наносит наиболее тяжелые удары тем, кто живут на зарплату, Струмилин подчеркнул, что США, «томясь в клубке нарастающих экономических противоречий, уже осознают свое *бессилие* использовать разумно свои производительные силы» (курсив Струмилина. Ю. Г.)

Увлеченный миражем «бессилия» «бесплатного хозяйства США», Струмилин так описал в 1964 г. успехи «в мировом со-

ревновании» стран социализма с лагерем капитализма. Во-первых, народам социалистического мира «уже не угрожает голод», в то время как «в капиталистическом мире *голодают* 600 миллионов человек», 400 миллионов больны трахомой и 380 миллионов больны малярией. И «таковы только некоторые итоги и плоды того мира эксплуатации и нищеты, который столь бесстыдно именуется *свободным*» (курсив Струмилина. Ю. Г.).

Во-вторых, «в мире социализма — нет ни кризисов, ни безработицы». Но главным достижением экономического соревнования с капитализмом являются «самые высокие темпы экономического роста». И благодаря этим преимуществам коммунизм завоеует бескровно весь мир. И «само время вместе с нами работает на коммунизм».<sup>1</sup>

Это стереотипное коммунистическое бахвальство в 1964 г. обнаружило лишь полное игнорирование почтенным академиком того факта, что нет ни безработицы, ни кризиса в большинстве свободных индустриальных стран, что СССР не является страной с самыми высокими темпами экономического роста, и что СССР единственная индустриальная страна, испытывающая кризис своего экономического строя, хроническую «нищету масс», и действительные симптомы «экономической анархии».

### СССР ОТСТАЕТ В ТЕМПАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Программа КПСС наделила СССР чудодейственной силой Ильи Муромца, который единым махом обгоняет США, и в течение нескольких лет занимает первое место в мире по производству на душу населения. Но оказалось, что «сницца моря не зажгла». Более того, экономическое соревнование СССР и США и в мировом масштабе двигалось как раз в обратном направлении. СССР не догоняет, а отстает в темпах экономического роста не только сельского хозяйства, но и промышленности от таких индустриальных стран, как Западная Германия и Япония.

Согласно семилетнему плану в СССР национальный доход должен был увеличиться на 62-65 процентов в 1965 г. по сравнению с 1958 г. В действительности, однако, прирост националь-

---

<sup>1</sup> Акад. С. Г. Струмилин «Мир капитализма и социализма в цифрах». «Новый Мир». Март. 1964.

ного дохода уменьшился по отношению к предыдущему году с 12 процентов в 1958 г. до 8 процентов в 1959 и 1960 г.г., до 7 процентов в 1961 г., до 6 — в 1962 г. и до 4,6 процента в 1963 г.<sup>2</sup> Это весьма значительное уменьшение годового прироста национального дохода с 12 процентов до 4,6 процента (в сопоставимых ценах) произошло как раз в течение 1958-1963 пятилетия, когда, благодаря «самым высоким темпам экономического роста» СССР полагалось неистово догонять США.

В США темп экономического роста заметно увеличился, благодаря экономическому подъему. Годовой прирост валового общественного продукта в сопоставимых ценах в США возрос с 2,8 процента в 1960 г. до 5 процентов в 1962. Таким образом темп роста валового общественного продукта в США достиг в 1962 и 1963 г.г. того же самого уровня, т. е. 5-ти процентов, до которого упал годовой прирост валового общественного продукта в СССР в 1963 г., согласно советской же статистике.

За девять месяцев 1964 г. рост промышленного производства в США достиг 6,5 процентов, а в СССР он составил 7 процентов по сравнению с соответствующим периодом 1963 г., т. е. самый низкий прирост с 1946 г. Таким образом, благодаря возрастающим темпам экономического роста в США и убывающим темпам роста в СССР оказался почти одинаковый годовой прирост в обеих странах, как раз с тех пор, как программа КПСС возвестила о небывалом экономическом росте в СССР и его победном марше в экономическом соревновании.

В действительности СССР огражден монополией внешней торговли от конкуренции иностранных товаров, т. е. от экономического соревнования. Но в США, как и в других свободных индустриальных странах, экономический рост в большей или меньшей степени зависит от их способности конкурировать с иностранными товарами на внутреннем и внешнем рынках, т. е. от стоимости производства и взаимоотношения цен.

С точки зрения экономического соревнования устойчивость цен, т. е. отсутствие инфляции во время продолжительного экономического подъема, является крупным достижением США. Эту устойчивость цен в США иллюстрирует официальный индекс оптовых цен, который в мае 1964 г., после 40 месяцев экономиче-

---

<sup>2</sup> «Народное Хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 481; «СССР в цифрах в 1963 г.», Москва 1964 г. стр. 171.

ского подъема, несколько не повысился по сравнению с 1958 г. За тот же период индекс стоимости жизни повысился лишь на 7 процентов, а индекс заработной платы — на 20 процентов. Платежеспособный спрос рабочих и служащих увеличился также благодаря значительному снижению подоходного налога в 1964 г.

Экономисты в Западной Европе, где экономический подъем сопровождается инфляционным ростом цен, высоко оценивают экономическую политику американского правительства обеспечивающую экономический подъем без инфляции. Так например, «Экономист» в Лондоне, подчеркивая «блестящий экономический успех США», приписывает его главным образом «революционной экономической политике», в первую очередь, денежной и финансовой политике американского правительства. («Экономист». Август 8, 1964).

В этой связи, интересно отметить, что по заявлению Догласа Диллона, министра финансов США, на собрании предпринимателей в Нью Йорке 17-го сентября 1964 г., экономический подъем в течение 42-х месяцев не был нарушен ростом стоимости производства и цен. Он подчеркнул при этом, что «благодаря быстрым успехам производительности труда, стоимость труда, затраченного на единицу продукции в промышленности не возросла, несмотря на постоянный рост заработной платы» («Нью Йорк Таймз», сент. 18, 1964 г.).

Это иллюстрирует основную предпосылку экономического роста в США и экономического соревнования, а именно, рост заработной платы и устойчивость цен. Эти качественные показатели более важны с точки зрения экономического соревнования с СССР, чем темп экономического роста. И это мы увидим из сравнения роста заработной платы и производительности труда в СССР и в свободных странах.

Темпы экономического роста в Западной Германии и Японии, которые так же сильно пострадали от разрушений второй мировой войны, более показательны с точки зрения экономического соревнования СССР с свободными странами, нежели обычные сравнения в советск. печати с темпами экономического роста США. Ибо США, во-первых, не испытали разрушений во время войны, и, во-вторых, находясь в высшей стадии индустриального развития, не могут расти экономически столь же высокими темпа-

ми как менее промышленно-развитые страны. К тому же, Япония, нуждаясь в сырье, начала свою индустриализацию почти одновременно с Россией.

Даже за 1950-1958 г.г., в период наиболее высоких темпов экономического роста в СССР, эти темпы были превзойдены в Японии, Западной Германии, Израиле и некоторых других странах.<sup>3</sup>

В Японии валовой общественный продукт в 1963 г. был на 8,3 процента выше, чем в 1962 г. в сопоставимых ценах, согласно заявлению Экономического Планового Управления японского правительства от 2-го июля 1964 г. Этот рост превышает вышеупомянутый рост валового общественного продукта в СССР в 1963 г. на 5 процентов. В течение финансового года, кончающегося в марте 1965 г., в Японии экономический прирост достигнет 10 процентов, в сопоставимых ценах, согласно предварительной оценке того же планового управления в Токио.

Япония начала свое плановое хозяйство в 1955 г., приняв первый пятилетний план. В отличие от СССР, национальный доход в Японии возрос исключительно высоким темпом между 1959 и 1961 г.г. В конце 1960 г. в Японии вступил в действие 10-летний план для удвоения национального дохода в 1970 г. Годовой прирост валового общественного продукта, в сопоставимых ценах фактически превышал темпы роста намеченные в японских планах.

Важно отметить, что планирование японского правительства сочетает центрально разработанные планы (не являющиеся «нормативами», как в СССР, а лишь руководящими заданиями) с очень сильной конкуренцией частных предпринимателей. В течение 1956-60 г.г. первого плана, весьма выросла тяжелая и химическая промышленность. Японские промышленные товары весьма успешно конкурировали на мировом рынке. А в течение последних трех лет «расходы потребителей, благодаря наличию предметов длительного потребления, как холодильники, в добавок к высокому качеству одежде, пищевым продуктам, мебели, предметам домашнего обихода и др. возрасли больше, чем национальный доход. В течение первых лет десятилетнего плана рост

---

<sup>3</sup> "Economic Trends in the Soviet Union," Edited by Abram Bergson, Simon Kuznets. Harvard University Press, 1963, page 337.

личного потребления значительно превысил плановое задание благодаря быстрому росту личных доходов».<sup>4</sup>

Этот рост предметов длительного потребления, личных заработков и уровня жизни в Японии, о которых бесправные рабочие в СССР лишь безнадежно мечтают, иллюстрирует результаты экономического роста Японии. Промышленное производство в 1963 г. превысило в Японии уровень 1958 г. на 113 процентов, т. е. оно больше чем удвоилось, в то время как в СССР оно за тот же период увеличилось на 58 процентов.

Все предпосылки, на которые ссылаются программа КПСС, советское правительство и советская печать, включая академика Струмилина, в своих претензиях на успех коммунизма в экономическом соревновании, — налицо в Японии: самые высокие темпы экономического роста, отсутствие безработицы, кризиса, плановое хозяйство плюс свобода стачек, свобода конкуренции, рост реальной заработной платы и уровня жизни. И если б советское правительство рискнуло разрешить ввоз доброкачественных японских предметов потребления, к радости советских потребителей, оно быстро убедилось бы в абсолютной непригодности т. н. коммунизма для экономического соревнования со свободной капиталистической страной в XX веке.

В Западной Германии валовой общественный продукт увеличился в течение первой половины 1964 г. на 8,5 процента, в сопоставимых ценах, по сравнению с соответствующим периодом 1963 г. Как и в других свободных странах, экономический рост в Западной Германии основан преимущественно на росте покупательной способности населения и на подъеме уровня жизни рабочих и служащих. Там заработная плата в начале 1964 г. возросла на 50 процентов, а стоимость жизни на 14 процентов по сравнению с 1958 г.; так что реальная заработная плата увеличилась в Западной Германии на одну треть, больше чем в любой другой промышленной стране в течение этого периода.

В СССР темп роста промышленной продукции уменьшился с 11,4 процента в 1959 г. до 8,5 процента в 1963 г. и до 7 процентов за девять месяцев 1964 г. Снижение годового прироста промышленного производства произошло главным образом за

---

<sup>4</sup> M. Fujioka, "Japan's Plan to Double Income." *Finance and Development*, June 1964, page 29. Washington, D. C.

счет производства предметов потребления. В 1963 г. производство тяжелой промышленности было увеличено на 10 процентов по сравнению с 1962 г., что превысило плановый «норматив», в то время как производство предметов потребления возросло лишь на 5 процентов, меньше планового задания. В виду недостатка швейных машин для домохозяек, ручных часов, велосипедов, холодильников, стиральных машин, семилетний план наметил значительное увеличение их производства. В действительности же было продано населению в 1963 г. меньше швейных машин, меньше часов, меньше велосипедов, меньше фотоаппаратов, чем в 1958 г., несмотря на значительный рост числа занятых рабочих и служащих. Число наручных часов для продажи населению было снижено с 13,2 миллиона в 1958 г. до 9 миллионов в 1963 г. При населении в 226 миллионов, всего лишь 873.000 холодильников для домашних хозяек и 658.000 пылесосов было произведено советской промышленностью в 1963 г.

В СССР в 1963 г. было продано населению на 6 процентов меньше хлопчатобумажных тканей, на 18 процентов меньше швейных машин, на 10 процентов меньше часов, чем в 1962 г., несмотря на увеличение числа рабочих и служащих на 2,2 миллиона за этот год.

Вопреки обещаниям программы КПСС и обещаниям семилетнего плана об улучшении снабжения населения, советское правительство настолько увеличило рост тяжелой промышленности за счет легкой, что производство предметов потребления упало с 31 процента всего промышленного производства в 1953 г. до 25,5 процента в 1963 г.; за тот же период производство тяжелой промышленности было увеличено с 69 процентов в 1953 г. до 74,5 процента всего промышленного производства в 1963 г. Даже в 1940 г., когда СССР готовился к мировой войне, производство предметов потребления составляло 39 процентов, а производство тяжелой промышленности 61 процент всей промышленной продукции. Но в 1963 г. в эру «мирного сосуществования» и «мирного экономического соревнования», производство тяжелой промышленности достигло почти 75 процентов всего промышленного производства, т. е. точно такого же процента как в 1945 г. во время мировой войны! Этот рост производства новейших «чудовищных» орудий массового истребления, продемонстрированных на параде 47-ой годовщины Октября, за счет на-

сущнейших предметов массового потребления, обусловил черный рынок и спекуляцию.

За девять месяцев 1964 г. прирост промышленного производства упал до 7 процентов по сравнению с соответствующим периодом 1963 г. Это снижение опять-таки произошло главным образом за счет легкой и пищевой промышленности, производство которой возросло лишь на 3 процента по сравнению с тем же периодом 1963 г. При этом производство мяса уменьшилось на 20 процентов, производство швейных машин на 3 процента, а производство шерстяных тканей на 1 процент.

Но в 1964 г. недовольство рабочих падением реальной заработной платы, уровнем жизни и сокращением жилищного строительства вызвало и снижение темпа производительности труда. За девять месяцев 1964 г., производительность труда возросла лишь на 4 процента по сравнению с 6 процентами за соответствующий период в 1963 г.

### ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОРЕЗНОВАНИИ

Так как советское правительство из года в год уменьшает относительный рост производства предметов потребления, оно всеми мерами ограничивает покупательную способность рабочих. Подчеркивая необходимость «соответствия между покупательной способностью населения и товарно-материальными ресурсами», — «Социалистический труд» поясняет: — «Чем большую сумму составляют денежные доходы и чем ниже цены и тарифы, тем выше покупательная способность населения. Товарное обеспечение покупательной способности населения зависит от роста выпуска предметов потребления... В случае соответствия роста производительности труда росту реальных доходов трудящихся, возможности накоплений резко уменьшатся». (Л. Кунельский, «Рост производительности труда и заработная плата», «Соц. труд». Май, 1964, стр. 10-11).

Рост производительности труда необходим для «увеличения внутри-промышленных накоплений», т. е. прибыли советского правительства, как монополистического предпринимателя, а низкая заработная плата необходима из-за недостаточного роста производства предметов потребления. Поэтому учебник трудового права для студентов юридических факультетов подчеркива-

ет, что КПСС «исходит из того, что рост производительности труда необходимо должен опережать повышение заработной платы». Поэтому в государственном народно-хозяйственном плане, как и в планах для предприятий, задания по производительности труда и средней заработной плате устанавливаются с таким расчетом, чтобы рост производительности труда опережал рост средней заработной платы. За малейший перерасход фонда заработной платы директор предприятия подвергается штрафу, получая премию за перевыполнение плана посредством выпуска товаров, которых потребители не покупают и которые заполняют склады.

«Когда стоит вопрос о выравнивании, увеличении заработной платы, заявил Хрущев на пленуме ЦК КПСС в декабре 1963 г. — сейчас же ставится другой вопрос — о товарной массе, о количестве товаров. Если фонд заработной платы будет больше, чем масса товаров, возникнут очереди, подскочат цены... Поэтому, чтобы подтянуть, повысить заработную плату надо создать необходимое количество товарных фондов».

Поэтому повышение минимальной заработной платы до 40-45 рублей в месяц для рабочих и служащих было отсрочено до 1965 г. А согласно семилетнему плану их минимальная заработная плата должна была быть повышена до 40-45 рублей в месяц в 1963 г. и до 50-60 рублей в месяц в 1965 г.

В 1964 г. миллионы рабочих и работниц, занятые тяжелым ручным трудом, зарабатывали в СССР меньше 10 рублей в неделю, то-есть, значительно меньше пособия по безработице выдаваемого в США.

Еще в 1930 г. Сталин отменил пособие по безработице и регистрацию безработных дабы принудить их трудиться за нищенскую заработную плату. Насколько рабочие предпочитают безработицу нищенской заработной плате, видно из настойчивых требований введения трудового паспорта в советской печати в 1964 г. для борьбы с «текучестью», «летунами» и «тунеядцами». Одновременная погоня за трудовым паспортом и кибернетикой иллюстрирует любопытную комбинацию «нижегородского с французским» в советской промышленности.

На жалобы рабочих «почему темпы роста производительности труда всегда опережают темпы роста заработной платы», почему увеличивают произвольно нормы выработки, «а оплату

оставляют прежней», почему цены на рынке значительно выше, чем в государственных магазинах, почему отсрочили обещанную отмену подоходного налога, — профессор И. В. Маевский, заместитель директора Института Экономики Академии Наук СССР, ответил, что заработная плата «должна неизбежно отставать от темпов роста производительности труда». И он подчеркнул, что за годы советской власти производительность труда была увеличена в два раза больше, чем заработная плата, потому «что мы очень много вложили средств в индустриализацию страны, создавали очень большой фонд накоплений» («Всё во имя человека для блага человека». Труд. 24 июля 1964 г. Курсив пап Ю. Г.).

Любопытно в этой связи, что В. Старовский, член-корреспондент Академии Наук СССР, отмечает, что производительность труда за 1958-1963 г.г. выросла на 56 процентов в СССР, а в США только на 29 процентов. Но он не только не проводит параллели между ростом заработной платы в СССР и в США за тот же период, но даже не упоминает заработную плату в своей насыщенной статистикой статье «Победные шаги советской экономики» («Вестник статистики», № 4, 1964, стр. 7-12). Зато, касаясь «прибылей в промышленности», В. Старовский победоносно пишет, «что за период с 1957 по 1963 год прибыль промышленных предприятий (без налога с оборота) выросла на 160 процентов (в 2,6 раза) при росте промышленной продукции на 75 процентов. На 100 рублей основных и оборотных фондов в промышленности в 1957 году было получено 10,1 рубля прибыли, а в 1963 году — 14,7 рубля (там же стр. 11). Этот рост прибыли весьма убедительно иллюстрирует вышеупомянутый «очень большой фонд накоплений», благодаря увеличению производительности труда больше чем вдвое по сравнению с ростом заработной платы, при минимальной заработной плате в 27-35 рублей в месяц в 1964 г.

Какой частный капиталист в свободной стране может сейчас даже мечтать о такой «прибавочной стоимости», о такой хищнической эксплуатации рабочих? СССР первая и единственная индустриальная страна в мире, которая не печатает статистики заработной платы и стоимости жизни дабы не обнаружить степень этой эксплуатации рабочей силы.

В США рост средней заработной платы заметно превышает

рост средней производительности труда с 1951 по 1960 год. А с 1961 по 1963 год рост средней заработной платы соответствовал росту производительности труда. Ссылаясь на эти данные официальной статистики, президент США в своем экономическом отчете, представленном конгрессу в январе 1964 г., рекомендовал для руководства профессиональным союзам и предпринимателям такое повышение заработной платы, которое соответствует росту производительности труда в национальном масштабе, дабы предотвратить рост цен и инфляцию. При этом в своем отчете президент указал на то, что благодаря традиции сильной внутренней конкуренции, американские продукты успешно конкурируют на мировом рынке, несмотря на самый высокий уровень заработной платы. Рост заработной платы в США побуждает предпринимателей, конкурирующих меж собой в погоне за покупателями, добиваться улучшения качества и удешевления производства посредством улучшения организации труда, руководства предприятиями и дальнейшей механизации труда. Этим объясняется, почему США, занимающие первое место в мире по уровню заработной платы, в то же время занимают первое место и по уровню производительности труда.

Благодаря длительному экономическому подъему в свободных индустриальных странах, которые регистрируют безработных, действительно нет безработных и ощущается недостаток рабочих, особенно в Японии. Германия и Франция ввозят иностранных рабочих. Нет безработицы в Голландии, Швейцарии, Швеции. В то время как в СССР, несмотря на недостаток рабочих, правительство отсрочило повышение даже минимальной заработной платы. Независимые профсоюзы добились в Зап. Европе и Японии роста заработной платы, превышающего рост производительности труда. Так, например, во Франции заработная плата возросла в 1963 г. на 9 процентов, а производительность труда — на 4 процента. В Западной Германии заработная плата была увеличена в 1962 г. на 11 процентов, а производительность труда — на 3 процента. В Голландии заработная плата увеличилась на 9 процентов, а производительность труда на 3 процента. В 1963 г. в Италии заработная плата была увеличена на 21 процент, а производительность труда на 4 процента. В Японии заработная плата за тот же 1963 г. возросла на 10 процентов, а производительность труда — на 6 процентов.

За 1961-1963 г.г. рост заработной платы превышал рост производительности во Франции, Англии, Голландии, Швеции и Японии; в Западной Германии рост заработной платы превышал рост производительности труда в 1961 и 1962 г., а в Италии — в 1962 и 1963 г.г.<sup>5</sup>

*Вследствие уничтожения безработицы* и недостатка рабочих в Западной Европе, предприниматели переманивают рабочих у конкурентов, повышая заработную плату *сверх ставок коллективных договоров*, заключенных с профсоюзами. Это небывалое повышение заработной платы по инициативе предпринимателей, т. н. «текучесть» заработной платы иллюстрирует небывалый рост реальной заработной платы и уровня жизни на американский лад в Западной Европе и Японии.

А «текучесть рабочих» в СССР иллюстрирует их нищенскую номинальную заработную плату, падение реальной заработной платы и их жалкий уровень жизни. Неудивительно, поэтому, что рабочие в СССР, по сообщениям фабричных агитаторов, заявляют подчас, что им надоели неустанные требования об увеличении производительности труда, и что их больше интересует, как живут рабочие в других странах. Удовлетворяя спрос на эту информацию «Правда», например, сообщила, что капиталистическое общество «не в состоянии обеспечить сколько-нибудь сносные условия существования большинству людей». Более того, «капитализм, говоря языком «манифеста коммунистической партии», не способен обеспечить своим рабам даже рабского уровня существования». (В. И. Степанов. «Социалистическая революция и народное благосостояние», «Правда», 27 июля 1964).

В доказательство «ухудшающегося» положения рабочих в странах капитализма советская печать ссылается на «подъем забастовочного движения». Так, например, академик Струмилин подчеркивает в вышеупомянутой статье, что в странах капитализма число бастующих рабочих возросло с 53 миллионов рабочих в 1961 г. до 60 миллионов в 1962 г. Не касаясь точности этих цифр, легко себе представить, какое впечатление они производят на рабочих в СССР, помнящих расправу с забастовщиками в Новочеркаске летом 1962 г. или попытки портовых рабочих в Одессе бастовать.

<sup>5</sup> «World Economic Survey», 1963, Part II, United Nations, New York, 1964.

В 1964 г., когда рабочие в свободных странах добились изумительного роста заработной платы, уровня жизни и небывалого улучшения своего социального положения, всем должно бы быть ясно, что Октябрьская революция и ее «азиатский социализм» отбросили рабочих в СССР назад, к временам «первоначального накопления» и хищнической эксплуатации рабочих, к временам, существовавшим до завоевания права стачек рабочими в Западной Европе.

### СССР В ПОГОНЕ ЗА КРЕДИТАМИ И МЕТОДАМИ КАПИТАЛИСТОВ

Благодаря дешевому труду в СССР и утверждениям ЦСУ, что СССР по уровню производительности труда обогнал главные капиталистические страны Европы, было бы неудивительно, если б СССР наводнил мировой рынок дешевыми промышленными изделиями. Это иллюстрировало бы экономическое соревнование с капиталистическими странами, где заработная плата составляет наибольшую часть стоимости производства. В действительности же, военная экономика СССР не производит товары для экспорта в Западные страны, и СССР должен был платить золотом за ввоз пшеницы в 1963 г. А летом 1964 г. представители СССР начали обивать пороги в столицах Англии, Франции, Японии, Западной Германии и в других свободных странах, добиваясь долгосрочных кредитов на 15 лет для ввоза в СССР оборудованных фабрик и заводов (включая опытных технологов) для использования технического прогресса капиталистических стран. Коммерческие кредиты в Западных странах обычно предоставляются не больше чем на пять лет. Долгосрочные кредиты на 15 лет получают лишь промышленно-неразвитые страны, как «помощь» для их промышленного развития. Американское правительство усмотрело такую «помощь», когда Англия дала 15-летний кредит СССР, гарантированный английским правительством для экспорта английских фабрик в СССР летом 1964 г. В то же время Микоян добился в Токио кредита на 8 лет для экспорта японского завода в СССР.

Почему же СССР, вторая индустриальная держава, добивается долгосрочных кредитов, так же как это получают промышленно-неразвитые страны? Ответ на этот вопрос дал еще Хрущев в беседе с парламентской делегацией Японии 15 сентября 1964

года. Он заявил: — «Я бы сказал вам следующее: короткий срок кредита дает нам меньше возможности для заказов, *потому что сейчас мы просто не могли бы оплатить их.* Предоставьте более длительный срок для оплаты — заказов будет больше. Вот Англия пошла на 15-летний кредит, и мы сделали Англии значительно бóльшие заказы, чем вам... Предоставьте нам кредит на бóльший срок, — мы вам завтра, может быть, закажем 10-15-20 заводов. У нас аппетит хороший. А у вас хорошие производственные возможности». («Правда», 20 сентября 1964 г. Курсив наш. Ю. Г.).

СССР не может «оплатить» импорт комплектно-оборудованных заводов, т. е. не имеет промышленного экспорта для оплаты импорта потому, что советская промышленность, работает главным образом для усиления «военной мощи» и для вооружения своих «колоний», вроде Кубы.

В отличие от экономического роста в СССР, при котором не хватает товаров ни для внутреннего ни для внешнего рынка, экономический подъем в свободных странах вызывает усиленную конкуренцию в погоне за покупателями на всех рынках. И советское правительство старается использовать эту конкуренцию в своих интересах.

По торговому соглашению между СССР и Францией, заключенному 30 октября 1964 г., — товарооборот этих стран возрастет на 70 процентов по сравнению с истекшим пятилетием. При этом объем импорта машин и оборудования в СССР более чем в два раза превысит объем импорта в истекшем пятилетии. Для ускорения создания химической промышленности, которая особенно отстала в СССР, «Советский Союз будет импортировать из Франции на условиях долгосрочного кредита комплектное оборудование по производству минеральных удобрений, ядохимикатов, а так же оборудование для легкой и других отраслей промышленности». А в советском экспорте во Францию преобладает «нефть и нефтепродукты, антрацит, различные руды, пиломатериалы, пушнина, крабы». («Правда» 31 октября 1964). Этот импорт в СССР и экспорт из СССР не типичны для промышленно-развитой страны, особенно, принимая во внимание долгосрочные кредиты. Несмотря на недостаток предметов необходимости, СССР импортирует заводы и оборудование и почти не импорти-

рует предметы потребления, которые занимают важное место в импорте промышленно-развитых стран, как и в их производстве.

СССР весьма отстал, например, в производстве вычислительных машин и весьма заинтересован в долгосрочных кредитах в США для импорта этих машин и комплектного оборудования. Но правительство США, как и видные промышленники, возражали против долгосрочных кредитов, гарантированных английским правительством на том основании, что они являются прямой помощью советскому правительству, которое не производит продукты для экспорта, чтобы оплатить свой импорт. В то же время советское правительство тратит ежегодно сотни миллионов иностранной валюты для «подрывной» работы в свободных странах и несчетные миллиарды для производства и экспорта вооружения с целью поощрения «освободительных» войн во всех концах света. СССР действительно занимает первое место в мире как небывало могущественный «торговец смертью».

Но почему советское правительство сейчас так настойчиво добивается импорта фабрик, заводов, комплектного оборудования из всех свободных индустриальных стран? Это объясняется тем, что в 1964 г. вполне обнаружилось бессилие СССР разумно использовать свои производительные силы. Годами не обращая внимания на «внеплановое возвращение» недоброкачественных продуктов населением, советское правительство всполошилось, когда накопилось негодное оборудование на предприятиях, когда появилась «автоматика... на курьих ножках» с серьезными «недоделками в конструкции автоматической линии» («Труд» 30 сентября, 11 ноября 1964). О. Волков, начальник технико-экономического бюро московского автозавода сообщает следующие детали об отсутствии «эффективных экономических рычагов» для производства даже на первоклассных заводах: «Сейчас народное хозяйство вынуждено получать от нас *машины устаревшей конструкции и терпит из-за этого ущерб... Ухудшилось качество машин, возросло число рекламаций...* Действительного контроля за экономической эффективностью капитальных затрат нет. В результате за последние годы на нашем и на Горьковском автозаводах внедрены такие станки и автоматические линии, которые не только не дают никакого экономического эффекта, а приносят убытки. Эти факты известны, но внедрение убыточной техники продолжается... Причина? Забвение экономических расче-

тов, отсутствие эффективных экономических рычагов, которые могли бы всестороннему совершенствованию производства. Завод поставлен в такие условия, что ему важно в первую очередь «освоить», т. е. истратить выделенные на развитие производства деньги... поэтому то и случается, что деньги «осваиваются», *тратятся неразумно, без пользы для народного хозяйства...* Известно, что в капиталистическом обществе ассортимент, качество и количество выпускаемой продукции *контролируется рынком*. А нельзя ли этот инструмент использовать в нашем социалистическом хозяйстве?» (О. Волков, «Правда», 23 августа, 1964).

Это реалистическое описание запланированной бесхозяйственности и монополистического загнивания иллюстрирует, что тоталитарная индустриализация является весьма успешным методом народного разорения.

Всё чаще поиски капиталистических методов «экономической эффективности» выражены в описаниях хищнического использования капиталовложений и хаоса, созданного централизованным планированием коммунистической бюрократии.

«Пришло время, — пишет академик В. Трапезников, — оставить изжившие себя формы руководства хозяйством, основанные на директивных нормативах, и перейти к более простому, дешевому и эффективному экономическому регулированию деятельности предприятий. Это регулирование должно быть таким, чтобы *коллективам предприятий было экономически выгодно строить свою работу в направлении, выгодном и для народного хозяйства...* Ведь даже в капиталистических странах экономическое воздействие используется успешно». В. Трапезников при этом ссылается на мероприятия бюро стандартов в США и на то, что «руководящие органы США понимают необходимость быстрого развития науки», что способствовало «техническому прогрессу». В СССР, — говорит В. Трапезников, — «народное хозяйство» заинтересовано в освоении новых видов продукции, а производящая организация не заинтересована». Поэтому *«нужно, чтобы экономические интересы предприятия совпадали с экономическими интересами народного хозяйства»*. (Академик В. Трапезников «За гибкое экономическое управление предприятиями», «Правда» 17 августа 1964 г. курсивы подлинника).

Начальники предприятий, выразившие свое согласие с предложениями Трапезникова, в свою очередь, подчеркнули глу-

бокий разлад между интересами народного хозяйства и руководителей предприятий, вынужденных выполнять планы, разоряя страну. Между талантливыми, энергичными руководителями предприятий, жаждущими свободы творческой инициативы, «экономической эффективности», как «в зарубежных странах» и коммунистической бюрократией опасющейся экономических реформ, сейчас происходит весьма неравная борьба. КПСС пользуется промышленной монополией для увековечения коммунистической диктатуры, как она пользуется монополией внешней торговли для распространения советского империализма.

Советское правительство может с помощью долгосрочных кредитов, гарантированных демократическими правительствами, импортировать новейшие заводы из свободных стран, но не «экономическую эффективность», являющуюся продуктом свободной конкуренции, свободы стачек и наличия гражданских прав.

Чем глубже и разорительнее монополистическое загнивание советской промышленности, тем больше усиливается опасность советских авантур во имя «освободительных» войн для отвлечения недовольства населения в СССР, и для конкуренции с военно-революционными авантюрами Китая.

*Ю. Гриффельд*

## МОСКОВСКИЕ СУДЫ В НАШИ ДНИ

Передо мной книга Георга Фейфера,\* молодого американского юриста, глубоко заинтересованного в советском праве, в особенности в судебной практике. Автор кончил Харвардский университет, Магна-кум лауде; там он общался с проф. Берманом, который в то время был как бы «осиян» советским правом; Берман называл его отеческим — с государством в роли всеобщего отца. Затем Фейфер занимался в Русском Институте Колумбийского университета. В 1959 году он впервые побывал в СССР в качестве гида на американской выставке. В 60-м и 61-м годах, он провел лето в Мидльберийском Институте Советоведения, где среди прочих курсов слушал и мой курс о государственном строе СССР. Наконец, в 62 году, он был послан в СССР в порядке культурного обмена. Там он был зачислен на юридический факультет и в течение года должен был работать по плану, предназначенному для аспирантов. Но довольно скоро Фейфер пришел к убеждению, что изучение советских теорий не приблизит его к пониманию того, чем является советская законность на практике. Ему было предоставлено право посещать заседания народных судов города Москвы; однажды, ему удалось попасть на заседание народного суда в деревне, недалеко от Москвы. А на заседания московского городского суда, который разбирает наиболее важные дела, и в порядке апелляции пересматривает решения московских народных судов он просто ходил, ибо по закону эти заседания публичны. Советское законодательство называет этот пересмотр — кассацией, но по существу он гораздо ближе к апелляции в смысле европейского, и нашего дореволюционного судебного права, а также и американского права.

По словам автора, свое решение сосредоточиться на изу-

\* George Feifer. Justice in Moscow. Simon and Schuster. New York. 1964. Pp. 383. \$4.95.

чении практики, а не теорий, он принял по аналогии: подобно тому, как качество кулинарного рецепта лучше познается по блюдам, изготовленным при его помощи, нежели по изучению кулинарных книг; так и судебные заседания в большом числе дают наилучшее понимание судебной практики. На судебных заседаниях Фейфер делал записи; это обстоятельство неоднократно приводило его к неприятным пререканиям с судебным персоналом, а отчасти и с публикой. Однако, он уже вполне владел русским языком, что помогло ему выбираться из затруднений.

В результате — книга лежащая передо мной. Тогда как в большинстве трудов по советскому праву судебные дела представлены на юридической основе, в книге Фейфера они показываются в окружающей их общественной обстановке, что позволяет делать выводы не только о советском суде, но также и о советском обществе, в котором рождаются и развиваются эти дела. Эта обстановка передана живо и с комментариями к ней автора, что позволяет судить об изменении в его взглядах. С его взглядами до поездки 62 года, я знаком по многим беседам с автором в Мидльбери. Тогда он надеялся найти в социалистической законности какой-то выход из того тупика, в котором, по его мнению, находится англо-американское правосудие. Но в книге Фейфера многие черты советского права показываются как отражение того факта, что советское право, как и русское дореволюционное, по своему типу — общеевропейское в отличие от англо-американского. Это право является, в основном, просто другим путем к нахождению справедливого решения. Пишущий эти строки придерживается, и всегда придерживался, такого взгляда на сущность различия между двумя основными ветвями современного права в странах западной культуры, со включением русской ее разновидности.

Книга Фейфера, как уже было сказано, состоит преимущественно из записей дел, протекших в его присутствии. Эти дела слушались, главным образом, в народных судах; отчеты о них поражают своим однообразием. Главное действующее лицо — народный судья; народные заседатели, как и в других странах, где они становятся участниками судебных решений, в общем остаются пассивными. Судья имеет перед ними огромные преимущества: в настоящее время это почти всегда человек с

юридическим образованием, что было редко в более ранние годы коммунистического режима; к тому же он имеет в своем распоряжении данные предварительного производства — полицейского дознания и предварительного следствия, проведенного судебным следователем, который, по закону о судоустройстве, пользуется независимостью, но на деле вполне зависит от прокурора. Фейфер не нашел следов непосредственного вмешательства партийных органов в конкретные дела, но справедливо говорит, что в общем толковании законов и прецедентов директивы коммунистической партии явно проступают.

В связи с этим, народный судья не только допрашивает подсудимого, сознавшего в предъявленном ему обвинении, но и отрицающего свою вину; в отличие от нашей дореволюционной практики, он принимает участие в уличении подсудимого по данным предварительного производства. Оправдание подсудимого имеет место только изредка. Привлечение к народному суду почти всегда равносильно осуждению. При таких условиях роль обвинителя (прокурора или общественного обвинителя) весьма упрощается, а роль защитника, который обязательно должен присутствовать, если в деле участвует и прокурор, сводится к старанию доказать наличие смягчающих или, по крайней мере, в отсутствие отягчающих вину, обстоятельств. Поэтому, советский уголовный процесс, по данным Фейфера, нельзя называть состязательным, каким был наш дореволюционный процесс в подлинном смысле этого слова. Он является чисто обвинительным процессом, ведущим к уличению подсудимого всеми силами и средствами.

По примеру всех западно-европейских законодательств, но в отличие от англо-американского права, судоговоренье в значительной мере состоит в выяснении личности подсудимого; в связи с этим круг доказательств неограничен; справки о предварительных осуждениях подсудимого, которые конечно допускались и до революции, характеристики, даваемые ему товарищами по работе, часто противоречащие друг другу, обшая его репутация, всё это преподносится суду в качестве материала для приговора; но повидимому всё это редко влияет на исход дела, и принимается во внимание только при наложении наказания в определенном размере. Суровость советского процесса прямо поразительна: за ничтожные, в сущности, про-

ступки, дается два, три года работы в исправительных колониях, а то и больше; ныне лейтмотивом в советской карательной системе является общее устрашение. Ни сознание подсудимого, ни его, возможно, неискреннее раскаяние, ни мольбы жен, плачущих о той нищете, в которую они с детьми по необходимости впадут на время исполнения приговора, действия почти не оказывают. Советская карательная система явно построена на теории общего устрашения возможных преступников по старинному рецепту — «чтобы другим не повадно было совершать подобные преступления».

Бросается в глаза роль водки в советской преступности, по крайней мере среди рабочего люда советской столицы — понятно, что наблюдения Фейфера относятся только к этой категории преступлений, кроме пожалуй расхищения казенного имущества, о котором придется поговорить особо. Приведем следующие случаи: какой-то советский гражданин после вечеринки, на которой было немало выпито, взял чьи-то галоши и засунул их в свою верхнюю одежду; галоши в таком необычном месте были кем-то замечены при выходе и преступник был схвачен, арестован и предан суду. Подсудимый не отрицал своего поступка, но ссылаясь на сильное опьянение, подтвержденное рядом свидетелей, при полном отсутствии противоположных показаний. Да и в показаниях нужды не было: иначе, как в пьяном виде, никто не совершил бы такого проступка, и не выставил бы на показ любому встречному только что захваченный им предмет. Приговор — год в исправительном лагере. Вообще борьба с пьянством ведется очевидно преимущественно через уголовные суды, которые карают не за опьянение, а за поступки, совершенные в пьяном виде. Поступают так не только народные суды города Москвы, но и городской суд. Таково по существу, и единственное дело об убийстве, на котором присутствовал Фейфер: муж убил любимую жену, и согласно показаниям свидетелей убил без какой-либо мотивировки, но в состоянии сильного опьянения. Приговор — смертная казнь! По истине для советской России справедливы слова Льва Толстого: «от нее (водки) все качества».

Конечно, общее суждение о роли водки не покрывает преступлений по расхищению государственного имущества служащими государства, коим эти имущества вверяются. В этом

проступает и другая сторона советской государственности. Внутри планового хозяйства, недобросовестные чиновники обирают предприятия, которые приносят всем участникам известные доходы, довольно крупные для старших чиновников и крохотные для мелкой сошки. А те, которые отвергают участие в этом незаконном предприятии, при первом же удобном случае, увольняются. Кое-кто из старших начальников в дополнение к денежным доходам, «пользуется клубничкой», то есть приглянувшимися им женщинами. Страшные нравы! Они свидетельствуют о том, что и в помине нет всеобщего стремления к построению коммунистического общества, о котором твердили и твердят партийные вожди.

В книге Фейфера есть глава, посвященная попытке Хрущева предварить в судеговорении переход к коммунизму, который сейчас будто бы является конечной целью всех усилий. Это должно привести к растворению государства в обществе. Прямо к этой цели подводит привлечение к отправлению правосудия «общественности», термин который Фейфер довольно удачно переводит, как «всё публичное, но не государственное». Он только напрасно думает, что самое понятие общественности выработано большевиками. В дореволюционную эпоху широко распространено было противопоставление государства и общества, восходящее к Гегелю и Лоренцу Штейну.

Наблюдения Фейфера о роли советской общественности в московском правосудии покрывают общественных обвинителей, которые по закону, но не в действительности, пользуются даже большими правами, нежели государственные обвинители, то-есть прокуроры, затем «выездные сессии» народных судов на место преступления, например на какой-нибудь завод, и товарищеские суды. На выездные сессии собиралось до тысячи человек, которые иногда делились на партии — за и против обвинения, за или против предлагаемого прокурором наказания. Это протекало в самом сумбурном порядке; но судьи не смущались и доводили свое дело до конца без особого внимания к выкрикам «общественности».

Автор совершенно правильно утверждает, что предоставление общественности прямого участия в правосудии противоречит основной тенденции хрущевских реформ в уголовном праве (1958 г.) — установлению законности. Это было отмечено

несколькими комментаторами к реформам, в том числе, и пишущим эти строки; но многие американские эксперты этого противоречия не заметили.

По сообщениям Фейфера о делах, проведенных с участием общественности, видно, что введение общественности в судебное разбирательство мало повлияло на структуру и на тенденцию уголовного процесса. Но не сыграло ли введение общественности в судебную практику какой-либо политической роли, в смысле укрепления доверия советских людей к коммунистической партии (если такое доверие существует в действительности, а не только на бумаге)? Об этом, по книге Фейфера судить нельзя.

Фейфер затрагивает и гражданское правосудие, но довольно мало, ибо, как он говорит, существенные конфликты изъяты из ведения народных и областных судов и разрешаются так называемым государственным арбитражем — просто потому, что споры касаются интересов одного юридического лица — государства. Процедура эта стоит вне схемы правосудия. Случаи, рассказанные в книге, касаются ответственности за пропажу имущества, сданного на хранение; об обязанности железной дороги платить пенсию женщине, потерявшей сына в несчастном случае (в иске было отказано); об ответственности железной дороги выплатить бонус инженеру, им явно заслуженный потому что пять лет назад эта железная дорога была лишена права выплачивать бонусы до покрытия перерасхода, тогда обнаруженного; иска разведенной женщины к мужу — об алиментах (размер: 15 рублей в месяц!); это дело озаменовалось потасовкой среди присутствующей публики. Автор был поражен множеством случаев супружеской неверности, выявившихся на суде.

Более подробно рассказывает автор о нескольких бракоразводных делах. Они довольно однообразны: муж несколько раз заявляет, что больше не любит жену, иногда признается, что он ей изменяет; то же самое исходит подчас от жены. Решение народных судов по этим делам до недавнего времени требовало утверждения со стороны суда второй инстанции — городского или областного. Делаются трафаретные попытки примирить супругов — но суды легко примиряются с неуспехом. Отход от сталинских позиций 1944 года, вызвавших одобрение ватиканской газеты «Оссерваторе Романо», очень явен.

В заключение скажу, что книга заслуживает внимательного чтения, хотя и не легко читается. Сплошная серость объектов наблюдения — как судебной процедуры так и быта, в ней отраженного — угнетает и утомляет. Надо помнить, что книга правильно озаглавлена «Правосудие в Москве», а не в СССР. Остается возможность, что вне пятимиллионного промышленного города жизнь живее и разнообразнее, а правосудие менее напоминает какой-то механизм. К сожалению, оснований для таких предположений нет. В одном сомнений нет и быть не может: правосудие, отразившееся в книге Фейфера, много дальше от идеала суда скорого, правого и милостивого, который был дан России ровно 100 лет тому назад, по судебным уставам императора Александра II-го, где триада этих идеалов служила как бы лейтмотивом. Правда, скорость суда, достигнутая в 1864-м году, сравнительно с дореформенной Россией, осталась пожалуй прежней. Данных об особой судебной волоките в книге Фейфера не много. Но рутинность нынешнего судопроизводства просто устраняет возможность его праведности, а подчеркнутая выше тенденция московского правосудия к обвинению во что бы то ни стало и суровость приговоров заставляют считать советский суд не милостивым. В общем, в современном советском правосудии, как в зеркале, отражается характерный для пореволюционной России культурный регресс во всех сферах, кроме техники и служащих ей основных физико-математических наук. Да не забудет Россия великие судебные реформы 1864 года!

*Н. С. Тимашев*

# СУДЕБНАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II

(1864-1964)

В 1855 году Николая I сменил на престоле его сын Александр II, самый большой преобразователь на Руси после Петра Великого, названный народом по полному праву Царем-Освободителем, и не только потому, что он раскрепостил крестьян, но и потому, что снял цепи старого суда с русского народа.

20-го ноября 1864 г. был опубликован указ царя Правительствующему Сенату, в котором было сказано: — «По вступлении на прародительский престол, одним из первых наших желаний, всенародно возвешенных в манифесте 19-го марта 1856, было: «правда и милость да царствуют в судах». ...Рассмотрев сии проекты (Судебных Уставов), мы находим, что они вполне соответствуют желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого от высшего до низшего».

Об этом указе известный знаток Судебных Уставов Г. А. Джаншиев писал, что его слова должны бы были заучиваться молодежью наизусть, как запоминались «кармина» XII-ти таблиц в древнем Риме.

И вот произошло настоящее чудо в жизни русского народа. Как по мановению волшебного жезла рухнул старый суд со всеми его неправдами, исчезли, как бы провалились сквозь землю, все Ляпкины-Тяпкины, и место их заняли честные, порядочные люди с высшим юридическим образованием. Следует подчеркнуть, что за всё время существования пореформенного суда не было ни одного случая обвинения судьи в подкупе, не было ни одного скандального процесса, нередко случавшегося в других странах.

Как же это было возможно? Этот вопрос поставил и дал на него ответ И. С. Аксаков. «Спрашивается, — пишет он, — почему же существовавшее зло старого суда — многовековое взяточничество, от которого правительству никакими мерами и никакими уголовными карами не удавалось избавить страну, — с введением нового суда вдруг прекратилось, да разом, словно ножом обрезало?!.. Ведь тут даже постепенности не происходило. Сегодня — «равнодушие», «невежество» и самое бесстыжее взяточничество, вызвавшее негодующий стих поэта, что Россия «в судах черна неправдой черной», — на другой день, не далее, как на другой же день, глядь! ни равнодушия, ни невежества, — «черную неправду» смыло так, что не только новые поколения и не подозревают ее былого, хотя и очень недавнего, существования, но, как видится, и старые поколения о ней забыли. Чем же это объяснить?» И Аксаков дает следующий ответ: «Очевидно, что причину такой внезапной, необычайной, как бы чародейственной перемены нужно искать в самих формах нового суда, в его всенородности, в гласности, в допущении судебного следствия, в учреждении присяжных заседателей».

Думается, что была к тому и другая важная причина. Великие реформы Александра II — крестьянская, земская и судебная — впервые в русской истории открыли путь к общественной деятельности, и русская интеллигенция устремила по этому пути как на подвиг. Это общественное служение замечательно определено А. Ф. Кони, одним из самых выдающихся русских судебных деятелей, прослужившим в судебном ведомстве с 1864 по 1917 годы: «Это была деятельность... как призвание, как первая любовь. Такая любовь существует не только в личной жизни человека, но и в его общественной жизни. В обоих случаях она первая входит в его сердце и последней покидает его сознание».

Как же были осуществлены данные в манифесте обещания? К сожалению, в рамках настоящей статьи невозможно дать полный обзор судебной реформы. Приходится остановиться только на основных началах и институтах, явившихся полным новшеством для отправления правосудия в России, то есть, на институте присяжных заседателей, мировых судей и присяжной адвокатуры.

## ОСНОВЫ РЕФОРМЫ

*1. Разделение властей*

Отцом этого принципа считается Монтескье, хотя американские колонии применяли его до опубликования «О Духе Законов». Известно, что Монтескье считал, что не может быть свободы в той стране, где законодательная и исполнительная власть соединены в руках одних и тех же лиц. Равным образом нет свободы и там, где судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной. Этот принцип соблюдается во всех демократических странах и, разумеется, отвергается в Советском Союзе и других тоталитарных государствах, где свободы не существует. Этот принцип не соблюдался и в России с древнейших времен и до 1864 года. В Киевской Руси князь управлял правосудие. Когда в тринадцатом и четырнадцатом веках центр государства был перенесен на север, и русское государство собиралось вокруг Владимира и Москвы, князя, возглавлявшие свои вотчины, сосредотачивали в своих руках административную, законодательную и судебную власть. Их бояре, наместники, тиуны и волостели управляли и судили от их имени.

В московском государстве высший суд творила Боярская дума, исполнявшая законодательные функции. В провинции не только наместники, но и выборные должностные лица, как-то земские и губные старосты, целовальники и т. д., совмещали административную деятельность с судебной.

При Петре I была сделана попытка отделить судебную власть от административной в судебной реформе 1719 года, дополненной в 1722 году. Но и после этой реформы воевода принимал участие в отправлении правосудия, и заново учрежденный сенат кроме судебных, имел также и административные функции.

Екатерина II, несмотря на свое увлечение идеями Монтескье (половина «Наказа» была списана у него), их в жизнь не провела. Учреждение о губерниях 1775 года установило особые суды для каждого сословия. Каждый губернатор считался «хозяином» своей губернии и имел право вмешиваться в отправление правосудия, наблюдение за которым входило в его

обязанность. Приговоры по уголовным делам представлялись на его утверждение.

В введении к проекту Уложения 1809 года, представленному на одобрение Александру I, Сперанский писал, что общая цель предполагаемой реформы — установить правительство бывшее до сих пор автократическим, на законности; но невозможно основывать правительство на законности, если та же верховная власть издает законы и их выполняет.

Александр I эти начала не утвердил. Безуспешна была также попытка Сперанского провести свой проект через Тайный комитет в 1826 г. при Николае I. Изданный при нем **Наказ 1837** года оставил губернаторам те же права, какие они имели по закону 1775 г.

При Александре II принцип отделения судебной власти был провозглашен в ст. 1 Основных положений Учреждения судебных установлений и воплощен в ст. 1 этого учреждения, где исчерпывающе перечисляются все учреждения, обладающие судебной властью. «Судебная власть отделяется от исполнительной, административной и законодательной власти», — гласит ст. 1 Основных принципов судебных уставов.

Независимость суда от администрации была выражена в несменяемости судей. Судьи назначались пожизненно и не могли быть переведены на другую должность без их согласия. Для увольнения судьи против его желания требовалось постановление уголовного суда. Кроме того, кандидаты на открывавшиеся судебные должности выбирались общими собраниями судей тех судебных мест, где вакансия открывалась. Утверждались кандидаты министром юстиции или государем, смотря по должности.

Как глубоко вкоренилась в сознание дореформенная зависимость судебной власти от исполнительной, показывает следующий эпизод. Александр II, вскоре после реформы, недовольный речью, произнесенной одним сенатором, приказал министру юстиции Замятину уволить этого сенатора. Во исполнение монаршей воли, Замятин распорядился заготовить соответствующий указ, но чиновники его канцелярии обратили его внимание на то, что по новому закону судьи несменяемы. На долю министра выпала неблагоприятная задача — доложить своему государю, что его воля не может быть исполнена. Выслушав доклад

Замятин, царь воскликнул: «Неужели я подписал такую ерунду».<sup>1</sup> Инцидент знаменательный. Первый раз за существование русского государства воля самодержца столкнулась с велением закона, и закон восторжествовал.

### *2. Гласность и устность процесса*

Под гласностью или публичностью процесса понимается возможность присутствия публики на процессе. Нужно различать публичность предварительного следствия и публичность судебных заседаний.

Публичность предварительного следствия существует в англо-саксонских странах и неизвестна ни одному европейскому законодательству, включая царскую Россию. Судебная реформа широко открыла двери суда для публики, но на предварительном следствии привлеченный к нему мог присутствовать при допросе свидетелей только с разрешения судебного следователя. Защитники вовсе не допускались.

В заседаниях же уголовного суда публика не допускалась только тогда, когда слушались дела: 1) о богохульстве, оскорблении святыни и религии, 2) преступления против правительства, 3) преступления против женской чести и 4) дела о безнравственном поведении, половых извращениях и сводничестве.

### *3. Устность и состязательность процесса*

В новом процессе исчез бездушный формализм письменного производства. На суде все результаты предварительного следствия должны были быть проверены; допрашивались вновь свидетели, эксперты в присутствии подсудимого. Его защитник мог задавать свидетелям и экспертам вопросы, предъявлять суду ходатайства и т. д.

Судебное заседание в гражданских процессах было ареной состязания двух сторон: истца и ответчика перед судом. Суд своей инициативы не проявлял, принимая во внимание лишь то, что было доложено и приведено сторонами. В уголовном обвинительном процессе тоже две стороны спорили между со-

---

<sup>1</sup> Кн. В. П. Мещерский. Мои воспоминания, Москва, 1897-1898, I, 429-430.

бой: прокурор и защитник. Однако, уголовный судья не был лишен инициативы в такой степени, как это было в гражданском суде. Отцы реформы считали необходимым дать суду в уголовных делах большую самостоятельность, так как в уголовных делах затрагиваются публичные, а не частные интересы.

### ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Первоначальное происхождение суда присяжных до сих пор точно не установлено. Многие страны утверждают, что честь установления этого суда принадлежит им: Савиньи и Гнейст считали, что корни суда присяжных нужно искать в дремучих лесах древних германцев. В северной Европе распространено мнение, что этот суд был организован впервые в Скандинавии: Дании, Швеции и Норвегии. Польский юрист Мациовский полагает, что присяжные — продукт славянского гения. Другие утверждали, что институт присяжных ведет свое начало из древнего Рима, а некоторые говорили, что их место рождения Иерусалимское королевство, основанное крестоносцами.

Самое распространенное мнение считает Англию родиной присяжных. Но и тут существует два мнения: одни полагают, что этот суд англо-саксонского происхождения, в то время как другие заявляют, что он происхождения норманского. Как бы там ни было, в царствование Генриха VI в Англии суд с присяжными заседателями уже существовал почти в той же форме, в какой он действует в настоящее время. Из Англии суд присяжных перешел во Францию, в другие европейские страны и в Америку. Согласно американской конституции, «суд по всем делам, за исключением дел о государственных преступлениях, должен происходить с участием присяжных заседателей». Участие присяжных заседателей в уголовных делах есть личное право каждого гражданина и включено в шестое добавление к конституции.

Введение присяжных заседателей в русский суд встретило много возражений при обнародовании судебных уставов. Этот институт был совершенным новшеством для России. Хотя обычай народного участия при отправлении правосудия и существовал с древних времен, всё же ни выборные, избравшиеся

народом до и после Судебников, ни заседатели времен петровских не исполняли судебных функций присяжных заседателей. Ни целовальники, ни судебные мужи не были настоящими судьями, т. к. действительная судебная власть принадлежала назначенным чиновникам: тиунам, воеводам, наместникам. Обязанности целовальников и других избранных людей сводились лишь к наблюдению за закономерностью решения и за правильным его протоколированием. Заседатели после-екатеринских времен и до Александра II избирались в сословные суды сословиями и не были представителями всего народа, как присяжные заседатели. Но самое важное различие между до-реформенными и пореформенными выборными судьями заключалось в том, что и выборные судьи до 1864 г. были связаны правилами формальных доказательств и не могли судить по совести. Возражения против введения суда присяжных в России (гр. Блудов) были основаны на том, что народ не только юридически не образован, но совершенно невежествен, что он вообще смотрит на преступника лишь как на несчастного, что преступление, особенно имущественного характера, оценивается многими людьми из народа не как злое дело, а как проявление смелости.

Сторонники присяжных (Ровинский и др.) возражали, что хотя народ и смотрит на осужденного преступника в арестантском халате как на «несчастненького», но это признак не отсталости, а наоборот, глубокого нравственного чувства; что хотя кража является весьма распространенным явлением, но не вследствие отсутствия юридического или общего образования, т. к. и образованные люди часто виновны в этом преступлении, а в силу отсутствия общественного контроля и общественного мнения. Когда народ будет участвовать в суде, он научится различать и осуждать преступления. Так что, — заключает Ровинский, — суд с присяжными должен предшествовать развитию юридического чутья в обществе, и с его помощью народ перестанет считать воровство естественным явлением.

Замечательно, что против введения суда присяжных в России возражали не только русские реакционеры, но и такой просвещенный человек как Герберт Спенсер. Он считал, что отправление правосудия может хорошо действовать только в той мере, в какой сам человек делается справедливым. «Если

бы только в России был суд присяжных, говорят некоторые, изучая русских, — писал Спенсер, — но они не могут его иметь. Он не мог бы существовать у них. Если бы он и был установлен, он не мог бы действовать. У них нет того основания честности и правдивости, на которых только он может стоять. Чтобы быть полезным, этот институт должен быть порожден народным характером. Не суд с присяжными творит справедливость, а чувство справедливости порождает суд с присяжными, орган, через который оно действует; и этот институт будет безжизненным, если нет этого чувства».

Деятельность суда присяжных в России была подвергнута жестокой критике в эпоху реакции конца семидесятых и восьмидесятых годов. Оправдание присяжными заседателями Веры Засулич в 1878 году послужило поводом к началу травли суда присяжных. Вера Засулич стреляла в градоначальника Трепова за то, что он велел высечь политического арестанта, не снявшего шапки перед ним. Ее дело было передано суду присяжных потому, что министр юстиции гр. Пален не желал придавать делу политический характер, объясняя поступок Засулич личной мстью.

Жесточайшие нападки тогда велись правой прессой с Катковскими «Московскими Ведомостями» во главе, где этот суд был назван «судом улицы». Но и со стороны администрации проявлялось иногда неодобрительное отношение к суду присяжных. В своем докладе царю от 11 февраля 1887 г. министр юстиции Н. А. Манасеин утверждал, что присяжные, «избранные из местного населения далеко не беспристрастны и не реагируют на интересы, обуславливающие столкновения частного лица с представителями власти». В результате закон 1889 г. изъял из компетенции суда присяжных преступления против государственных чиновников и учреждений.

В 1894 г. правительство решило еще раз проверить желательность суда с присяжными заседателями. Министр юстиции Н. В. Муравьев поручил комиссии, состоявшей из всех старших председателей судебных палат, под председательством А. Ф. Кони, изучить вопрос о присяжных заседателях в России. Эта комиссия признала, что распространенное мнение, будто присяжные выносят большее число оправдательных вердиктов, чем коронные суды, не соответствует действительности, и что «де-

тельность присяжных вполне соответствует ее назначению и имеет облагораживающее действие на народное чувство справедливости».<sup>2</sup> Так, суд присяжных просуществовал в России до октябрьского переворота.

### МИРОВОЙ СУД

Мировой суд был создан реформой по французскому и английскому образцам, но существенно отличался от них тем, что во Франции и Англии мировые судьи назначались, в то время, как в России мировые судьи по закону 1864 г. выбирались земством, а в Петербурге и в Москве — городскими думами. Судебная реформа сделала в этом отношении почин в Европе: ни в одной европейской стране в то время не было выборных судей.

Цель создания мирового суда была ясно указана Государственным Советом: «Обязанность мирового судьи — рассмотрение мелких дел, возникающих почти ежедневно среди большинства населения, значительная часть которого не знает закона, не переносит формализма, уважает только естественную справедливость, не может терять времени и стремится, прежде всего, к быстрому решению в соответствии с его понятием о справедливости. Главная задача мирового судьи — удовлетворить по совести эту элементарную потребность в правосудии».

Мировые суды достигли сразу огромной популярности. Народ верил «мировому», почувствовав, что перед ним все равны. Сложившееся веками убеждение, что богатый и сильный всегда останется правым, что привилегированные сословия могут безнаказанно обижать народ, стало рассеиваться. По словам современников реформы, народ заполнял судебные камеры до отказа, и часто раздавались слова, неслыханные до того на Руси: «Теперь перед судом все равны! Теперь драться не разрешается! Теперь «мировой» тебе покажет!»

Закон 12 июля 1889 г. о земских начальниках перенес на них юрисдикцию мировых судей в уездах. Земские начальники, назначенные правительством, исполняли обязанности судей и администраторов по крестьянским делам. В городах дела, под-

<sup>2</sup> Кони. Суд присяжных. Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона, т. 63.

ведомственные мировому суду, перешли к городским судьям, не выборным, а назначаемым правительством. Мировые суды в том виде, в каком они были созданы реформой, остались лишь в Петербурге, Москве, Харькове, Одессе, Кишиневе, Саратове, Казани и Нижнем Новгороде.

Государственная дума восстановила судебную функцию выборного мирового суда законом о местном суде 15-го июля 1912 года.

### ПРИСЯЖНАЯ АДВОКАТУРА

В одной из своих застольных речей знаменитый русский адвокат В. Д. Спасович сказал: «Мы, (адвокаты) вышли не *ex ovo*, мы не вылупились из скорлупы, мы без роду, без племени». И, действительно, организация адвокатуры была полным новшеством для отправления правосудия в России.

Представительство сторон на суде было неизвестно древнему русскому праву, как, например, Русской Правде, или договорам греков со славянами, вплоть до 14-го века. Новгородская судебная грамота уже давала право каждому иметь своего представителя на суде, а Псковская судебная грамота ограничивала круг лиц, владеющих этим правом, женщинами, детьми, монахами, монашками, стариками и глухими. Но никакой организации представителей на суде эти кодексы не предусматривали.

Свод законов постановлял, что «всякое лицо, имеющее право быть истцом или ответчиком, согласно закону, имеет право вести процесс при помощи представителя», который, «действуя на суде вместо него, представляет его». Этим представителей звали «стряпчими». Не допускались в качестве представителей на суде: 1) малограмотные, 2) удельные крестьяне по удельным делам, а по другим делам они обязаны были иметь на то специальное разрешение, 3) духовенство, 4) монахи и монахини, 5) чиновники, 6) лица всех сословий, которые, будучи обвинены по преступлениям, влекущим за собой лишение прав состояния, сдачу в солдаты и ссылку в Сибирь, на каторжные работы, были освобождены от наказания царским манифестом или же остались неоправданными вследствие того, что дело было прекращено, в виду царского мани-

феста, 7) лица, опороченные по суду, хотя и не лишенные прав состояния, 8) лица, подвергнутые телесному наказанию по судебному приговору, хотя и не исключенные из сельских и городских общин, 9) бывшие чиновники, уволенные за преступления и плохое поведение, 10) лица, находящиеся под полицейским надзором или запретом правительства вследствие совершенных ими незаконных поступков.

Таким образом деятельность стряпчих была открыта для каждого (с вышеуказанными ограничениями). Сводилась она к писанию бумаг, так как судоговорения в дореформенном суде не было. И если нравственность дореформенной магистратуры стояла на низком уровне, то это относится еще в большей степени к стряпчим. Петр Великий в одном указе назвал их «ябедниками», «ворами» и т. д., и прозвание ябедников осталось за ними на долгое время.

Наша классическая литература оставила нам портреты этих дореформенных ходатаев по делам. Вот, например, как рисует Гоголь «юрисконсульта» Чичикова: — «Юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привел в такое положение, что к нему должны все обратиться за советом. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на донос, и пошли открываться такие дела, которые и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было... Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела»...

Говоря об адвокатах, нужно сказать, что нелюбовь и недоверие к адвокатскому сословию вообще существовала почти у всех русских монархов, начиная с Петра. В этом отношении любопытен следующий эпизод. Когда Петр Великий был в Лондоне в 1689 году, он посетил Вестминстер Холл и там обратил внимание на каких-то людей в белых париках и в мантиях. На недоуменный вопрос царя, что это за люди и чем они занимаются, последовал ответ, что это — адвокаты. «Адвокаты? — изумился Петр, — во всем моем государстве их всего

двое, и я собираюсь одного из них повесить, как только вернусь к себе».<sup>3</sup>

Екатерина II гжуче ненавидела адвокатов, считала их всех революционерами и зачинщиками того, что происходило во Франции в эпоху великой революции. В письме к Гримму от 15-го сентября 1790 года она писала: «В моей стране адвокаты никогда не будут законодателями, пока я жива, и после меня мои наследники будут следовать моим принципам».

Когда князь Д. В. Голицын, московский генерал-губернатор, просил Николая I освободить его от обязанности утверждать приговоры палат по уголовным делам, потому что он сомневается в их справедливости, так как обвиняемые не имеют адвокатов, Николай I сказал: «Вижу, что ты долго жил во Франции во время революции; не удивительно, что у тебя было достаточно времени, чтобы воспринять их взгляды на порядок вещей. Но кто, — продолжал государь, повышая голос, — погубил Францию, если не адвокаты? Разве ты этого не понимаешь? Кто были Мирабо, Робеспьер и другие?! Россия в адвокатах не нуждается; мы проживем и без них...»<sup>4</sup>

Когда Пушкин представил свою «Историю Пугачевского бунта» для предварительного просмотра Николаю I, там в подстрочной заметке 19 было сказано: «Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных именным указом, не мог ни в коем случае быть казнен смертью. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть он его не знал; может быть судьи о том не подумали; тем не менее казнь сего злодея противузаконна». Далее шла следующая фраза: «Это один из тысячи примеров, говорящих о необходимости введения адвокатуры в России». Эта последняя фраза была вычеркнута Николаем I и не появилась в примечании 19 к стр. 164 первого издания «Истории Пугачевского бунта».

Сам Александр II не совсем был свободен от предубеждения против адвокатуры, свойственного его предкам. Когда в 1857 году Второе Отделение Собственной Его Величества Канцелярии представило Государственному Совету проект судебной реформы, прениям в Совете предшествовало чтение

<sup>3</sup> The Book of Days, London, 1863, I, 175.

<sup>4</sup> Н. М. Колмаков. Старый суд. Русская старина. № 12. 1886, 535-536.

царского указа, запрещавшего обсуждение вопросов о присяжных заседателях и адвокатуре. Лишь потом, когда государь решился на более глубокую судебную реформу, невозможную без участия адвокатуры в отправлении правосудия, дебаты по вопросу об адвокатуре были допущены.

Из мнений за и против введения адвокатуры в России, высказанных в прессе того времени, следует отметить блестящую статью молодого юриста К. П. Победоносцева, служившего в министерстве юстиции. Будущий столп реакции был в то время сторонником либеральных реформ. Он писал: — «Только при помощи адвокатов судебное состязание может достигнуть полноты и живости, а эта полнота и живость необходимы для того, чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и составить себе твердое убеждение... Когда перед судом послышится живая речь адвоката, знакомого с искусством изложения, когда притом перед судом и участвующими в нем будут не затворенные двери тайной присутственной камеры, а общество, принимающее живое участие во всем, что происходит на суде, — тогда процесс получит вид действительной, живой и разумной борьбы. Тогда редкий судья в состоянии будет остаться невнимательным и равнодушным. В таком только виде, то есть при участии адвокатов и при открытом заседании, суд делается лучшей школой для образования судей и адвокатов... Борьба слабого с сильным, бедного с богатым, зависящего с тем, от кого он в силу разных отношений зависит, — всегда и везде была затруднительна и опасна. В иных случаях такая борьба была бы решительно невозможна без помощи адвоката... Сословие адвокатское, как и сословие судей, тогда только может исполнить свое назначение и удовлетворить своей цели, когда будет сословием, в самом себе заключенном, стоящим возле судебной власти, но не зависящим от нее... Как только сословие организовалось, необходимо предоставить ему свободную, независимую деятельность».<sup>5</sup>

Государственный Совет признал необходимость сословия образованных и честных адвокатов, так как без них невозможен состязательный процесс в гражданских делах и защита в

<sup>5</sup> К. П. Победоносцев. Реформы в гражданском судопроизводстве. Русский Вестник, 1859, июль, кн. 1, стр. 162-166.

уголовном процессе с целью выяснения истины. По мнению Государственного Совета, одной из причин бедственного состояния судебной процедуры было то, что лица, ходатайствующие по чужим делам, в большинстве случаев стоят на низком уровне нравственности и лишены юридических знаний, как теоретических, так и практических.

Закон об адвокатуре был принят Государственным Советом 2-го октября 1864 г. Рождение русской свободной адвокатуры было весьма необычным: ее предшественники не были ее предками. Когда вводится в жизнь новый институт, не имеющий корней в предшествующей истории страны, его приходится заимствовать у других стран.

В Европе существовали и существуют по сей день две системы устройства адвокатуры: англо-французская и германская. Деятельность адвоката в Англии и Франции разделена между двумя лицами: «солиситор» и «барристер» — в первой, и «аву́з» и «авока́» — во второй. «Солиситор» и «аву́з» (последний является чиновником министерства юстиции, хотя и оплачивается клиентом) ведут всю подготовительную работу в гражданском и уголовном процессе, «барристер» и «авока́» выступают в суде.

Немецкий «рехтсанвальт» хотя и совмещает обе деятельности подготовки дела и судебного выступления, но до реформы 1878 г. он был чиновником министерства юстиции, а не членом свободной профессии; после же реформы он всё же занимал полуофициальное положение, так как в окружных судах второй и третьей инстанции только он допущен к ведению дела и выступлению в суде.

По вопросу о том, какая из двух систем легла в основу устройства русской адвокатуры существуют диаметрально противоположные мнения: так, Е. В. Васьковский считает, что «ясно с первого взгляда, что организация русской адвокатуры примыкает к германско-австрийской системе. Однако, вследствие странного недоразумения, основанного на недостаточном знании западно-европейской адвокатуры, мнение, что наша адвокатура организована по французскому образцу, преобладает в нашей литературе. В действительности же, если и есть что-либо общее между французским «авока́» и русским присяж-

ным поверенным, — это только свобода профессии и корпоративная организация».<sup>6</sup>

Однако, Г. Б. Слиозберг утверждает, что «адвокатское сословие было создано законами 1864 г. по французскому образцу, с различиями, свойственными политическим условиям в обоих государствах...»<sup>7</sup>

В действительности же, отцы судебной реформы 1864 года отвергли как англо-французскую двойственную систему, так и полуофициальное положение адвоката в германской системе: русский присяжный поверенный подготовлял дело к судебному слушанию и выступал в суде, он был членом свободной профессии, а не имел получиновничьего положения.

### АДВОКАТУРА НА СТОРОНЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

Великая французская революция 1789 года была первой революцией, произведенной во имя свободы личности от угнетения ее государством. Ее лозунгом были «свобода, равенство и братство», декларация прав человека и гражданина — ее хартией.

В первой половине 19-го века индивидуализм был в полном расцвете и одержал много побед над государством в различных областях в разных странах. И нет никакого сомнения, что великие реформы Александра II были проникнуты духом индивидуализма. Все они были произведены в пользу личности. Он даровал личную свободу миллионам крестьян. Он учредил земские самоуправления и разбил цепи, связывавшие личность в старом суде. В области отправления правосудия Россия сделалась правовым государством. Эта эмансипация личности была блестяще характеризована профессором Фойницким: — «Было что-то новое в самом понимании начала законности уставами 20-го ноября, если последние оказались в силах до такой степени изменить наш внутренний быт, что между 1900 и 1860 г.г. историк признаёт разницу глубже и шире, чем между 1860 г. и веком Екатерины, а пожалуй даже Петра Первого. До такой степени могучим оказалось то свежее влияние, кото-

<sup>6</sup> Е. В. Васьковский, Организация адвокатуры. Ст. Петербург, 1895, I, 333-334.

<sup>7</sup> Г. Б. Слиозберг. Дела минувших дней. Париж, 1933, I, 191.

рым, потянуло на русскую жизнь с шестидесятых годов. Это новое, составляющее наиболее характерную черту уставов, родственную им с памятником 1861 г. и тем же освободительным потоком вызванное, заключается в **идее личности**.<sup>8</sup>

Как мы знаем, личный момент был изгнан из дореформенного отправления правосудия. Стороны были устранены из процесса, их почин и личную волю заменяли правила закона, защиты не существовало. Но и судьи не были самостоятельны в принятии решений. Судебная деятельность была сведена к подсчету доказательств, сила которых была определена наперед законом. Судейская совесть была упразднена и заменена формальным велением закона.

Публичность, состязательный процесс, гласность, присяжные заседатели, адвокатура, несменяемость судей, введенные законом 1864 г., должны были служить защите прав личности. Осуществлять эту защиту на суде приставлена была к личности — адвокатура.

«Поняло ли сословие, — говорил Грузенберг на общем собрании Санкт-петербургской адвокатуры в 1916 году, — что там, где государство напирает со всей своей безграничной мощью, со всей неотвратимостью своих беспощадных ресурсов на песчинку, — на отдельную личность, — там, и прежде всего там, место адвокату... С крайним напряжением, часто с забвением собственных интересов, товарищи наши в разных концах русской земли служили может быть невидную, но великую службу — службу защиты личности против натиска на нее государства».<sup>9</sup>

«Борьба за права личности, ее защита против абсолютной власти государства — вот поле деятельности свободного адвоката», — писал Винавер.<sup>10</sup>

Эта борьба была облегчена тем, что в день опубликования Судебных Уставов был обнародован указ императора, разрешающий воспроизводить в прессе всё, что происходит на суде, без каких-либо сокращений. Таким образом, речь защитника проникала во все суды обширного государства. Не следу-

<sup>8</sup> И. Я. Фойницкий. Идея личности в Судебных Уставах и кодификационное их значение. Право. 1899, стр. 2284.

<sup>9</sup> О. О. Грузенберг. Очерки и речи. Н. Ёурк, 1944, стр. 82 и 88.

<sup>10</sup> М. М. Винавер. Недавнее. Париж, 1926, стр. 56.

ет забывать, что адвокат первый получил свободу слова в России, и что он был не только первым, но и единственным носителем ее до 1906 г. Верную оценку призвания адвоката дал профессор Фойницкий: — «Являясь на помощь угнетенному, а часто невинному в самый критический период его жизни, защита представляет одну из благороднейших арен юридической деятельности. Она достойна подъема самых лучших духовных сил человеческой природы, чем объясняется как посвящение себя защите людей высокого уровня нравственного и умственного, так и несомненные симпатии общества к этой деятельности в ее чистом виде...»

Однако, законы 1864 г. превратили русское государство в правовое только в области суда. Добывать себе права в других областях государственного управления осталось задачей русского народа во второй половине 19-го и в начале 20-го века. Защищая участников освободительного движения, адвокатура должна была выявлять причины, приведшие подзащитного к совершению вменяемого ему преступления, и таким образом косвенно критиковать правительство, независимо от личных политических убеждений отдельного адвоката. Как пример можно привести отрывок из речи Н. П. Карабчевского в защиту Егора Сазонова, убившего бомбой министра внутренних дел В. К. Плеве 15-го июля 1904 г. На суде Карабчевский говорил: — «Весь ужас, который постиг в последние годы Россию, исключительно приписывается Плеве. Он настоял на повешении Балмашева, он заточил в тюрьмы и послал в ссылку тысячи невинных людей, он сек и расстреливал крестьян и рабочих, он глумился над интеллигенцией, он сооружал массовые избиения евреев в Кишиневе и Гомеле. Он задушил Финляндию, он теснил поляков, он влиял на то, чтобы возгорелась наша ужасная война с Японией, в которой уже столько пролито и еще столько прольется русской крови... Он рисовался Сазонову не иначе, как гибельным, зловещим кошмаром, который своим властным коленом навалился на грудь родины и беспощадно душил ее. Сазонову казалось, что это — чудовище, которое может быть устранено только другим чудовищем — смертью! И, принимая трепетными руками бомбу, предназначенную для него, он верил, свято верил в то, что она не столько начинена динамитом и гремучей ртутью, сколько слезами,

горем и бедствиями народа. И, когда рвались и разлетались в стороны ее осколки, ему чудилось, что это звенят и разбиваются цепи, которыми опутан русский народ... Вот почему, когда он очнулся, он крикнул: «Да здравствует свобода!»...»<sup>11</sup>

Понятно, политические взгляды весьма умеренного октябриста Карабчевского не имели ничего общего с убеждениями социалиста-революционера-боевика Сазонова. Но искусство адвоката заключается именно в том, чтобы так глубоко проникнуть в психологию своего подзащитного, так убедительно изложить причину, приведшую его к преступлению, чтобы найти смягчающие вину обстоятельства в поступке преступника. Вот почему речь Карабчевского звучит также революционно, как будто она была произнесена самим Сазоновым.

Разумеется, политическая защита была лишь одной из областей адвокатской деятельности. В гражданских и уголовных делах адвокат стоял на страже интересов своего доверителя или подзащитного. Но, защищая права доверителя или обличаемого, адвокат вместе с тем защищал и права общества, заинтересованного в том, чтобы право восторжествовало в отношении к его членам. Служа отдельным членам общества, адвокат вместе с тем служил и всему обществу.

Как же справилась русская адвокатура со своей задачей?

Нужно сказать, что наша литература немилостиво отнеслась к адвокатуре. Адвокатов обвиняли в том, что они берутся за всякие дела, независимо от их нравственной подоплеки, защищают своего клиента даже недопустимыми средствами, «превращая белое в черное и черное в белое», что у них «продажная совесть» и так далее.

Достоевский и Салтыков-Щедрин жестоко раскритиковали Спасовича за то, что он добился оправдания Кроненберга, обвинявшегося в истязании малолетней дочери. Достоевский изобразил того же Спасовича в отрицательном образе Фетюковича, защитника Мити Карамазова, Щедринский Балалайкин — злая карриатура на адвоката; Толстой в «Воскресении» осудил саму идею суда, его представителей, и вместе с ними и защитника Катюши Масловой; он представил в неблагоприятном свете

---

<sup>11</sup> Н. П. Карабчевский. Дело Сазонова. С. Петербург, 1906, стр. 26-27.

защитника Феди Протасова в «Живом трупe». Некрасов писал сатирические строки:

И, сорвав гонорар неумеренный,  
Воскличал мой присяжный поверенный:  
«Перед вами стоит гражданин,  
Чище снега альпийских вершин!»

Постараемся же разобраться в этих обвинениях. Нужно прежде всего иметь в виду, что задача адвоката на суде — не добыча объективной истины. Это дело суда. Обязанность адвоката — привести всё то, что в интересах доверителя в гражданском процессе, и все обстоятельства, могущие послужить к оправданию или смягчению участи подсудимого в уголовном деле. Адвокат, в силу своей профессии, не объективен. Он на всё смотрит с точки зрения своего клиента. Но «объективность» его суду и не нужна, так как противная сторона в гражданском процессе и прокурор — в уголовном — освещают те же обстоятельства дела с противоположной точки зрения. Именно этот двусторонний подход к делу дает наилучшую возможность суду во всем разобраться. В. А. Маклаков правильно утверждал, что человек обыкновенно мыслит дедуктивным методом, то есть, исходя из определенных данных, приходит к какому-то заключению. Адвокат мыслит индуктивно: к заранее установленному выводу — утверждению клиента — он старается подобрать данные в пользу интересов клиента. В этом нет ничего беспринципного и ничего безнравственного. Разумеется, адвокат не должен лгать, орудовать сознательно фальсифицированными данными и т. п.

В уголовном же процессе право на защиту имеет всякий, самый отъявленный и безнравственный преступник. Как бы человек низко ни пал, всегда можно привести хоть что-нибудь, что могло бы послужить к смягчению его участи, и в этом — святая обязанность защитника.

За пятьдесят лет своего существования русская свободная адвокатура верой и правдой служила русскому человеку и русскому народу. В периоды реакции были гонения и на адвокатуру, как и на другие институты, введенные реформой 1864 г. Всё же адвокатура просуществовала такой, какой ее задумали отцы судебных уставов, до самой октябрьской револю-

ции. Уничтожена была свободная русская адвокатура вместе с судебными уставами 1864 г. — большевиками.

Декрет о суде № 1 Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 г. отменил все существовавшие тогда судебные установления и сословие присяжных поверенных. Суды и адвокатура сделали попытку не подчиниться советскому декрету. Чиновники московского Оружного суда приняли решение «продолжить свою государственную работу, руководясь и впредь лишь нормами, обнародованными Правительствующим Сенатом в установленном порядке, и законными решениями полномочной центральной власти». Московский окружной суд в общем собрании, согласно заключению прокурора, постановил: временно до приведения в порядок всего делопроизводства (разгромленного окружного суда) приостановить занятия в здании суда, за исключением занятий административного суда по делам о выборах в Учредительное Собрание.

Специальным постановлением от 23-го ноября 1917 г. Сенат запретил применение Декрета о суде № 1 к судебным установлениям. В постановлении было сказано: «До сведения Правительствующего Сената дошло, что лица, захватившие власть до созыва Учредительного Собрания, единственного представителя верховной воли русского народа, покушались на существование Правительствующего Сената, стоящего более двухсот лет на страже законности и порядка в России. Эти лица, решив упразднить Правительствующий Сенат и все суды, подрывают самые основы государственного строя и лишают население его последней опоры — законной защиты его личных и материальных прав. Преступные деяния в течение последних недель лиц, называющих себя народными комиссарами, свидетельствуют о том, что они не остановятся перед применением насилия к учреждениям и лицам, стоящим на страже русского государства... Прежде чем насилие коснется старейшего из высших русских учреждений и лишит возможности Правительствующий Сенат поднять свой голос в час величайшей опасности для Отечества, Общее Собрание Сената, собранное на основании ст. 14 Учреждения Правит. Сената, не признавая законной силы за приказами никаких самовольных организаций... решает продолжать исполнять обязанности, возложенные законом, впредь до того времени, пока Учредительное Собрание

не решит вопроса об организации властей и осведомит об этом решении подчиненные места и лица».<sup>12</sup>

Также и столичная адвокатура постановлением Общего Собрания петроградской присяжной адвокатуры от 26 ноября 1917 года, признала Декрет о суде № 1 незаконным, как исходящим от учреждения, не компетентного издавать законы. Общее собрание предложило членам сословия продолжать прежнюю деятельность в старых судебных учреждениях.

Московский совет присяжных поверенных присоединился к постановлению Сената и петроградского Общего собрания 3-го декабря 1917 г. Такие же постановления были приняты другими советами.

Однако, сопротивление было бесплодным. Петроградские судебные установления были закрыты представителем Военно-революционного комитета 29 ноября 1917 г. Деятельность московских судебных учреждений была прекращена несколькими неделями позже при помощи красноармейцев.

Помещение петроградского Совета присяжных поверенных было занято большевиками лишь в ноябре 1918 г. В связи с этим советское правительство предложило массовый переход присяжных поверенных в новое учреждение адвокатуры, которое должно было якобы быть учреждено на тех же основаниях, что и старое, и для обсуждения этого предложения было разрешено созвать последнее Общее собрание присяжных поверенных в Петрограде.

Перед этим последним Общим собранием Совет присяжных поверенных постановил остановить деятельность сословия и всех его учреждений. Члену Совета Б. Л. Гершуну было поручено довести это постановление до сведения Общего собрания. Вот как в своих воспоминаниях описывает Гершун это последнее собрание:

«Когда в общем собрании, на котором присутствовали все присяжные поверенные, находящиеся в Петрограде, я произнес слова: «Наступил последний час сословия!»... я увидел, что многие коллеги, особенно старшего возраста, плакали... Мы не можем, — продолжал Гершун, изменить принципам русского сословия адвокатуры, отказавшись от священных

---

<sup>12</sup> Русские ведомости, 24 ноября 1917 г.

традиций независимости и свободы сословия... Лучше распустить сословие... Честная смерть лучше позорной жизни...»

Общее собрание утвердило постановление Совета. Так кончила свое существование свободная русская адвокатура.

\*\*  
\*

Крестьянская и судебная реформы 1864 г. тесно связаны между собой. Несчастье русского народа состояло в том, что в последующие царствования крестьянская реформа не была расширена, а судебная была сокращена.

С 1864 по 1906 г. Россия представляла собой единственный пример государства в истории, где одна из трех властей была построена на демократических началах, в то время как две другие власти оставались самодержавными. Столкновение между этими разнородными властями было неизбежно, и великие начала, положенные в основу судебной реформы 1864 г. Александром II, не раз нарушались в царствование его сына и внука. Всё же главные основы судебной реформы не потонули в годы двух последних царствований. Созданная волей самодержавного государя, судебная реформа 1864 г., одно из самых либеральных законоположений когда-либо дарованных русскому народу, была уничтожена, как и сама жизнь Царя-Освободителя, революционерами.

В этом — какая-то жуткая ирония истории.

*С. Кучеров*

# ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО ПЕРЕД КАТОРГОЙ

1848 г. не принес с собой сколько-нибудь значительных произведений молодого Достоевского. Лишь к концу года появились «Белые Ночи», которые стоят выше всех других сочинений этого периода. Остальное были всё короткие рассказы, преимущественно сентиментально-натуралистического направления, а также одно юмористическое произведение. Но в этой области юмора Достоевский не был большим мастером, легкий юмор не подходил к особенностям его дарования.

«Чужая жена и муж под кроватью» собственно два рассказа, соединенные общим заглавием и единством главного действующего лица — два приключения одного и того же героя. Оба рассказа разрабатывают банальную тему старого ревнивого мужа, подозревающего свою жену в измене, выслеживающего ее и действительно обманутого ею. Это одна из излюбленных тем юмористической литературы всех времен и народов. Как юморески, рассказы довольно слабы, но как и все ранние произведения Достоевского, они чрезвычайно поучительны для литературоведа, так как в них некоторые особенности техники изображения, характерные для писателя, выступают в обнаженном виде, и легко поддаются анализу.

В первой части, или в первом рассказе, ревнивый муж выяснил, что его жена находится в данный момент в одном доме, где у нее, по его предположению, свидание с любовником. Он стоит перед домом, чтобы подстеречь и уличить жену. У другого любовника его жены, зародилось то же подозрение, и он стоит перед тем же домом с той же целью. Рассказ начинается с того, что оба встречаются у входа в дом, и вступают в разговор. Муж подозревает, что молодой человек — любовник его

---

\* См. кн. 48, 60, 61, 71 и 77.

жены; он не хочет себя выдать, стыдясь комической роли ревнивого мужа, и выдает себя за холостого друга одного обманутого мужа, из любви к которому он выслеживает его неверную жену. Вместе с тем, он чувствует в молодом человеке союзника, могущего быть ему в данном положении полезным. Молодой человек, со своей стороны, тоже прекрасно понимает, с кем он имеет дело, но и он тоже не желает быть разгаданным и не может признаться в своих истинных отношениях к жене ревнивого супруга. Оба взволнованы, и в своем возбуждении и нетерпении постоянно выдают свои настоящие мысли и чувства. Они даже бранятся и ссорятся, но не покидают друг друга. Наконец, появляется и сама неверная жена, в сопровождении третьего мужчины, того самого, с которым у нее было свидание. Она сразу находит объяснение своему появлению, совершенно неправдоподобное, но мужчины вынуждены сделать вид, что они ему верят.

Во всем рассказе нет никакого действия, одни только разговоры, причем ни одно из действующих лиц не говорит ни разу того, что оно действительно думает. У каждого есть свои сокровенные мысли, которые он не хочет высказывать; каждый угадывает эти сокровенные мысли другого, делая однако вид, что они остаются для него неразгаданными. При живости диалога, это сложное построение из неискренних слов постоянно подвергается сдвигам, обнаруживающим подлинные скрытые мысли, которые, однако, немедленно опять исчезают и скрываются, оставаясь между строк. В этом и должен состоять комический эффект произведения. Механизмом неискренних слов и скрытых мыслей каждый из персонажей пользуется по-своему, чем придается ему индивидуальная характеристика.

Во втором эпизоде «Чужой жены и мужа под кроватью» больше действия, но это действие лишено динамики, оно превращено в ситуацию, причем центр тяжести лежит опять-таки в разговорах, ведущихся на фоне этой совершенно неправдоподобной ситуации.

И в этом рассказе центр тяжести лежит в диалоге, с игрой скрытых и высказанных мыслей, но в противоположность первому рассказу, на этот раз скрытые мысли остаются большей частью действительно скрытыми. Но самый принцип, на котором диалог построен, остается одинаковым в обеих частях рас-

сказа. Особенно характерна для второй части невероятная, совершенно неправдоподобная ситуация, на фоне которой, однако, диалог разворачивается с полной естественностью, психологически совершенно правдоподобно — это прием, который встречается часто впоследствии не только в юмористических, но и в серьезных произведениях Достоевского.

В рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» обнаруживается еще одна особенность Достоевского, характерная и для позднейших произведений писателя. Уже часто отмечалось, что в противоположность Толстому, Достоевский почти не описывает наружность своих действующих лиц, или по крайней мере описывает ее мало рельефно, т. ч. образы героев его произведений не оставляют у читателя никакого зрительного впечатления. Они охарактеризованы своими мыслями, чувствами, душевными движениями, и в этом отношении представляют собой яркие, живые личности, но у этих личностей почти нет тела, во всяком случае, телесная оболочка их не запечатлевается в памяти. В юмористических произведениях Достоевского все особенности его приемов изображения выступают особенно ярко, в том числе и устранение зрительного впечатления. Это мы видим в «Чужой жене и муже под кроватью». В первой части действие происходит сперва на улице, при ночном освещении, а затем на совершенно темной лестнице. О наружности действующих лиц почти ничего не упоминается: сказано только, что ревнивый муж одет в енотовую шубу, а молодой человек в бешкету; оба друг друга не видят, а только слышат. Точно так же обстоит дело и во второй части рассказа — ревнивец и его предполагаемый соперник друг друга не видят, т. к. под кроватью темно, точно так же не видят они и хозяина квартиры, а только слышат, как он говорит и только в последней сцене все видят друг друга при свете. Таким образом во всей повести зрительная сторона в изображении действующих лиц совершенно устранена, и они охарактеризованы только своими словами. Это очень типичная черта техники изображения Достоевского. К тематике «Чужой жены» писатель вернулся еще раз позднее, в повести «Вечный муж».

Сентиментально-натуралистические произведения того же 1848 г. гораздо менее характерны в отношении техники изображения и вообще не имеют большого значения. Тематика

рассказов «Ползунков» и «Честный Вор» типична для сентиментально-натуралистического направления 40-х г.г. Оно уже не ограничивалось стремлением возбудить интерес и жалость к «бедному человеку», но стремилось возбудить те же чувства и к человеку всеми презираемому, порочному или непорядочному. Требовалось доказать, что и самый низко павший, достойный презрения человек, может иметь благородные чувства, может заслуживать сожаление. У литераторов с социалистическими воззрениями, к которым в то время примыкал Достоевский, к этому стремлению присоединялось еще и убеждение, что подлости и низости, совершаемые человеком, большей частью лишь последствия социальных условий, и что подлец лишь жертва своей социальной среды. К литературе предъявлялось требование открыть человеческие черты в подлеце, вызвать к нему жалость. Такая установка отвечала характеру творчества Достоевского, т. к. «очеловечение» литературных образов тесно связано с его системой изображения. В обоих рассказах, посвященных данной задаче, писателю однако не удалось создать ничего значительного.

И в «Ползункове» и в «Честном воре» повествование ведется в уста рассказчика, говорящего в первом лице, особостилизованным языком. В «Ползункове» это мелкий чиновник, всеми презираемый, над ним смеются и обращаются с ним как с шутком. Он и сам невысокого мнения о себе, привык к насмешкам и не стесняется открыто признаваться в своих неблагоприятных или низких поступках. Разумеется, он мотивирует их материальной нуждой и своим социальным положением, хотя и сознает конечно, что это его в сущности несколько не оправдывает. Он рассказывает о том, как он вымогал путем шантажа деньги у своего начальника, чтобы помочь матери и улучшить собственное материальное положение. Начальник растратил крупную сумму; ожидается ревизия, и Ползунков пользуется этим обстоятельством: он намекает начальнику, что выдаст его, если не получит от него нужной ему суммы. Начальник не только дает ему ее, но особенно с ним любезен, приглашает его к себе и дает понять, что охотно выдал бы за него свою дочь. Ползунков думает, что достиг вершины благополучия и навсегда распрощался с бедностью. Он обещает будущему тестю устранить из дел и документов все следы растраты, и исполняет

свое обещание. Начальнику удается хитростью получить обратно от Ползункова данные ему деньги и когда ревизия закончена и опасность уже позади, он резко меняет тон, помолвка расстраивается, и Ползунков увольняется со службы. Так как обо всем этом рассказывает сам Ползунков, освещая события со своей точки зрения, читателю приходится ему верить, извинять его и жалеть его. Повесть не особенно удачна и очень мало убедительна.

Так же незначительна и повесть «Честный Вор». Рассказчик ремесленник, повествование ведется типичным языком его среды. Он рассказывает об одном опустившемся, очень бедном старом пьянице, которого он из жалости взял к себе в комнату жить, и который обокрал своего благодетеля. Ремесленник заметил кражу, но не делал старику никаких упреков, жалея его. Вор, охваченный раскаянием, на некоторое время исчез, но затем, тяжело больной, вернулся умирать к ремесленнику, признавшись в своей краже. Наружность и жесты «Честного вора» описаны типичной для натуралистических рассказов манерой детальной живописи, и напоминают рассказы Девушкина в «Бедных Людях». Психологическая основа приводимых в рассказе разговоров всё та же известная уже нам игра высказанных слов и невысказанных мыслей. Ремесленник хотя и догадался о том, что старик обокрал его, разговаривает с ним как ни в чем ни бывало; старик, хотя и понимает, что тот его разгадал, делает безнадежные попытки отвести от себя подозрения. Слабая сторона рассказа заключается в противоречии между языком, которым говорит ремесленник, вполне простонародным и соответствующим культурному уровню его среды, и теми психологическими, слишком «литературными» тонкостями, которые этим языком излагаются. Обще-моральные рассуждения в конце рассказа тоже звучат фальшиво, и рассказ лишен всякой убедительности. В этом отношении он не выдерживает никакого сравнения с рассказами Девушкина, где не только стиль и манера изложения, но и все мысли и чувства кажутся совершенно естественными и правдивыми, т. к. они обусловлены всей структурой романа и психологически обоснованы.

Несколько удачнее обоих разобранных рассказов другой трогательный рассказ того же времени — «Слабое Сердце». В нем описывается симпатичный и жизнерадостный молодой кан-

целярист, погибающий в конце концов от собственной добросовестности. Его любят не только коллеги, но и начальство. В награду за усердие, начальник дарит ему некоторую денежную сумму, одновременно дав ему для переписки объемистую рукопись, которую просит переписать к определенному сроку. Тем временем происходит помолвка молодого человека с девушкой, которую он давно уже любит, он очень счастлив и совершенно забывает о данной ему начальником работе. Когда он о ней вспоминает, до срока остается всего несколько дней. Он осыпает самого себя упреками, боится, что начальник сочтет его неблагодарным, тотчас же принимается за работу, но рукопись велика, и времени у него мало. Он работает не переставая день и ночь, и наконец переутомляется так, что сходит с ума. «Он сошел с ума от благодарности», говорят о нем его коллеги. Рассказ написан очень мило и трогательно, но в нем нет ничего оригинального или значительного. Это одно из многочисленных описаний «микроскопических радостей и горестей» мелко чиновника, изготовлявшихся писателями натуралистически-сентиментального направления. «Слабое Сердце» не поднимается выше среднего уровня подобного рода произведений.

Короткие сентиментальные рассказы 1848 г. не имели большого значения для дальнейшего творчества Достоевского. Разве только тематика их была использована им позже, и то лишь во второстепенных эпизодах. Только самого Ползункова можно считать прототипом фигуры низкого шута, доходящего иногда до настоящей подлости, но обладающего в то же время благородными и возвышенными чувствами, образа, воплощенного лучше всего в Лебедеве (из романа «Идиот»). У Аркадия, друга и сожителя Васи (героя «Слабого Сердца») мы находим черты, с которыми встречаемся позднее в фигуре Разумихина в «Преступлении и Наказании». Тема «Честного Вора» была использована Достоевским еще в одном второстепенном эпизоде романа «Идиот», но не имеющем значения для общей структуры романа.

Самое значительное из произведений 1848 года — длинная сентиментальная повесть «Белые Ночи». Подзаголовок повести — «Сентиментальный Роман. Из воспоминаний мечтателя». Повествование ведется в первом лице, самим героем, душевная

драма которого и составляет содержание повести. Отрывок жизни мечтателя описывается им самим; автор не отделяет себя от рассказчика, находится не вне его, а внутри. Иначе говоря, это опять уже знакомая нам техника изображения в непосредственной близости, без всякого расстояния от изображаемого; подзаголовок повести не является суждением автора о рассказе героя, а суждением последнего о собственном рассказе: он вполне сознает свою сентиментальность и сам подсмеивается над ней. Он одинокий, замкнутый, нелюдимый молодой человек, живущий в мире грёз и мечтаний. Мечты и фантазии его единственное развлечение, но вместе с тем и наркотик, без которого он не может жить, в его мечтаниях есть что-то патологическое. Каждую свободную минуту он погружается в свой фантастический мир; он сознает, что это дурная и опасная привычка, что вследствие злоупотребления ею, фантазия сама уже начинает иссыхать; он замечает, что всё чаще в своих мечтаниях пользуется старыми темами, которые приходится обновлять и освежать, вместо того, чтобы придумывать что-нибудь новое. Он понимает также, что мечтательность главная причина его одиночества, что он постепенно теряет всякую способность общаться с другими людьми, и предчувствует, что настанет момент, когда фантазия откажется работать, и он окажется лицом к лицу с действительной жизнью, той самой жизнью которой он не знает, которой боится, от которой отгораживался до сих пор как только мог. Но именно это мрачное предчувствие заставляет его еще больше уходить в мечты, чтобы забыть о мрачной действительности ожидающей его и пожить еще, пока возможно, в своем фантастическом мире. Мечты его всегда приятны — он воображает себя героем, обладающим самыми удивительными свойствами, придумывает себе самые необыкновенные романтически-сентиментальные переживания. Все эти грёзы и мечты по сравнению с действительной жизнью в конце концов довольно однообразны, и герой повести сознает это, но ему не остается уже другого выбора, в этом его жизнь.

Такая мечтательность по существу своему всегда сентиментальна. Поэтому вполне естественно, что воспоминания молодого мечтателя непременно должны быть сентиментальны. В данной повести это так и есть.

В стилистическом отношении «Белые Ночи» обладают все-

ми чертами, характерными для сентиментального рассказа: гладкая речь, закругленные предложения, никаких тривиальных или грубых оборотов, никакого нарушения нормального синтаксического построения, известная изысканность и изящество в слоге, однако без искусственного преувеличения. Особенное внимание обращено на мелодическую сторону речи. Этой цели служат многочисленные восклицательные предложения, риторические вопросы, длинные ряды совершенно одинаково построенных предложений, или предложений, начинающихся с одного и того же слова (синтаксический параллелизм). Местами, нагромождение всех этих особенностей создает впечатление риторического пафоса, как напр. в длинном монологе героя, в котором он характеризует Настеньке самого себя, раскрывает перед ней свое душевное состояние. Ясно видно, что он самого себя слушает, кажется себе очень интересным, жалеет себя и восхищается собой, желая все эти чувства возбудить и в своей слушательнице. Настя замечает, что он говорит как в книге. Сама она говорит проще, без всякой ретирики; только когда она говорит о чувствах, речь ее становится мелодической; но резкого различия между языком героя и Настеньки нет. Весь рассказ написан однородным слогом, никогда не выступая из рамок сентиментальной стилистики, в полном соответствии с индивидуальностью рассказчика. Достоевскому удалось вполне дать своему герою речевую характеристику; в противоположность подобным характеристикам в других произведениях, манера мечтателя говорить не связана ни с какой определенной социальной средой.

Образ мечтателя из «Белых Ночей» имеет большое значение для дальнейшего творчества Достоевского. Им начинается ряд образов, играющих важную роль в позднейших произведениях писателя. Согласно своему обычному методу, Достоевский изобразил героя «Белых Ночей» не снаружи, а изнутри, дал ему изобразить самого себя. А т. к. автор не отделяет себя от героя, то можно сказать, что он сам взглянул на него и на мир глазами мечтателя. Писатель часто возвращался впоследствии к этому образу, который со временем конечно значительно видоизменился. «Человек из подполья», Раскольников, Иван Карамазов главные перевоплощения мечтателя из «Белых Ночей», потерявшие свою сентиментальность. Но и сентиментальная

сторона этого образа не прошла бесследно в творчестве Достоевского — он вернулся к ней в «Униженных и Оскорбленных».

\* \* \*

В 1849 г. появились первые 7 глав неоконченного романа «Неточка Незванова». Работа над ним была прервана арестом и ссылкой писателя, а по возвращении из Сибири Достоевский не стал его заканчивать. Ни о его размерах, ни о дальнейшем его содержании, как они были задуманы автором, мы ничего не знаем, поэтому трудно произнести какое-нибудь окончательное суждение о первых его главах. В дошедшем до нас виде, они производят впечатление отдельных повестей, лишь слабо дру́ с другом связанных; вероятно их взаимная связь должна была выясниться из дальнейшего повествования, но об этом мы опять-таки судить не можем, тем более, что техника структуры больших романов, применяемая Достоевским, известна нам только из гораздо более поздних произведений, а в 1849 г. он мог иметь другие взгляды на строение романа.

Роман начинается с воспоминаний детства Неточки, ведущей рассказ в первом лице. Должна ли она была, по замыслу автора, быть главным действующим лицом на всем протяжении романа, или ей была отведена в дальнейшем роль рассказчика и наблюдателя — неизвестно. Все эти «неизвестные» нужно иметь в виду при разборе романа, и высказывать суждение о нем можно лишь с некоторой осторожностью.

Первые три главы представляют собой законченное целое — в них изложена история неточкиного вотчина и ее матери, вплоть до смерти последней. Разумеется мы ничего не знаем о том, какое значение должна была иметь эта история для дальнейшего хода романа, ни о месте, которое должна была в нем она занимать. Но мы можем судить о внутренней структуре самой истории. Ефимов, вотчим Неточки, скрипач; уже с самого начала его артистической деятельности у него создалось преувеличенное представление о собственном даровании, которое, однако, не возбуждало в нем стремления работать, бороться за признание своего таланта, а вело лишь к чрезмерной и горделивой мечтательности. Он мечтал о славе, о всеобщем энтузиазме и признании, а т. к. действительность этим мечтам не соответствовала, Ефимов убедил самого себя, что он

жертва несчастных обстоятельств. Трудная работа над усовершенствованием техники игры, тяжелая и скучная, но необходимая борьба за завоевание благосклонности публики и признания в мире музыкантов — всё это было полной противоположностью тем горделивым мечтам, в которых Ефимов видел себя уже общепризнанным гениальным артистом, мировой знаменитостью. Этот контраст между мечтой и действительностью парализовал его энергию — он предпочитал удовлетворять свое честолюбие в мире грёз, предаваясь в действительной жизни полному безделью; постепенно он стал пить, физически и морально опускаться, и вести жизнь паразита, живя на чужой счет, сперва на счет друга, а потом женившись, на счет жены. Несчастливая женщина стала для него козлом отпущения, все свои беды Ефимов приписывал ей: он не может развивать своего таланта, не может работать, пока его жизнь проходит в таком прозаическом, нищенском окружении, пока он должен жить с этой, лишенной всякого артистического чутья женщиной. Так проходили годы.

К началу рассказа Неточки мы видим, что талант Ефимова гибнет, техника пропадает, т. к. он никогда не упражняется, но он не хочет этого замечать: в своем воображении он всё еще лучший скрипач в мире. Пусть он сейчас не играет, опустился — в этом виновата только его жена; как только она умрет — а это будет скоро — он снова поднимется на прежнюю высоту. Все слышанные им до сих пор скрипачи гораздо ниже его по таланту — в этом он совершенно уверен. Ефимов очень тонкий критик по отношению к другим, его острый взгляд выискивает и замечает малейшие недостатки — конечно критическая зоркость Ефимова в значительной мере обостряется из-за зависти, но этого он не сознает. Он принужден пренебрежительно относиться к другим артистам и находить в них всевозможные недостатки, чтобы укрепить свою позицию в собственных глазах.

Но в один прекрасный день наступает трагедия пробуждения от грёз и фантазий. В Петербург приезжает мировая знаменитость, иностранный скрипач. Ефимов идет на концерт и не может не убедиться в том, что перед ним артист, достигший совершенства, в котором он не может найти ни одного недостатка, подавляющий его огромностью своего таланта. В ночь

концерта умирает его жена — единственное препятствие на его пути к славе, как он уверил себя, — и вот он берет скрипку, пытается играть, но сразу же вынужден убедиться в том, что он не может выдержать никакого сравнения с приезжей знаменитостью. Он больше не может обманывать себя, мир его фантазий рушится. Давно подготовлявшееся безумие прорывается наружу. Ефимов бежит из дому, бесцельно бродит по городу — на другое утро его находят где-то за городом и отвозят в сумасшедший дом, где он и умирает через неделю.

Эта трагическая история воспринималась современниками Достоевского на фоне гоголевского «Портрета», в котором тоже ставится проблема отношения художника к искусству. В рассказе Неточки попадает много общих рассуждений на эту тему, высказываемых друзьями Ефимова, а в конце рассказа и самой Неточкой. Друзья и Неточка стараются найти объяснение трагической судьбы Ефимова, и находят его в том, что он больше любил славу, чем само искусство. Мысль эта сходна с мыслью Гоголя, но быть может в «Неточке Незвановой» она формулирована глубже, чем в «Портрете». У Достоевского при создании этой повести играли роль и автобиографические мотивы. Один из друзей Ефимова высказывает, между прочим, предположение, что его безмерное самомнение было в нем как бы компенсацией полуосознанного разочарования в себе. В начале он был так уверен в огромности своего таланта, что думал шутя, без труда, достичь вершин славы. Но вскоре он увидел, что без труда ничего не дается, что без усилия ничего нельзя достигнуть, — и это было для него ужасным разочарованием. Где-то в подсознании он усумнился в себе, потерял веру в свой талант, и чтобы не допустить этого мучительного сомнения в сознание, он всячески старался его вытеснить горделивыми мечтами. Мы знаем из биографии Достоевского, что когда после первого успеха критика и публика отвернулись от него, писатель был очень этим подавлен и стал сомневаться в своем таланте. И себе самому, и своим друзьям он ставил страшный и мучительный вопрос — есть ли у него талант? — вопрос, сыгравший такую роль в трагедии Ефимова, хотя оставался у последнего в подсознании. Эта биографическая черта была несомненно известна многим из современников Достоев-

ского, и конечно это обстоятельство влияло на то, как они воспринимали трагедию Ефимова.

Эта, с чисто-человеческой точки зрения, тяжелая трагедия в рассказе Неточки тесно переплетена с другой — с трагедией самой Неточки, которая обожает своего вотчима и в силу этой страстной любви оказывается замешанной в конфликт между ним и ее матерью. В далеком от жизни фантазере Ефимове было что-то детское и благодаря этому он был ребенку ближе и понятнее чем всегда серьезная, удрученная материальными заботами, утомленная тяжелой работой, болезненная мать. Неточка становится на сторону вотчима, и под его влиянием, начинает привыкать к мысли, что смерть матери принесет избавление от всех бед. Конечно, она не отдает себе ясного отчета в значении этих слов; чем приближение смерти матери становится реальнее, тем больше она испытывает жалости к ней, и тяжелый разлад возникает в ее душе. Постепенно начинается разочарование в обожаемом вотчиме. Мать не дает ему денег, зная, что он их пропьет, он же ищет каждого удобного случая, чтобы как-нибудь похитить их у жены, и использует для этой цели Неточку — из любви к нему она ворует деньги у матери и обманывает ее, испытывая однако при этом мучительные угрызения совести. В день концерта приезжей знаменитости душевная драма Неточки достигает своего апогея.

Мать ее тяжело больна; она посылает Неточку за необходимым ей лекарством и дает ей двадцатипятирублевую бумажку — последние деньги в доме. Ефимов требует у Неточки эти деньги, т. к. они ему нужны на покупку билета в концерт, и обещает подарить ей игрушку. Это ее страшно огорчает и оскорбляет — она готова из любви к нему украсть, но получить за это награду кажется ей чем-то чудовишным. После долгих колебаний она всё-таки отдает ему деньги; мать замечает это, и разыгрывается тяжелая сцена; Неточка видит, как ее мать страдает, и ей до боли жаль ее. Ночная сцена, когда Ефимов, вернувшись домой и найдя жену мертвой, схватывает скрипку и начинает играть, производит потрясающее впечатление. Неточка бежит за ним, когда он покидает дом, но он хочет от нее избавиться, старается отослать ее под каким-нибудь предлогом, и когда это не удается, убегает от нее. Она

бросается за ним, но силы изменяют ей и она падает без сознания на улице.

Трагедия артиста Ефимова так тесно переплетена с трагедией Неточки, ее страстной любовью к нему и конечным разочарованием в нем, что нельзя сказать, которая из них составляет главную тему повествования. Рассказчица описывает свое детство, чувства, которые она испытывала, будучи ребенком, она становится на свою тогдашнюю точку зрения и рассказывает о происшествиях так, как она их в то время воспринимала. Таким образом значительная часть истории Ефимова доходит до читателя пройдя через призму душевной драмы маленькой Неточки. Наряду с этим, другие части его истории рассказаны без такой призмы — прежняя жизнь Ефимова описана совершенно объективно, не как воспоминание, а как простое изложение фактов; так же переданы и суждения друзей о нем, так же описана встреча скрипача с одним другом перед концертом; следующее за трагичным концом Ефимова рассуждение Неточки о причинах его гибели тоже написано уже с точки зрения взрослого человека, а не ребенка. Таким образом мы видим, что изображение фактов преломленными в призме детской души, применяется автором преимущественно в наиболее драматических моментах, и функция этого рода изображения заключается в усилении трагического эффекта. С другой стороны, описание душевной жизни Неточки является и самоцелью, поскольку разбираемые главы составляют лишь часть романа, в котором она должна была, вероятно, играть важную роль.

В пятой главе описывается начало дружбы между Неточкой и княжной Катей, которая, видимо, должна была в дальнейшем быть одним из главных действующих лиц. Неточка говорит о ней: «Я нарочно рассказываю так подробно этот эпизод моего детства, первого появления Кати в моей жизни. Наши истории нераздельны, ее роман — мой роман». В этой главе Катя еще ребенок и дело идет о детской дружбе. Центральное место в рассказе занимает сама Катя, ее характер, ее психология. Они опять описаны не непосредственно, а с точки зрения маленькой Неточки, иначе говоря проходят через призму душевной жизни ребенка. Обе девочки совершенно различны, их характер и душевный облик представляют собой полный конт-

раст, и этим усиливается живость и рельефность изображения. Рассматривая эту главу с точки зрения правильности изображения детской психологии, можно найти в ней недостатки — известные отклонения от нормы, м. б. и встречающиеся у детей, здесь значительно преувеличены: истерический надрыв, обостренность чувств, эротическая окраска дружбы между обеими девочками, наконец некоторый садизм, с которым Катя мучает Неточку только потому, что стыдится своих чувств, своей любви к ней — всё это производит почти патологическое впечатление и стоит в противоречии с веселым, безудержным характером Кати. Возможно объяснить это тем, что данный эпизод должен был служить, вероятно, как бы прологом к самому роману, в котором Катя явилась бы уже взрослой девушкой, и была бы первой в ряду тех женских фигур, с которыми мы так часто встречаемся в романах Достоевского: натур гордых, склонных к истеричности, страстных и полных внутренних противоречий.

В шестой главе начинается, повидимому, самый сюжет романа. Вместо Кати появляется ее замужняя сестра, Александра Михайловна. Нам известно только начало этой истории, но контуры ее так четко нарисованы, что позволяют угадать тему, к которой Достоевский часто возвращался впоследствии — это тема кроткой, смиренной, беззащитной женщины, хладнокровно мучимой своим мужем. Это даже не тиранство в строгом смысле слова; внешне муж ласков и приветлив со своей женой, но всегда сохраняет известную дистанцию, всегда серьезен, всегда у него одна и та же задняя мысль, которую он на каждом шагу дает жене почувствовать. В чем заключается эта задняя мысль, что это за тайна, заставляющая Александру Михайловну трепетать перед мужем — об этом мы можем из сохранившихся глав только догадываться. Повидимому у нее в молодости был какой-то роман, скомпрометировавший ее в глазах света, т. ч. выход замуж был для нее выходом из положения, и она таким образом обязана своему мужу. Из того, что дошло до нас, видно, что семейная драма Александры Михайловны развивается в какой-то тесной связи с внутренней жизнью рассказчицы, ставшей за это время взрослой девушкой. Она рассказывает со своей личной точки зрения, сильно подчеркивая собственные переживания и чувства.

Итак, можно предположить, что рассказчица должна была и дальше играть активную роль. Весь роман был повидимому задуман в двух плоскостях — с одной стороны душевная жизнь и драма Неточки, с другой — драмы остальных лиц. Обе плоскости совершенно равноправны, любую из них можно принять за передний или задний план повествования. Благодаря совпадению наиболее трагичных моментов жизни рассказчицы с такими же моментами в жизни других действующих лиц, драматическое действие этих моментов усиливается — это можно сравнить с ролью педали при фортепианной игре. Промежутки между драматическими вершинами заполнены ровным и спокойным содержанием, дающим однако всегда предчувствовать новый подъем драматической кривой. При этом либо спокойные внешние события описываются на фоне душевных страданий рассказчицы, или наоборот, спокойный период в душевной жизни Неточки описан на фоне еще не проявившейся, но уже явно предчувствуемой драмы в жизни других.

Рассматривая ближе этих других, мы в каждом из них увидим раздвоение душевной жизни, внутренние контрасты. У Ефимова самоутверждение, подчеркивание своей гениальности, связано с вытесненным из сознания разочарованием в себе, неверием в свой талант — это обертон, сопровождающий его внутреннюю жизнь. В княжне Кате горячая любовь к Неточке связывается с наружным гордым равнодушием и даже открытыми демонстрациями антипатии. У Александры Михайловны и ее мужа внешние хорошие отношения сопровождаются всегда таинственной задней мыслью, бросающей мрачную тень на всё. Таким образом, все действующие лица живут в двух плоскостях — одна из них лишь обманчивая внешность, другая — задний план — скрытая действительность. Драматический ход действия заключается в постепенном раскрытии этой действительности, этого трагичного заднего фона. Если мы прибавим к этому, что душевная жизнь самой Неточки, через чье посредство мы знакомимся с жизнью других лиц, тоже двойственна, мы увидим, какой сложной системой параллельно проходящих драматических кривых, или, вернее говоря, контрапунктически соединенных голосов, должен бы был быть незаконченный роман.

Был ли в 1848 г. Достоевский уже в состоянии справиться

с такой сложной и трудной задачей, мы не знаем, т. к. роман остался незаконченным, по чисто внешним причинам. Но важно то, что мы здесь впервые находим у молодого писателя специфичную для него технику многоголосого или полифонического романа; это его собственная, своеобразная техника, доведенная им до совершенства в больших романах. Подготовлена она была уже всеми его предшествующими произведениями.

Между арестом и ссылкой, находясь в тюрьме, Достоевский написал несколько повестей, из которых только одна, «Маленький Герой», дошла до нас. Это снова рассказ в первом лице, из детской жизни, и снова мы находим тут две плоскости изображения: на одной из них чувства и переживания мальчика, влюбленного в прекрасную молодую даму, на другой — то, что этот мальчик видит, отрывок из драмы замужней женщины, которая должна расстаться со своим возлюбленным, и должна при этом сохранять в обществе маску беззаботной веселости. Вновь встречаем мы здесь уже знакомый нам образ внешне приветливого и ласкового, но несимпатичного и холодного мужа, наводящего на свою жену трепет. Другими словами, всё это мотивы, уже известные нам из Нечотки Незвановой. Оттуда же взят и прием изображения трагедии взрослых людей через призму души ребенка, горящего любовью к одному из этих взрослых. Но тон рассказа и стиль изложения иные, в них больше сентиментальности и светскости. Всё происходит в очень хорошем, элегантном обществе, на фоне светских развлечений — полный контраст к мансардной обстановке истории Ефимова в «Нечотке Незвановой».

«Маленький Герой» был последним произведением Достоевского перед ссылкой. За ним последовало десять лет молчания. Таким образом «Маленький Герой» заканчивает собой первый период творчества Достоевского.

\* \* \*

Первый период творчества Достоевского характеризуется двумя основными чертами: борьбой с влиянием Гоголя и выработкой тех художественных приемов, которые впоследствии нашли себе применение в больших романах. Эти черты характерны для каждого начинающего писателя. Каждый связан с какой-нибудь литературной традицией, и чем он моложе, тем

сильнее в нем зависимость от его литературных образцов. Если писатель обладает сильно-выраженной творческой индивидуальностью, он старается освободиться от этой зависимости, и в своем творчестве ведет непрестанную борьбу против влияющего на него образца. С другой стороны, молодые годы писателя, это — годы ученья, когда пробуются и устанавливаются художественные приемы, характерные для всего дальнейшего его творчества, т. к. число приемов, которыми может пользоваться писатель, не безгранично, и в зрелые годы переучиваться уже трудно. Не только писатель, но и каждый человек усваивает себе в молодости известные знания, манеры и навыки, которыми пользуется затем в течение всей своей жизни.

Традиции, с которыми был связан молодой Достоевский, как мы уже упоминали, были сентиментализм и натурализм. Сентиментальная традиция особенно сильно проявляется в «Бедных Людях», «Белых Ночах», во многих мелких рассказах первого периода; мы ее встречаем и в «Неточке Незвановой» (история одинокой сироты, девочки, излюбленная тема сентиментальных романов). Мы уже указывали, что эта традиция для Достоевского была анонимной. Здесь дело шло не о влиянии определенных писателей, а о влиянии всей сентиментальной традиции вообще, которая к тому времени была представлена и в России, и в Европе, большим количеством второ- и третьестепенных писателей, слившихся в общую, недифференцированную массу. Достоевскому в голову не приходило с этой традицией бороться; он не принимал ее всю в целом, без критики, а лишь усвоил себе некоторые из ее мотивов и приемов. И т. к. последние были изолированы из своего обычного контекста, они часто приобретали у Достоевского (как, например, в «Бедных Людях») совершенно новый и своеобразный вид.

Совсем иначе обстояло дело с натурализмом и традицией Гоголя. Здесь было не безличное литературное направление, а связанное с именем и личностью определенного писателя. Влияние натуралистических рассказов Гоголя мы могли бы установить и в «Бедных Людях», и в «Двойнике», и в ряде мелких рассказов; в «Хозяйке» мы видели влияние фантастически-романтических творений Гоголя и в «Неточке Незвановой», в первых главах, тоже: — история Ефимова несомненно связана с «Портретом». Для Достоевского таким образом вопрос был не

в освобождении от натурализма, как такового, а об освобождении от **влияния Гоголя**, во всех его художественных аспектах.

Гоголя нельзя целиком подвести под рубрику натурализма или романтизма — он слишком крупная и своеобразная творческая личность. Он остается самим собой и в романтических повестях из украинской истории, и в своих натуралистических, или так называемых «реалистических» рассказах из жизни петербургских чиновников, или из жизни провинции. (Мы говорим «так называемые», ибо название «реалистические» менее всего применимо к творениям Гоголя, хотя официальное русское литературоведение и называло Гоголя «реалистом».) Самая характерная его черта, на самом деле, живописное преувеличение. В украинских повестях эта черта мотивируется стилизацией, местным колоритом, фантастикой, а в рассказах из провинциальной или чиновничьей жизни преувеличение мотивируется комическим эффектом. Но какова бы ни была мотивировка, Гоголь никогда не описывает живых, реальных людей, с обыкновенными человеческими чувствами и мыслями, а показывает читателю маски и куклы. Всё, что они говорят или делают, безмерное преувеличение того, что говорят или делают обыкновенные, реальные люди. Так же гиперболизирована и природа — она является только декорацией, внешним окружением сцены, на которой выступают марионетки, а потому у Гоголя природа всегда изображена в известном соответствии с характерами выступающих на сцене персонажей. И не только природа, но и все второстепенные действующие лица. Напр. в «Мертвых Душах» герой, Чичиков, разъезжая из одного имения в другое, встречается с помещиками, представляющими собой каждый воплощение одного какого-нибудь свойства, и только одного: Плюшкин — скупости, Собакевич — грубости, Манилов — притворной любезности и лицемерия, Петух — обжорства и т. д. Не только сам помещик является носителем своего характерного качества, но и все члены его семьи, прислуга, окрестные крестьяне, помещичий дом, сама природа — всё описано так, что служит как бы резонатором, усиливающим и подчеркивающим это основное свойство. Манера изображения у Гоголя всегда субъективна, гораздо более чем у всех современных ему писателей. Образы Гоголя обладают

чрезвычайной рельефностью, но именно благодаря этому субъективность изображения особенно бросается в глаза. У читателя создается впечатление, будто они живут, и движутся (так они рельефны), но вместе с тем он всё время чувствует в них преувеличение и односторонность именно потому, что это не живые люди, а произвольно созданные фантазией фигуры. Поэтому-то Гоголю было всегда так легко сочетать свои будто бы «реалистические» образы с фантастическими существами или сверхъестественными происшествиями. И поэтому же в сущности нет никакого противоречия между натуралистическими и фантастическими произведениями Гоголя.

Творчество Гоголя было тем фоном, на котором развертывалась литературная деятельность начинающего Достоевского. Уже при разборе «Бедных Людей» видно, что молодой писатель старался прежде всего бороться именно с этой субъективностью изображения. Художественный образ, призванный к жизни фантазией писателя, должен был, по представлению Достоевского, действительно жить, а для этого существенны не только черты лица, телесные свойства, жесты и манеры, но прежде всего мысли и чувства. Те и другие у каждого живого человека всегда сложны: человек никогда не является воплощением одного душевного свойства, он всегда представляет собой сложный комплекс разнообразных, часто противоречащих друг-другу чувств и мыслей. Этого как раз недоставало образам Гоголя. Вполне ли сознательно уяснял себе всё это Достоевский в то время сказать трудно, но во всяком случае он боролся именно с марionетностью, со стилизацией, и средством для этой борьбы он выбрал подход к изображаемому человеку не снаружи, а изнутри. Достоевский переносится внутрь какой-нибудь изображаемой Гоголем фигуры, смотрит на мир и на жизнь ее глазами, описывает ее душевную жизнь в непосредственной близости. Это видно в «Бедных Людях», в «Двойнике», в «Хозяйке». Мы видим также, что Достоевский порывает с системой переноса романтического сюжета в старые времена или географически отдаленные места, как это делал Гоголь, вероятно видя в таком переносе действия только внешнее средство для достижения романтического эффекта. Ему хотелось показать, что фантастическую историю можно изобразить происходящей в современности и в самом Петербурге;

для этого достаточно применить метод изображения в двух плоскостях и психологически мотивировать фантастику, дав ее с точки зрения больного, бредящего, далекого от жизни человека. В истории Ефимова мы видим полемику Достоевского против слишком простого, банального, чисто-внешнего изображения драмы художника, которое дал Гоголь в «Портрете».

Во всех случаях, где Достоевский явно выступает против Гоголя, он всегда восстает против бездушности его действующих лиц, или, вернее, против слепоты их творца, не видящего — или недостаточно глубоко видящего — душевной жизни созданных им самим образов. Таким образом, отношение молодого Достоевского к Гоголю было двойственным. С одной стороны, его привлекала художественная сила великого писателя, он восхищался искусством, с которым Гоголь создавал свои рельефные образы, придавая им своеобразную жизнь. С другой стороны его совершенно не удовлетворяло изображение душевной жизни этих образов. Недовольство этим создавало в нем потребность самому сделать лучше, дополнить то, чего недоставало Гоголю, и от этого шла постоянная художественная полемика против него. Эта полемика, это желание написать лучше Гоголя, было одной из главных движущих сил в творчестве молодого писателя. Мы уже видели что такая постоянная связь Достоевского с Гоголем очень вредила ему в глазах современной ему публики и критики, которые воспринимали творчество молодого писателя как простое подражание («Двойник», «Хозяйка»). Самое существенное в нем, очеловечение бездушных фигур Гоголя, осталось незамеченным. Для нас же теперь видно, что **преодоление** Гоголя было основным фактором первого периода литературной деятельности молодого писателя.

Что касается художественных приемов, выработанных Достоевским в ранних произведениях, то все они находятся в связи с этим основным фактором — борьбой против бездушия гоголевских образов. Метод наблюдения в непосредственной близости, проникновения внутрь изображаемого лица, логически вели к превращению объекта изображения в субъект и к полному исключению личной точки зрения, личного отношения автора. Это так же логически приводило к созданию неразрешимых загадок т. е. к такой технике изображения, при которой

ни писатель, ни читатель не знают настоящей разгадки, и весь интерес произведения заключается как-раз в гадании и искании правильного ответа. Неразрешимость загадки является прямым следствием существования двух равноправных точек зрения, с исключением третьей, «объективной». В свою очередь, всё это лишь одно из проявлений более общего психологического явления — двойственности, или наличия двух разных плоскостей, на которых разыгрывается действие. С самого начала Достоевский упражняется в изображении внутренне-раздвоенной психики: уже у Макара Деушкина есть борющиеся друг с другом, вытесняющие друг друга душевные движения и чувства; у Голядкина это превращается в душевную болезнь, тогда как у всех остальных героев юношеских произведений писателя раздвоенность является нормальным состоянием. Эта раздвоенность душевной жизни, при которой основная внутренняя мысль, сопряженная с мыслями и чувствами как будто совершенно ей противоположными, всё же от времени до времени проступает сквозь них. Это и составляет главное «открытие» Достоевского. Это то, что придает его образам особую психологическую убедительность и резко отличает их от образов Гоголя. Раздвоенности душевной жизни соответствует вовне раздвоенность диалога — игра неискренних, высказанных и настоящих, невысказанных мыслей. Этот прием выступает особенно ясно в юмористических рассказах о ревнивом муже, но также и в более серьезном «Честном Воре» (где двойственность выражена уже в самом заглавии). Наслоение разнородных переживаний создает двойственность, поскольку оно происходит в пределах одной индивидуальной души. Но эти разнородные переживания могут также быть распределены между разными личностями, и тогда получается то, что мы видели в «Маленьком Герое» и «Неточке Незвановой»: изображение душевной драмы одного человека с точки зрения другого, переживающего в то же время другую, свою собственную драму.

Особое внимание, уделяемое молодым Достоевским душевной жизни, имело следствием перенос центра тяжести с внешнего на внутреннее, пренебрежение внешностью создаваемых образов. Зрительный момент оттесняется возможно дальше. Особенно заметна эта черта в юмористических рассказах, но

в большей или меньшей степени мы находим ее во всех произведениях юношеского периода. Внешность героев или вовсе не описывается, или описывается шаблонно, в выражениях, к которым читатель привык из бесчисленного количества других произведений и которые поэтому не оставляют никакого впечатления. Это — полная противоположность Гоголю.

Художественные приемы проявляются всего яснее на определенном, подходящем для них материале. Есть известные положения, известные типы людей, которые подходят к одним приемам, другие — к другим. Поэтому молодой Достоевский создал определенные мотивы и типы, к которым его приемы особенно применимы, и которые по этой причине перешли впоследствии и в произведения периода зрелости.

Далекий от жизни мечтатель «Белых Ночей» и Ордын в «Хозяйке» — образ, играющий впоследствии очень большую роль у Достоевского, именно потому, что в нем душевная жизнь выступает в наиболее чистом виде, а конфликт между сном и действительностью служит хорошим опорным пунктом для драматического развития действия. Истерическая женщина, полная противоречий, действия которой кажутся совершенно неожиданными и непредвиденными, — образ, впервые данный в княжне Кате и затем постоянно повторяющийся в творениях писателя, тоже типичен для психологической техники Достоевского, с ее установкой на душевную раздвоенность. Но и многие другие фигуры, появляющиеся в произведениях зрелого периода, мы уже находим в зачаточной, рудиментарной форме в творчестве юношеского периода.

Так, Достоевский вышел из первого периода своей литературной деятельности с целым арсеналом приемов и методов, мотивов и фигур, в которых проявлялась его ярко выраженная творческая личность и которые стали строительным материалом при создании больших романов.

Десятилетний перерыв в литературной деятельности, совпавший с годами каторги и ссылки, отделяет ранний период творчества от дальнейших. За этим перерывом не сразу наступил период зрелости, прошли сперва еще несколько переходных лет.

*Н. С. Трубецкой*

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

За последнее время «Новый Журнал» потерял двух своих постоянных и очень ценных сотрудников: 26-го августа 1964 г. в Париже скончался Николай Владиславович Вольский (Валентинов) и 29 декабря в Брюсселе — Юрий Петрович Денике.

### Н. В. ВОЛЬСКИЙ

Экономист, публицист, автор философских и социологических работ, Николай Владиславович Вольский был блестящим писателем и широко образованным человеком. Он родился в г. Моршанске 7 мая 1879 года в помещичьей семье. Отец его был уездным предводителем дворянства, мать (урожденная Рымарева) происходила из богатой помещичьей семьи. Свое детство и юность Н. В. провел в имении родителей «Подъем», и эту жизнь в имении вспоминал всегда лирически, с большой теплотой. Но уже в юности, еще на студенческой скамье, в Петербурге, где он поступил сначала в Горный Институт, а потом перешел в Технологический, Н. В. быстро вошел в революционное движение. Под влиянием проф. М. И. Туган-Барановского (после кратковременного увлечения народничеством) Н. В. становится марксистом. И данный ему от природы страстный темперамент увлекает его вскоре на самый край русского марксизма — он делается большевиком. После тюрьмы и ссылки в Уфу, Н. В. работает в подполье в Киеве. В 1903 году он встретил и полюбил свою будущую жену, верного друга всей его жизни — Валентину Николаевну (тоже девушку из русской помещичьей семьи).

В 1904 году, чтоб избежать нового ареста, Н. В. бежит за границу и здесь, в Женеве, близко сходитя с В. И. Лениным. Об этом периоде Н. В. оставил нам замечательную книгу, без сомнения лучшую из всех воспоминаний о Ленине — «Встречи с Лениным» (Изд-во имени Чехова, Нью Йорк, 1953). Эта кни-

га, развенчивая сусальный облик «народолюбца Ильича», настолько ярка и настолько правдиво и убедительно вводит в самую глубину лаборатории «ленинизма», что ее не смогла обойти даже советская печать. О «Встречах с Лениным» были статьи в «Вопросах философии», в «Истории СССР», в «Вопросах литературы», в «Комсомольской Правде». Недавно эта книга Н. В. вышла на французском языке в Париже.

Но связь с Лениным у Н. В. длилась недолго. Духовная независимость, потребность мыслить по-своему, а не по Ильичу, быстро привели к разрыву Н. В. с Лениным и с большевиками. В 1905 году он был уже меньшевиком. В эти годы он выпустил несколько книжек — «Философские построения марксизма», «Мах и марксизм» и другие. Эти брошюры вызвали яростную критику со стороны Ленина и его товарищей. Но и в меньшевистском движении Н. В. оставался недолго. Он был не из тех людей, которые удобны партии. Н. В. слишком ценил свою независимость. И вскоре Н. В. ушел от меньшевиков, до конца жизни оставшись беспартийным социалистом.

В дальнейшие годы Н. В. сотрудничал во многих прогрессивных русских газетах и журналах, а вскоре стал фактическим редактором самой распространенной газеты в России — сытинского «Русского Слова». Официальным редактором был Влас Дорошевич, но делами газеты он занимался мало, часто уезжал за границу. И вся работа редактора фактически была на помощнике редактора — Н. В. Вольском. На этом посту Н. В. оставался почти до первой мировой войны.

При большевиках, во время НЭПа, Н. В. был приглашен в «Торгово-промышленную газету» — орган ВСНХ, которую фактически редактировал несколько лет. В 1928 году был командирован за границу. И в том же году покинул занимаемую им в парижском торгпредстве должность, перейдя на положение эмигранта. В эмигрантской печати Н. В. много писал: в «Современных Записках», в «Последних Новостях», в «Новой России», в «Новом Журнале», в «Народной Правде», в «Социалистическом Вестнике», в «Новом Русском Слове», в «Русской Мысли» и в др. Одни статьи он подписывал своим старым псевдонимом Н. Валентинов, другие — Е. Юрьевский.

За годы последней войны, которые Н. В. и Валентина Николаевна тяжело пережили в Париже, Н. В. написал ряд иск-

лючительно ценных рукописей. Отметим прежде всего его два труда, многие отрывки из которых печатались в «Новом Журнале». Это — «Ранний Ленин», ценная работа, во многом разоблачающая всяческое вранье о Ленине в советской печати. И — «Символисты». Это воспоминания о многолетних встречах с поэтами символистами: В. Брюсовым, Андреем Белым, Эллисом и другими. Для истории русского символизма это ценная работа. Особенно, воспоминания о Белом, с которым Н. В. долго дружил, несмотря на полную разность душ и духа.

После войны, в Мюнхене, вышла интереснейшая книга Н. В. — «Доктрина правого коммунизма». А в Восточно-Европейском Архиве при Колумбийском Университете в Нью Йорке хранятся еще многие рукописи Н. В. Было бы чрезвычайно важно, чтобы за границей вышли хотя бы две книги Н. В. — «Ранний Ленин» и «Символисты».

Глубоко скорбя о кончине Николая Владиславовича, редакция «Нового Журнала» приносит свое искреннее соболезнование Валентине Николаевне в постигшем ее горе.

#### Ю. П. ДЕНИКЕ

Юрий Петрович Денике был волгарь, родился в Казани в 1887 г. Фамилию свою он носил случайно. Отцом его был известный в то время казанский помещик Осокин, мать — урожденная Глинка, но из-за каких-то жизненных препятствий Ю. П. и его два брата носили чужую фамилию — Денике. Свое детство Ю. П. провел в уездных городах Казанской губернии. Потом учился в казанской гимназии, которую окончил в 1905 году. Еще на гимназической скамье Ю. П. вступил в социал-демократическую организацию, в которой и оставался всю свою жизнь. Сначала (один год) он был большевиком, встречался (мельком) с Лениным и хорошо знал «малых богов» Бухарина, Луначарского, Молотова и «еретиков» — Богданова и Базарова. Но уже в 1906 году Ю. П. порвал с большевиками, став на всю жизнь меньшевиком.

В революции 1905 года Ю. П. участвовал активно, в Петербурге. После этого некоторое время он не мог поступить в университет из-за отсутствия, так называемого, свидетельства о благонадежности. Тем не менее позднее он поступил в Московский университет на историческое отделение историко-фи-

дологического факультета. И пробыв там три года, на последний год вернулся в Казань, где и окончил Казанский университет в 1915 году, при чем был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Но научная работа Ю. П. была прервана революцией 1917 года, в которой он опять-таки весьма активно участвовал, как меньшевик, будучи одно время секретарем редакции меньшевистской газеты «Известия Казанского Совета», проводившей умеренно-социалистическую линию.

В 1920 году, благодаря оценке научных работ Ю. П., он стал профессором Московского университета по кафедре истории или точнее — исторической социологии. Курс, который он читал, назывался «Происхождение и развитие общественных форм». В 1922 году Ю. П. получил командировку за границу, где получил работу в советском полпредстве в Берлине. Но довольно скоро Ю. П. порвал с полпредством и перешел на положение эмигранта, примкнув к социал-демократической группе, издававшей в Берлине «Социалистический Вестник».

Превосходно владея немецким языком, Ю. П. в это время стал работать главным образом в немецкой социал-демократической печати и в немецкой партийной организации. За это в 1933 году при приходе Гитлера Ю. П. подвергся аресту, но ему вскоре удалось выбраться из тюрьмы и он сначала переехал в Саарскую область, где продолжал работу вместе с социал-демократами немцами. А потом переехал в Париж, где занимался литературной, публицистической деятельностью.

В 1941 году Ю. П. переехал в Америку. Здесь он занялся исследовательской работой, преимущественно по разработке немецких документов, захваченных американской армией в Германии. Кроме того Ю. П. постоянно сотрудничал в русских эмигрантских журналах — в «Социалистическом Вестнике», в «Новом Журнале», в «Народной Правде», в «Русской Мысли». Сотрудничал он и в американской печати. Был также долготетним сотрудником радио-станции «Свобода».

В лице Ю. П. «Новый Журнал» потерял ценного сотрудника, широко образованного публициста.

*Р. Г.*

# БИБЛИОГРАФИЯ

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ И ГУМИЛЕВ  
«НЕИЗВЕСТНАЯ» СТАТЬЯ АННЕНСКОГО

*Публикация и комментарий Г. П. Струве*

О преклонении Гумилева перед Иннокентием Анненским хорошо известно. Оно выразилось в его стихотворении «Памяти И. Ф. Анненского», напечатанном в «Аполлоне» в 1912 г., но написанном еще в 1911 г. — ко второй годовщине смерти поэта. В этом стихотворении Гумилев называл Анненского «последним из царскосельских лебедей», а его музу — «последней музой Царского Села», а также вспоминал о своих посещениях его:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,  
Входил в высокий кабинет,  
Где ждал меня спокойный и учтивый,  
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,  
Как бы случайно уроня,  
Он вбрасывал в пространства безымянных  
Мечтаний — слабого меня.

Как критик, Гумилев дважды высказывался о поэзии И. Ф. Анненского — оба раза вскоре после смерти поэта, в «Аполлоне» в 1910 г.: в статье «Жизнь стиха» и в отзыве о «Кипарисовом ларце». Указывая, что Анненский стоял в стороне от русских символистов, но что у него с ними были общие учителя — французские поэты, Гумилев писал: «Но только теперь, когда поэзия завоевала право быть живой и развиваться, искатели новых путей на своем знамени должны написать имя Анненского, как нашего 'завтра'». Гумилев отмечал в поэзии Анненского «гармоническое равновесие между образом и формой», остро-новый и неожиданный круг идей и «интонации голоса до него неизвестные в поэзии» (при этом он сближал Анненского с Малларме). Упомянув о недавней смерти Анненского (статья Гумилева не была некрологом — некрологи Анненского, написанные Вячеславом Ивановым и Ф. Ф. Зелинским, были уже до того напечатаны в журнале), Гумилев заканчивал свою статью так: «И

теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов».

Еще раньше, при жизни Анненского, в отзыве об его «Второй книге отражений» (куда вошли критические этюды о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Достоевском, Шекспире, Ибсене, Гейне и других писателях) Гумилев писал: «В книгах Анненского особенно радует редкая, чисто европейская дисциплина ума» и дальше: «Он всегда поэт, и каждая страница его книги обжигает душу подлинным огнем».

Но как относился Анненский к Гумилеву и каковы были их личные отношения? На этот счет высказывались разноречивые мнения.

В одной из своих статей о Гумилеве покойный Н. А. Оцуп, учившийся, как и Гумилев, в царскосельской гимназии, директором которой много лет был Анненский, но бывший на восемь лет моложе Гумилева, вспоминает то, что он слышал об Анненском и Гумилеве, когда стал репетитором в семье Хмара-Борщевских, то-есть, очевидно, в семье пасынка Анненского — последний был женат на Хмара-Борщевской. Оцуп пишет, что, по рассказам Хмара-Борщевских, Анненский еще за шесть лет до своей смерти «с вниманием следил за первыми литературными шагами Гумилева». Среди поэтов-царскосельцев Гумилева ценили не очень высоко, ему предпочитали и ставили в пример Дмитрия Коковцева и, похваливая, говорили: «Вот Коковцев уже сейчас настоящий поэт, а вы работайте, может быть, что-нибудь и выйдет». Оцуп дальше пишет: «Гумилев работал, ходил к Анненскому, и постепенно последнему стало ясно, что он имеет дело с подлинным поэтом». Анненский, правда, — прибавляет Оцуп, — любил стихи Анны Горенко (Ахматовой, будущей жены Гумилева) больше, чем стихи самого Гумилева, «но с необычайной прозорливостью предвидел, что Гумилев пойдет по пути Брюсова успешнее, чем сам Брюсов», чего, конечно, — говорит дальше Оцуп, — «никто из ослепленных тогда великолепиям брюсовской славы не думал» (см. в книге «Современники», Париж 1961, стр. 25).

В другой своей статье о Гумилеве, вошедшей в книгу «Литературные очерки», Оцуп касался литературных отношений между двумя поэтами. Он писал: «Из поэтов, современников Анненского, Гумилев, кажется, первый понял его значение. Анненский тоже отнесся к нему хорошо». Но Оцуп оговаривал, что Гумилев «музы Анненского боялся и был прав», ибо «для мужественной цельности автора 'Колчана' у автора 'Кипарисового ларца' слишком сильна обманчивая двойственность, разрушительная приблизительность» (стр. 24-25).

Замечания Н. А. Оцупа об отношениях между Анненским и Гумилевым вызвали сомнения и возражения у покойного С. К. Маковского, который познакомился с Гумилевым в январе 1909 г., а с Ан-

ненским вскоре после того. До декабря того же года всех троих связывала совместная работа сначала по подготовке, а потом по редактированию журнала «Аполлон», основанного Маковским совместно с М. К. Ушковым. Воспоминания Маковского о Гумилеве дошли до нас в двух версиях. Первая версия была напечатана в книге «На Парнасе Серебряного Века», вышедшей в Мюнхене в 1962 г., незадолго до смерти автора. Во время их первой встречи на одной художественной выставке Гумилев, по словам Маковского, восторженно говорил об Иннокентии Анненском, который незадолго до того выпустил свои «Тихие песни» (под псевдонимом Ник. Т-о). Маковский писал: «Гумилев бывал у него, помнил наизусть строфы из ‘триптихов’ ‘Кипарисового ларца’, с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески-пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского и предложил повезти меня к нему в Царское Село» (стр. 198). Этот визит к Анненскому повел к созданию «Аполлона». Гумилев и его друзья, среди которых Маковский называет М. А. Кузмина, А. Н. Толстого и С. А. Ауслендера, составили кружок, который секретарь «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровский (приобретший известность и как историк театра и как шахматист) прозвал впоследствии «молодой редакцией» журнала — по аналогии со знаменитой «молодой редакцией» «Москвитянина».

В этой первой версии своих воспоминаний Маковский в полемику с Оцупом не вступал. Вторая версия (не совсем ясно, более поздняя или, наоборот, более ранняя, но более пространная) появилась уже посмертно — в кн. 77-й «Нового Журнала» (1964), а до того была как будто напечатана где-то по-французски.<sup>1</sup> Тут Маковский прямо выражает сомнение в правильности того, что писал Оцуп об отношениях между Гумилевым и Анненским: воспоминания Оцупа кажутся ему «наивно приукрашенными», и он подчеркивает, что автору их в 1903 г. было «всего девять лет от роду».

Дальше Маковский пишет: «Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, чтобы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха ‘непосвященного’ и особенно удрученный тогда службой, своим ‘постылым’ и ‘тягостным’ делом, как он жаловался в письме к кому-то из друзей, находил время для ничем еще своего таланта не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование, ‘с вниманием следил за его первыми литературными трудами’ и убеждался постепенно, ‘что он имеет дело с подлинным поэтом’. Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он на них особое внимание. В первый сборник

<sup>1</sup> Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Vol. III. Avril-Juin, Paris. 1962. Прим. ред.

‘Путь конквистадоров’ Николай Степанович поместил лучшие из своих гимназических строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненского, хоть и сквозят они переводами Бодлэра, Анри де Ренье, Верлена и др.<sup>2</sup> Впоследствии Гумилев не включал эти ‘пробы пера’ в свои сборники». Конечно, Маковский имеет здесь в виду главным образом период между 1903 и 1908 гг., но то, что он говорит об отношении Анненского к стихам Гумилева он, очевидно, распространяет и на второй сборник его, «Романтические цветы», который сам он нашел «довольно слабым, даже для ранней книжки».

Рецензируя в «Русской Мысли» (14 ноября 1964) 77-ую книгу «Нового Журнала», Ю. К. Терапиано не соглашался с возражениями Маковского Оцупу и писал, что он не думает, «чтобы Оцуп ошибался, говоря, что Иннокентий Анненский почувствовал еще в совсем молодом Гумилеве-гимназисте будущего поэта».

Вопрос о личной близости Гумилева к Анненскому — вернее о степени этой близости — следует оставить открытым. Мы еще недостаточно знаем об их отношениях; в будущем на них могут пролить свет воспоминания А. А. Ахматовой, если она их напишет. Самый факт их близости, однако, несомненен. Ю. К. Терапиано (в уже упомянутой статье) прав, что об этой близости достаточно свидетельствует цитированное выше стихотворение Гумилева, причем в нем Гумилев явно говорит об очень раннем — вероятно, еще гимназическом — периоде своей жизни. Что Гумилев был вхож в дом Анненского, не только признавал, но и подчеркивал сам Маковский. Ведь именно Гумилев познакомил Маковского с Анненским. Более близкое знакомство Гумилева с Анненским началось, по всей вероятности, в последние два-три года учения Гумилева в царскоесельской гимназии, когда он вернулся из Тифлиса после двухлетнего пребывания там и когда Анненский еще оставался директором гимназии (Гумилев окончил гимназию в 1906 г. — тогда же, когда Анненский вышел в отставку). Знакомство несомненно продолжалось — и близость должна была увеличиться — после возвращения Гумилева из Парижа в 1908 году. О том, что Анненский положительно оценил стихи молодого поэта до сих пор было известно только из беглого — но безусловно положительного — замечания Анненского в его известной статье «О современном лиризме: Они», напечатанной в 1909 г. в «Аполлоне».<sup>3</sup> Но и те, кто изучал биографию и творчество Анненского, и те,

<sup>2</sup> Переводов в «Пути конквистадоров» нет. Может быть, у Маковского здесь опечатка — вместо «перепевами». — Г. С.

<sup>3</sup> Заслуживает быть отмеченным также тот факт, что Анненский посвятил Гумилеву одно из своих самых характерных и замечательных стихотворений — «Баллада» (День был ранний и молочно парный...).

кто специально занимался Гумилевым, как тот же Н. А. Оцуп, написавший о нем диссертацию для Сорбонны, прошли мимо более раннего и гораздо более пространного и интересного высказывания Анненского о Гумилеве, которое начисто опровергает сомнения покойного С. К. Маковского в интересе Анненского к поэзии молодого Гумилева, скептически воспринятой самим Маковским. Я говорю о никем незамеченной и Анненскому нигде не приписываемой статье его о «Романтических цветах», появившейся в газете «Речь» от 15 декабря 1908 г. (№ 308). Статья эта не упоминается ни в двух советских изданиях Анненского (в малой серии «Библиотеки поэта» в 1940 г. и в более полном издании в большой серии 1959 г.), ни в недавнем библиографическом указателе К. Д. Муратовой, ни в единственной пока монографии об Анненском (на английском языке) проф. В. М. Сечкарева.<sup>4</sup> Я наткнулся на эту статью не так давно, просматривая старые газеты в поисках разбросанных по ним произведений Гумилева (мало кому известно, например, что до возникновения «Аполлона» Гумилев напечатал в «Речи» ряд интересных литературно-критических статей и заметок).<sup>5</sup>

Статья Анненского, печатаемая нами целиком ниже, напечатана первой в отделе «Литературная неделя», появлявшемся в «Речи» по понедельникам, и подписана инициалами «И. А.» Хотя он, повидимому, обычно так не подписывался (такая подпись не зарегистрирована по крайней мере в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова, где указывается, например, подпись «И. Ан-ский»), принадлежность статьи Анненскому представляется несомненной.<sup>6</sup> Об этом свидетельствуют некоторые особенности стиля, некоторые словечки (например, «звукочветности»). Но есть в статье и более осязательное доказательство авторства Анненского. Говоря о «дьяволе» в поэзии Гумилева, дьяволе «не Карамазовском, а совсем другом», Анненский пишет, что дьявола этого давно знает Париж, что он — «создание городской фантазии, мечта Мансарды и Буль-Миша», что он был «се bohème ricanant M. Роллинá» и что о нем «плакала еще недавно и Верленовская шарманка». Здесь Анненский выдает себя с головой, и странно, что никто из писавших о нем и о Гумилеве не обратил внимания на

<sup>4</sup> *Studies in the Life and Work of Innokentij Annenskij. The Hague, 1963.*

<sup>5</sup> Эти статьи и заметки не вошли в изданный покойным Г. В. Ивановым сборник литературно-критических статей Гумилева «Письма о русской поэзии». Они войдут в последний (четвертый) том, выходящего сейчас под редакцией моей и Б. А. Филиппова, «Собрания сочинений» Гумилева.

<sup>6</sup> В личном разговоре со мной проф. Сечкарев всецело поддержал мое мнение о принадлежности статьи Анненскому.

эту статью: «bohème ricanant» фигурирует в стихотворении Мориса Роллинá (1846-1903), ныне забытого, но весьма характерного представителя французского символизма, близкого к «проклятым». Это стихотворение («Un Bohème») Анненский перевел под заглавием «Богема», и оно вошло в «Тихие песни». <sup>7</sup> «Ухмыляющийся богема» упоминается только в предпоследней строке стихотворения, но мы приведем последнее целиком:

Последний мой приют — сей пошлый макадам,  
Где столько лет влачу я старые мозоли  
В безумных поисках моей пропавшей доли,  
А голод, как клевет, за мною по пятам.

Твоих, о Вавилон, вертепов блеск и гам  
Коробку старую мою не дразнят боле!  
Душа там скорчилась от голода и боли,  
И черви бледные гнездятся, верно, там.

Я призрак, зябнувший в зловонии отребий,  
С которыми сравнивал меня завидный жребий,  
И даже псов бежит передо мной орда;

Я струпьями покрыт, я стар, я гнил, я — парий.  
Но ухмыляюсь я презрительно, когда  
Помыслю, что ни с кем не хаживал я в паре.

Статья Анненского несомненно свидетельствует и о знакомстве его с поэзией Гумилева, и об интересе его к ней. Есть все основания думать, что в течение следующего года — последнего года своей жизни — Анненский продолжал следить за творчеством молодого поэта и, вероятно, знал значительную часть стихов Гумилева, которые вошли в третью книгу поэта («Жемчуга»), принесшую ему широкую известность. Хотя в статье нет никаких особенно хвалебных эпитетов, думается, что ●цуп был прав, считая, что Анненский признал в Гумилеве «подлинного поэта». Тот факт, что Анненский подписал статью инициалами, вследствие чего она как будто осталась неузнанной (иначе трудно понять ее «незамеченность»), следует, вероятно, объяснить именно их близкими личными отношениями и самым характером этих отношений.

Другое дело — поэтическая близость обоих поэтов. Несмотря на преклонение Гумилева перед Анненским-поэтом, несмотря на то, что акмеисты и их последователи даже смотрели на него, как на своего

<sup>7</sup> Анненский перевел еще три других стихотворения Роллинá. Имеются, если не ошибаюсь, переводы из Роллинá и в брюсовской антологии французских поэтов.

учителя, между Гумилевым и Анненским, как поэтами, очень мало общего, и от акмеизма Анненский очень далек. Разумеется, Анненский оказал какое-то влияние на Гумилева. По всей вероятности, именно он познакомил его с французскими поэтами. Но и тут показательно, что, тогда как Анненский влекся к таким поэтам, как Верлен, Рэмбо, Малларме, Лафорг, или тот же Роллинá, в меньшей степени Леконт де Лиль, которого и Гумилев любил и ценил, последний восхищался (во всяком случае в дореволюционный период) «великим Тео», как он однажды назвал Теофиля Готье, который Анненского должен был оставлять холодным (переводов из Готье мы у него не находим). Но сравнительный анализ Анненского и Гумилева не входит в задачу настоящей заметки.

*Глеб Струве*

### О РОМАНТИЧЕСКИХ ЦВЕТАХ

*Н. ГУМИЛЕВ. РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ. Стихи, Париж, 1908.*

В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием.

В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, другую Ариадной? Р о м а н т и ч е с к и е цветы — это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что собственно оно значит. Но, несколько тусклое, как символ, оно красиво, как звучность, — и с меня довольно.

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка, Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка — и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленоватый глоток.

Лучшим комментарием к книжке служит слово П а р и ж на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем...

Юный маг в пурпуровом хитоне  
 Говорил нездешние слова,  
 Перед ней, царицей беззаконий,  
 Расточал рубины волшебства.

А когда на изумрудах Нила  
 Месяц закатился и поплёк,  
 Бледная царица уронила  
 Для него алеющий цветок.

В этих словах не один искусный подбор звукоцветностей, в них есть и своеобразная красота, только она боится солнечных лучей... Ее надо рассматривать при свете и даже запахе от уличного «bes Auer». Днем черты экзотической царицы кажутся у спящей точно снятыми, да и у мага по лицу бродят синеватые тени. Но вчера в *café concert* они оба были положительно красивы, размалеванные.

Никакого тут нет ни древнего востока, ни тысячелетнего тумана: бульвар, *bes Auer*, кусок еще влажного от дождя асфальта перед кафе — вот и вся декорация «ассирийского романа».

Не ушли стихи Н. Гумилева и от дьявола, конечно. Только у Н. Гумилева это, к счастью, не Карамазовский дьявол, а совсем другой.

Но что же из всего этого? Мы слишком серьезны. Нам нужно во что бы то ни стало, чтобы дьявол вышел и в стихах именно такой, каким он снился аскетам после голода и самобичеваний. Но Париж ведь не со вчерашнего дня знает и другого дьявола, этот дьявол — создание городской фантазии, мечта Мансарды и Буль-Миша; это он был *se bohème ricanant M. Роллинá*, и не о нем ли плакала еще недавно и Верленовская шарманка? Что же? Разве этот дьявол не может быть красив? Вам смешна великая любовь дьявола, и что он дьявол, и что он плавал (здесь — за магнитом Ф. Сологуба, кажется) — напрасно. В бульварном дьяволе, может быть, есть абрис будущего...

Почему «мореплаватель Павзаний» и «император Каракалла» должны быть непременно историческими картинками? Для меня довольно, если в красивых ритмах, в нарядных словах, в культурно-прихотливой чуткости восприятий они будут лишь парижски, пусть даже только бульварно, декоративны.

И над морем седым и пустынным,  
Приподнявшись лениво на локте,  
Посыпает толченым рубином  
Розоватые, длинные ногти.

Это положительно красиво, а Красивое, право, не так-то уж далеко и от Прекрасного. *Pulchrum non unum sed multa.*

Н. Гумилев умеет смотреть, если захочет, и говорить о том, что видит, если видение красиво.

Кто был бледный и красивый рыцарь,  
Что проехал на черном коне?  
И какая сказочная птица  
Кружилась над ним в вышине?

И какой печальный взгляд он бросил  
 На мое цветное окно,  
 И зачем мне сделался несносен  
 Мир родной и знакомый давно?  
 И зачем мой старший брат в испуге,  
 При дрожащем мерцаньи свечи,  
 Вынимал из погребов кольчуги  
 И натачивал колья и мечи?  
 И зачем сегодня в капелле  
 Все сходились, читали псалмы,  
 И монахи угрюмые пели  
 Заклинанья против мрака и тьмы?..  
 и т. д.

Тема ясна и хорошо развивается: это придушенное семейное несчастье — истеричка-дочь, «влюбленная в дьявола». Каданс выдержан: в нем чувствуются большие, но стертые ступени спиральной башенной лестницы, идут к теме и глухие ассонансы в чередовании с рифмами.

Хорошо и «Озеро Чад», история какой-то африканки, увеселяющей Марсель. Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и «изысканный жираф», жираф-то особенно, — но все чары африканки пропитаны трагедией. Н. Гумилев не прочь был бы сохранить за песнями об этой даме — их, то-есть песен, у него три — всю силу экзотической иронии, но голос на этот раз немножко изменил Анахарсису XX века, ему просто жаль дикарки, ему хочется плакать.

Робкий ум мой обессилен бедами,  
 Взор мой с каждым часом угасает.  
 Умереть? Но там, в полях неведомых,  
 Там мой муж, он ждет и не прощает.

Зеленая книжка отразила не только и с к а н и е к р а с о т ы , н о и к р а с о т у и с к а н и й. Это много. И я рад, что романтические цветы — деланные, потому что поэзия живых... умерла давно. И возродится ли?

Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений и лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты.

И. А.

PROF. A. BOGOLEPOFF. *Toward an American Orthodox Church*, Morehouse-Barlow Co. New York, 1964.

В своей книге проф. А. Боголепов хочет доказать безусловное право Русской Православной Церкви в Америке на автокефальное существование. Он подвергает вопрос всестороннему исследованию как с канонической, так и исторической точек зрения и приходит к выводам, которые не могут не быть интересны для православного населения Америки.

Вопрос об организации местной независимой церкви не встречается ни в католицизме, ни в протестантстве. С католической точки зрения, не может быть никаких местных церквей. Существует только единая вселенская церковь под главенством папы. Протестантство же не представляет единой церкви, а является агрегацией многих церквей и общин. Православная же церковь представляет единство во множестве братских церквей. Это единство заключается в единстве веры, церковного предания и признания того, что иерархия получила свой авторитет от апостолов. В отношении же администрации и внутренних дел братские церкви пользуются равным правом самоуправления. Высшим выражением церковного единства является Вселенский Собор.

Церковь, пользующаяся полным независимым управлением, имеющая право назначать собственных епископов и среди них главу местной церкви, называется автокефальной; если же глава местной церкви должен быть утвержден высшей властью автокефальной церкви, то церковь с таким ограниченным самоуправлением называется автономной.

Часть православной церкви, высказывающая требование автокефальности, должна быть для того достаточно зрелой: иметь достаточное число приходов и быть канонически способной назначать новых епископов. Наличие трех канонически назначенных епископов и происхождение от автокефальной церкви дает право на независимую церковную администрацию. Кормчая книга, опубликованная при патриархе Никоне, и в наше время патриарх Алексий прибавляют еще требование, чтобы новая церковь находилась в области, независимой от того государства, где находится церковь-мать.

Признание высшим авторитетом автокефального положения представляет заключительный акт в установлении новой независимой церкви. Во время вселенских соборов все новые церкви признавались самими соборами. С десятого же по двадцатое столетие церковная практика знала два метода признания новых церквей: 1) признание церковью-матерью; 2) признание вселенского патриарха.

Система признания новых церквей вселенским патриархом в эту эпоху совпадала с признанием церковью-матерью. В противополож-

ность практике вселенских соборов древние патриархаты — александрийский, антиохийский и иерусалимский — не пользовались правом признания новых церквей, принадлежавших исключительно константинопольскому патриарху. Но основание такого права было не каноническим, а покоилось на преимуществах, дарованных сперва византийскими императорами, а затем турецким султаном, который провозгласил константинопольского патриарха главой всех христиан оттоманской империи.

К началу двадцатого столетия существовало 10 местных православных церквей, которые начали проявлять собственную волю; происходили разногласия между константинопольской и другими церквями, и постепенно установилась практика, что признание новой церкви должно совершаться всеми автокефальными церквями вместе.

До первой мировой войны русское архиепископство Алеутских островов и Северной Америки было единственной ветвью православной церкви в Америке, но после войны, в середине 20 столетия, в Соединенных Штатах были уже епархии пяти патриархов. Среди этих новых самоуправляющихся церквей две особенно важны: Русская православная церковь за границей и Русская православная церковь в Америке.

Русская православная церковь за границей была основана на соборе епископов-эмигрантов в городе Карловцы в 1921 году. Считая, что московский патриарх представляет церковь, лишенную свободы, собор в Карловцах постановил, что обязанностью епископов, которые не были заключены в тюрьму, было собраться вместе и создать высшую церковную администрацию, предназначенную существовать до восстановления нормальных условий социальной и церковной жизни в России. Эта новая организация должна объединить все русские епархии за границей и подчинить их своей юрисдикции. В то же время русская православная церковь за границей отступила от принципов Московского собора 1917-18 гг. и вернулась к церковной системе, существовавшей до 1917 г.; синод был восстановлен, как основной административный орган; собор всех епископов, рассматривался, как высшая церковная организация, но так как заседания собора происходят через определенные промежутки времени, а синод существует постоянно, то вся компетенция собора фактически перешла к синоду; отсюда русская православная церковь за границей получила название синодальной.

По мнению проф. А. Боголепова, Карловацкий собор не имел канонического права учреждать новую церковь. Каноны точно определяют, что право управлять церковью даруется не просто лицам в сане епископа, но только тем, которые назначены высшей церковной властью управлять определенной епархией. Среди же 15 епис-

копов, участвовавших в заседаниях Карловацкого собора в 1921 г., был только один правящий епископ, именно митрополит Евлогий, а остальные, покинувшие свои епархии в России, уже не являлись таковыми. К тому же, по мнению проф. А. Боголепова, не было нужды в установлении новой церкви за границей. Русские епархии Западной Европы, Дальнего Востока и Америки имели законно назначенную иерархию в лице митрополитов Евлогия и Платона. Последние участвовали в сессии Карловацкого собора только в стремлении координировать деятельность своих митрополий с другими епархиями русской церкви, не подчиненными друг другу. Они имели полное право отделиться от епископального синода, что они и сделали в 1926 году, когда Карловацкая группа проявила свое стремление подчинить своей юрисдикции все православные епархии за границей.

Русская православная церковь в Америке ведет свое происхождение от миссии русской православной церкви, прибывшей в Аляску в 1794 году. В ее каноническом положении следует различать два периода: первый — от прибытия миссии в Аляску до четвертого всеамериканского собора в Детройте в 1924 году, и второй — от 1924 г. до настоящего времени. В первый период русские приходы в Америке существовали как часть русской церкви. В течение второго периода архиепископство Северной Америки стало независимой местной церковью.

Вследствие разрыва нормальных отношений с Москвой во время революции, северо-американская епархия, обладающая всеми данными, необходимыми для установления независимой автокефальной церкви, была вынуждена выносить самостоятельные постановления по вопросам внутренней жизни и на Детройтском соборе объявила себя независимой самоуправляющейся церковью, организованной на основе положений Московского собора 1917-18 гг. Свои постановления Детройтский собор считал временными до созыва русского собора, который должен был установить отношения между русской и американской церквями.

Когда стало известным, что русский церковный собор будет созван в 1945 году, американская митрополия послала на собор своих представителей, которые были уполномочены просить признания полной автономии американской церкви. Когда миссия американских делегатов окончилась неудачей, Кливлендский собор 1946 года обратился непосредственно к московскому патриарху с просьбой признать полную автономию американской митрополии, оставаясь ее духовным отцом. Но московский патриарх не счел возможным удовлетворить просьбу и рассматривал провозглашение независимости американской церкви как схизму.

Ответ на вопрос, имела ли американская церковь право про-

возглашать свою независимость, дается постановлением московского собора 1448 года. Если в 15 столетии русская церковь опасалась подчинения своей иерархии мусульманской власти султана, то русская церковь в Америке была еще более убеждена в опасности для ее иерархии и духовенства, заключающейся в контроле церковных органов безбожным советским правительством.

На Детройтском соборе американская митрополия осознала особенность своего положения и высокое значение своей миссии. Она решила продолжать дело, начатое русской церковью до коммунистической революции, и осуществить то, что не могло быть сделано в России, — именно воплотить в жизнь принципы соборности, установленные Московским собором 1917-18 гг., принципы сотрудничества епископов, духовенства и мирян, не признаваемые ни московским патриархом, ни синодальной церковью.

Свое исследование проф. А. Боголепов заканчивает так: — «Немало затруднений было встречено русской православной церковью в Америке при установлении Американской, местной, православной церкви на основе постановления Собора русской церкви в 1917-18 гг. Вопреки всем препятствиям, которые ставились, московским патриархом, подчиненным советской власти, и епископским синодом заграницей, она не отступила от последних свободных постановлений своей русской церкви-матери, но стала прямой наследницей ее канонической творческой работы.

*М. Поливанов*

**RUSSIA, MY NATIVE LAND**, by *GREGORY P. TSCHEBOTARIOFF*. McGraw-Hill Book Co., New York, 1964.

Г. П. Чеботарев — один уже из немногих русских ученых, успевших подготовиться к жизни до наступления критической эпохи русской истории, Первой Мировой войны и революции. До недавнего времени он занимал кафедру почвенной механики и оснований (фундаментов) в Принстонском университете, который покинул за достижением предельного возраста. Ныне он продолжает работать, как инженер-консультант и для правительства, и для больших корпораций.

Книга его воспоминаний — «Россия — родина моя» — как бы распадается на четыре части. Первая передает воспоминания о детстве и юности, с самых ранних лет (он родился в 1899 г.) до большевистского захвата власти; вторая посвящена первым годам после этого события и до эвакуации из Крыма, с армией генерала Врангеля; третья и четвертая — жизни в эмиграции, сначала в странах Ближнего Востока, а с 1936 г. в Соед. Штатах; четвертая — посещение СССР в 1959 г. в порядке культурного обмена. Краткий эпизод отражает хорошо известную русской эмиграции борьбу Чеботарева с «расчленителями» России, в особенности с инициаторами злосчастного американского закона, принятого американским кон-

грессом (без прений!) в июле 1959 г. Этот закон, как известно, обещает всем плененным народностям России (кроме великорусской!) сочувствие и помощь США в деле их освобождения. Приходится пожалеть, что руководители американской политики и вожди американского общественного мнения обратили мало внимания на доводы проф. Чеботарева.

Первая часть описывает личную жизнь автора на фоне общего состояния России до революции. Под конец Мировой войны, автор участвовал в ней в качестве молодого офицера в гвардейской казачьей батарее — его семья была казацкого происхождения. Но скоро всё рухнуло — гвардейские казаки наряду с другими воинскими частями покинули фронт. Автор провел краткое время в Петрограде, а затем пробрался на Дон, где продолжал воевать под командой атамана П. Н. Краснова, а затем А. П. Богаевского. Рассказываемое им очень интересно, и может быть полезно будущим историкам второго Смутного Времени.

Первые 16 лет эмигрантской жизни (1920—1936) Г. П. Чеботарев провел в скитаниях по разным странам. За это время ему удалось получить инженерное образование в высшем техническом училище в Шарлоттенбурге (в Берлине). Тут ему помогла высокая репутация русских технических школ: в 1918 г. Г. П. Чеботарев сдал вступительный экзамен в Институт Путей Сообщения в Петербурге. Позднее автор получил приглашение от одной американской фирмы начать работать с ними в качестве консультанта, а затем и от Принстонского университета; он это приглашение принял.

Под конец этого периода Чеботарев встретился с советскими инженерами его специальности и оценил высокий уровень их знаний в той сфере инженерного искусства, которой Чеботарев отдавал свои силы.

В последней части книги автор показывает как бы настроенность в пользу советских специалистов, в ущерб своим американским коллегам. Но не стоит нам придирается к мелким в сущности фактам, которые могут быть истолкованы так или иначе. Лучше вспомнить, что Чеботарев свою главу о посещении СССР заканчивает так: «Вернувшись в свое приемное отечество, я чувствовал себя счастливым, потому что нашел свою родину живой и даже очень, и оправившейся после тяжких потрясений». Опять таки с этой фразой можно и соглашаться и не соглашаться. Но никак нельзя приписывать Чеботареву какой-то скрытый прокоммунизм. Он, конечно, не коммунист и отлично знает (и выражает это знание во многих местах своей книги), что Россия оживает потому, что не умерло то духовное богатство, которое пытались было искоренить коммунисты.

*Н. С. Тимашев*

*MAURICE FRIEDBERG. RUSSIAN CLASSICS IN SOVIET JACKETS.* Columbia University Press, New York and London, 1963.

Морис Фридберг написал интересную и полезную книгу, обосновав в ней документально хорошо известный русскому зарубежному читателю факт, что в СССР тенденциозно издают, а иногда даже подвергают цензуре русских классиков и используют их для политической пропаганды. Фридберг прослеживает историю партийного контроля над изданием корифеев русской литературы, начиная с декрета 1918 г., объявлявшего государственную монополию на издание классиков. Этот декрет в свое время вызвал протест, подписанный М. Гершензоном, П. Сакулиным, В. Вересаевым и Ю. Готье, пророчески предостерегавшими от нежелательных посредников в общении между писателем и читателем... Чтобы не повторять бесконечно-однообразных отзывов советской критики, Фридберг решил подробно остановиться на официальном отношении только к «прогрессивному Некрасову», «нейтральному Лермонтову» и «реакционному Лескову». Он подчеркивает при этом, что более или менее однообразные ярлыки вроде «патриот», «гуманист», «реалист» приклеивались в разное время к совершенно разным писателям-классикам. В пятой и самой длинной главе своей книги, озаглавленной «Официальное отношение к русским классикам», Фридберг показывает, как менялась «политика» по отношению к классикам в 20-ых и 30-ых годах и в позднейшее время. Первоначальное отрицательное отношение к классикам в 20-ых годах («сбросить с корабля современности!») довольно скоро сменилось желанием «мобилизовать» их для нужд советского правительства. Функции их бывали при этом разные: пользуясь их авторитетом у читателей, большевики пытались «заклеймить» дореволюционную Россию, показать «преимущества» советского строя, вызвать... благодарность по отношению к советской власти и даже «придать больше веса советской политике» (стр. 113).

Постепенно, начиная с 30-ых годов, всё возрастающее количество русских больших писателей объявляются советской критикой «предшественниками советской мысли и идеологии». При помощи всякого рода натяжек, мифов и легенд оказывается, что и Чехов, и Гоголь, и Достоевский и Толстой были «звеньями в цепи русской прогрессивной традиции, получившей свое завершение с установлением советского режима». В число т. н. «прогрессивных» или по крайней мере «полупрогрессивных» иногда попадали при этом совершенно явные «реакционеры». А для того, чтобы подделка не была слишком очевидной, менее прогрессивных или даже откровенно «реакционных» писателей связывали с более «прогрессивными», указывая на их ранее неизвестные связи с декабристами, революционными де-

мократами и т. п. Хорошим примером мог бы тут послужить Гоголь, выступавший раньше всегда обязательно «в паре» с Белинским, а в последнее время впрягающийся в «тройку» рядом с Пушкиным и Лермонтовым, которых осеняет близость к декабристам. Эту близость Лермонтова к декабристам Фридберг подвергает сомнению, ссылаясь на советскую же критическую литературу, что вызвало не только гнев, а просто грубую брань советских критиков по адресу Фридберга. Советская критика вообще не поскупилась на самые резкие выпады против этой книги. Отзывы о ней были и в «Литературной Газете», и в «Коммунисте», и в «Неве» и в других органах сов. печати, что говорит только о том, что своей книгой Фридберг «попал в цель». Как принято в таких случаях, Фридберга обозвали и «бароном Мюнхгаузеном», и «лжецом» и, наконец, «потомком Фигляркина». Об этом можно было бы и не упоминать, если бы автор статьи в «Неве», В. Голант, подвергая критике методы работы Фридберга, не претендовал на «научность». Сам же он выхватывает цитаты из контекста, не указывает, что они неполные и при помощи такого «монтажа» пытается доказать, что Фридберг «знает толк в фокусах». Кроме того, Голант прибегает и еще к одному, давно испытанному средству (о котором, кстати, упоминает в своей книге и Фридберг): он сопоставляет два высказывания Фридберга о Лермонтове (на стр. 122 и 164) и находит в них вопиющее противоречие только потому, что без всяких оговорок отождествляет самого Лермонтова с его героями и художественными образами.

Всё это не значит, конечно, что в прекрасной книге Фридберга нет некоторых неточностей. Вряд ли стоило, например, доказывать укорененность традиции пьянства в России по праздничным дням ссылкой на... гоголевского Петровича. Слова «скучно на этом свете, господа», принадлежат не Ивану Ивановичу, а рассказчику. В дореволюционной русской литературе были известны не два, как пишет Фридберг, а по крайней мере три поэтических перепева «Памятника» Горация (один принадлежит Ломоносову). Но всё это мелочи. Небольшие недостатки книги искупаются серьезными ее достоинствами, одно из которых состоит в том, что автор пользовался в большинстве случаев источниками, а не информацией из вторых и третьих рук, как это теперь нередко встречаешь. Очень интересны и приложения к книге с статистическими данными о выпуске книг в России до революции и после революции. Из них видно, — что подчеркивает Фридберг в своем предисловии, — что колоссальная книжная продукция, которой так гордятся большевики, вовсе не является их исключительной заслугой, т. к. она была подготовлена необычайными достижениями в этой области дореволюционной России, стоявшей на втором месте по выпуску книг в мире. (Общее количество их равня-

лось числу книг, печатавшихся Англией, Францией и США вместе взятыми).

Книга Фридберга должна заинтересовать всех, кто хочет знать о настоящем положении вещей в области литературы и культуры в СССР. То, что она привлекла внимание советских критиков может служить ей хорошей рекомендацией.

*Зоя Юрьева*

### О ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

Еще в 1960 году выдающийся французский социалист Андрэ Филипп в своей книге «За человеческий социализм» писал: «Никто так не похож на крупного американского бизнесмена, как директор крупного советского завода... Везде директора образуют высший социальный слой, который пополняется путем кооптации; обладая экономической властью, они все больше становятся государством... То, что разделяет теперь людей, это не эксплуатация, вытекавшая прежде из частной собственности на орудия производства, а чувство угнетения и отчуждения личной свободы и достоинства, порождаемое необходимостью подчиняться приказам директорского аппарата. Несмотря на весь теперешний экономический прогресс, решения принимаются меньшинством.

Это меньшинство навязывает свою волю массам, обреченным пассивно исполнять эту волю и лишенным всякой инициативы и ответственности. В этом отношении положение рабочего на национализированном государственном предприятии ничем не отличается от положения рабочего на частно-капиталистическом предприятии. В этих условиях только поиски экономической и социальной демократии могут объединить всех служащих и рабочих, то есть огромное большинство населения, и позволить им разбить эту новую форму правления».

Эти идеи Андрэ Филиппа во Франции близки многим. Не так давно обратила на себя внимание книга Франсуа Блок-Лэнэ «К реформе предприятия».\* Появление ее вызвало во Франции широкую дискуссию. Франсуа Блок-Лэнэ — выдающийся экономист и юрист. Во время последней войны он был участником движения сопротивления, после войны занимал крупный пост в казначействе и принимал участие в разработке и осуществлении французского плана.

---

\* F. Bloch-Lainé. Pour une réforme de l'entreprise. Aux Editions du Seuil. Paris. 1963.

В своей книге Блок-Лэнэ утверждает, что теперешняя организация управления предприятиями является пережитком прошлого. «Но, — говорит он, — национализация предприятий и переход их к государству не разрешит вопроса о демократии на предприятии. Так же, как в государстве, на предприятии есть правительство (директора) и управляемые (служащие и рабочие). Индустриальная демократия так же, как политическая демократия, требует, чтобы неизбежные трения между правительством и управляемыми разрешались бы справедливо, но без нарушения правильной работы предприятия».

Кто бы ни управлял предприятием, — говорит дальше Блок-Лэнэ, — проблема отношений между управляющими и управляемыми ставится совершенно одинаково. Для того, чтобы удовлетворительно разрешить эти отношения, недостаточно поставить государство на место акционеров. Изменения, которые необходимо произвести, не зависят от того, кому принадлежат орудия производства. В социалистических странах, где было полностью произведено обобществление орудий производства, может быть, исчезли противоречия между имущими и неимущими, но противоречия между теми, кто принимает решения и отдает приказания, и теми, кто исполняет приказания, остаются. Эти противоречия неизбежны при всяком коллективном производстве. Какая бы ни была система — капиталистическая или социалистическая, — служащие всегда чувствуют, что дирекция их эксплуатирует и подавляет.

Дело в том, — поясняет Блок-Лэнэ, — что директора предприятий — одинаково, как капиталистических, так и обобществленных — всегда склонны преувеличивать свою власть. Эта тенденция к абсолютизму так же присуща промышленному обществу, как и политическому. В демократии эта тенденция сдерживается правом управляемых критиковать и контролировать действия правительства. Такое же право должно принадлежать рабочим и служащим предприятия по отношению к действиям дирекции.

В демократии, — продолжает Блок Лэнэ, — это право ограничивает всемогущество правительства, но не мешает ему проявлять инициативу и решительность, не отменяет единства командования и личной ответственности. Это равновесие между властью правительства принимать решения и правом критики и контроля со стороны оппозиции является основным демократическим принципом, проверенным на опыте. Правда, это может привести к некоторому ослаблению действенности мероприятий власти. Но это ослабление с лихвой вознаграждается устранением опасности тех безответственных диктаторских решений, которые так часто приводят к катастрофам.

Этот же демократический принцип должен применяться и на предприятиях. Так же, как в политической демократии, рабочие и служащие предприятий должны иметь возможность через своих свободно избранных представителей осуществлять критику и контроль действий дирекции.

Вот почему, пишет Блок-Лэнз, — независимо от того, принадлежит ли предприятие частным лицам или государству, служащие и рабочие этого предприятия стремятся к одному и тому же. Первое: добиться наилучших условий работы и справедливой зарплаты. Второе: участвовать в управлении предприятием и в обсуждении всех важных решений. Другими словами, они хотят знать, хорошо ли ведется предприятие, с которым связана их жизнь, и занимают ли они в этом предприятии положение, соответствующее их квалификации.

«Экономическая свобода и свобода политическая, — говорит Блок-Лэнз, — неосуществимы одна без другой. Там, где рабочие экономически порабощены, не может быть подлинной политической свободы. Но если мы уничтожим экономическое порабощение ценой установления политического порабощения, то можно ли это будет назвать удовлетворительным решением? Для того, чтобы сохранить одновременно обе свободы — и экономическую и политическую, — необходимо, чтобы в экономической жизни оставались неприкосновенными силы оппозиции и множественность центров, принимающих решения. В демократии государство не должно иметь монопольной власти над людьми и вещами».

Конечно, — продолжает Блок-Лэнз, — полное отделение экономики от политики — это иллюзия. Но должно быть два аппарата управления: политический и хозяйственный. Когда, как в Советском Союзе, смешивают эти два аппарата, руководящие государственные органы получают монопольную власть, что, конечно, неблагоприятно для развития свобод и прав личности. По самой своей природе государственный аппарат основан на едином источнике власти. Наоборот, экономический аппарат допускает плюралистичность. Деятели этого аппарата могут принадлежать к различным секторам хозяйства — частному, государственному, смешанному.

Это многообразие экономической власти не только терпимо, — пишет Блок-Лэнз, — но является условием, без которого нет свободы. Если все силы, определяющие существование человека, подчинены одной и той же власти, тирания неизбежна. Именно это происходит при диктатуре политики над экономикой. Причем нарушается не только человеческая свобода, но и развитие хозяйства. Успешная деятельность экономического аппарата невозможна при тотальной централизации решений и ответственности. Центральные

органы большого коллектива неспособны правильно и быстро разбираться в многообразии условий на местах.

На это могут возразить, — заключает Блок-Лэнэ, — что децентрализация решений достижима путем простой децентрализации власти. Именно в этом направлении были произведены реформы в Югославии. Для избежания крайностей этатизма одновременно и местные органы власти и предприятия получили известную автономию. Но поскольку в этом случае оставался всё-таки только один источник власти, этот плюрализм оказался иллюзорным и не дал ожидаемых результатов. *В. В.*

*G. FISHER. SCIENCE AND POLITICS; THE NEW SOCIOLOGY IN THE SOVIET UNION. Ithaca, N. Y. Cornell University. 1964.*

В первой главе своей книги Г. Фишер пишет: «Сейчас советская наука признала автономию новой области знания, которая до недавнего времени в Советском Союзе почти не существовала. Эта область знания — социология. Правда, положение ее, как полноправного члена в содружестве наук еще далеко не ясно».

Профессор Фишер отмечает, что только ближайшее будущее покажет, в какой мере научно обоснованной окажется современная социология в Советском Союзе. Однако значение самого факта признания ее как экспериментальной науки автор считает положительным. Профессор Фишер не первый в Америке ученый, отметивший развитие новой социологии в Советском Союзе. Он ссылается на таких американских социологов как Роберт Мертон (из Колумбийского университета) и Генри Риккен. Эти два исследователя впервые ознакомились с положением социологии в Советском Союзе в 61-ом году. Фишер цитирует такое заключение из их доклада:

«Мы склонны верить, что исследования эмпирического характера (то-есть чисто статистические исследования) начали уже проводиться в Советском Союзе. Поэтому надо ждать, что, по крайней мере в методах этих исследований, будет наблюдаться всё большее сходство между работами проводимыми в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки».

Профессор Фишер отмечает, что хотя со времени доклада Мертона не произошло значительных сдвигов в этом направлении, тем не менее процесс некой «кристаллизации», согласно Фишеру, происходил в трех направлениях: во-первых, стало яснее самое представление «социологии»; во-вторых, увеличился рост числа научных сотрудников и организаций, вовлеченных в процесс исследований. И «наконец, — как пишет Фишер, — сейчас значительно больше материалов для того, чтобы ответить на основной вопрос: почему

и в каком смысле социология в Советском Союзе — это в основном социология труда?»

В связи с вопросом о том, что понимают под социологией советские исследователи, профессор Фишер цитирует доклад Осипова-Иовцука на Пятом Всемирном Съезде Социологов в 62-ом году в Вашингтоне: — «Конкретные социальные исследования — это основа научной социологии. Они должны служить исходным пунктом и материалом для дальнейших научных обобщений...»

Профессор Фишер приводит аналогичное место из постановления Академии наук СССР, принятого в октябре 62-го года, где тоже говорится о необходимости применения в гуманитарных науках методов точного научного исследования. Особенно методов математики, кибернетики, статистики. Касаясь вопроса об отношении «кристаллизующейся» в настоящее время социологической науки к политическим установкам, профессор Фишер говорит: «Цели и рамки научных исследований будут диктоваться политикой. Но методы подбора фактических данных и анализ обработанных фактов — будут соответствовать канонам науки».

Профессор Фишер считает, что только будущее покажет, могут ли быть достигнуты при таком положении вещей серьезные научные результаты.

Среди практических исследований, проведенных под эгидой Института Философии Академии Наук, Фишер отмечает такие. Горьковский проект, то-есть проводимый в городе Горьком, проект массового опроса горьковских рабочих и их семей. Там, в частности, были собраны данные, среди двух с половиной тысяч человек, о распределении трудового и свободного времени, проведены и демографические исследования группы в восемь-десять тысяч человек. В сотрудничестве с Молдавской Академией наук был проведен проект обследования крупной группы сельского населения Молдавской Автономной Республики. Там же были собраны данные о труде и быте населения. Профессор Фишер перечисляет выдающихся ученых, работающих сейчас в области социологических исследований.

В целом книга профессора Фишера дает фактическую информацию о попытках новых социологических исследований в Советском Союзе. Но попытки эти продолжались недолго. Так, совсем недавно директор института философии АН СССР Ф. Константинов и кандидат философских наук В. Келде в статье «Исторический материализм — марксистская социология» («Коммунист» № 1, 1965 г.) уже утверждают, что нельзя отрывать в советских условиях социологию от исторического материализма, что не следует создавать отдельную социологическую науку.

Утверждения Ф. Константинова и В. Келле наносят удар по чаяниям группы советских философов и социологов, которые за последние годы стремились создать в Советском Союзе такую социологию, которая не зависела бы от догм исторического материализма, а была бы более похожа на западную социологию. Б.

#### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый г. редактор,

Я внимательно прочитал в № 77 «Нового Журнала» рецензию на мою книгу «Жизнь Ленина», написанную Д. Шубом, автором биографии Ленина (1948 г.). Рецензия его, в общем, отрицательна. Конечно, Д. Шуб пишет: «Оценка Фишером Ленина, как теоретика и политического вождя, убедительна. Его критический анализ последних двух теоретических книг Ленина, «Империализм, как высшая стадия капитализма» и «Государство и революция» — интересен, и его окончательный приговор ленинизму и коммунистическому режиму тоже правильный и вполне справедливый».

Но всё-таки в общем рецензия Д. Шуба неблагоприятна и резка. Д. Шуб находит много «грубых ошибок» у меня и приводит, например, одну из них: я назвал вел. кн. Николая Николаевича «братом царя» (Николая Второго). Я жил 14 лет в Советском Союзе и уже 40 лет общаюсь с русскими людьми, и как Д. Шуб сам говорит, читал всё, что Ленин говорил и писал в годы революции, и еще очень многое о самом Ленине. Следовательно, мне должно быть известно, что человек, который зовется Николай Николаевич, не может быть братом человека, который зовется Николай Александрович. Я благодарен Д. Шубу за указание на эту «ошибку», но я считаю, что это не ошибка, а описка. Уверяю вас, что нет серьезной книги, особенно размером в 700 страниц, как моя, где не было бы нескольких таких описок. Между прочим, у Д. Шуба в его рецензии есть две описки: он пишет, что я не упомянул в своей книге, во-первых, Лаврова, во-вторых — Михайловского. Лавров упомянут на стр. 75, а Михайловский — на стр. 27. Обе фамилии находятся в указателе имен в конце книги. Могу добавить еще одну свою «ошибку»: я писал, что Фердинанд Лассаль помог созданию социал-демократической партии Германии в 1869 году, в то время, как Лассаль умер в 1864 г. Должно быть, конечно, в 1863 г.

Большинство других, так называемых ошибок, не ошибки, а расхождения во мнениях между мной и Д. Шубом, и иногда эти расхождения показывают, что Д. Шуб плохо понимает мою мысль. Он пишет, например, что я рассказываю о бунтах Стеньки Разина и Пугачева, «что, конечно, к Ленину вряд ли имеет какое-нибудь отношение», но не упоминаю о декабристах. Думаю, что тут Д. Шуб обнаружил себя

плохим историком: бунты Разина и Пугачева научили русских марксистов, что крестьянин может жечь и убивать, но не сделать настоящую революцию. Это уже имеет очень близкое отношение к Ленину.

Упреки Д. Шуба, что я не упоминаю о декабристах или о Стокгольмском съезде партии РСДРП в 1906 году и о первой Государственной Думе, я тоже считаю несущественными. Читатель, который потрудится прочесть мою книгу, увидит, что для изображения характера и эволюции Ленина не нужно было писать подробно о каждом съезде РСДРП и о каждой Государственной Думе. Я не писал всестороннюю историю русского революционного движения до 1917 года.

Моя задача состояла в том, чтобы от начала его жизни до ноября 1917 года, дать читателю отношение Ленина к различным политическим проблемам и философским идеям, а также к разным людям, как в личной, так и в общественной жизни, и затем — начиная с 7 ноября 1917 г. до января 1924 г. — писать историю советской России, поставив в центр фигуру Ленина. В то же время, в виду того, что невозможно писать об одном лидере без того, чтобы не писать о его окружении, я дал галерею портретов его соратников: Троцкого, Сталина, Чичерина, Радека, Иоффе и др.

Насколько Д. Шуб мало понимает мою цель и историю вообще, доказывается его заявлением, что «Фишер посвятил целых 60-70 страниц описанию мирной конференции, состоявшейся в первые месяцы большевицкого переворота в Брест-Литовске, в то время как Ленин на этой конференции ни разу не присутствовал...» Это просто смешно! Правда, Ленин не присутствовал в Брест-Литовске, но дело шло о жизни и смерти революции и Ленин ежедневно следил за ходом мирной конференции, давал указания, получал донесения, и — что даже важнее — живо участвовал в прениях ЦК партии и на съезде партии, и на съезде Советов, где вопрос о заключении мира с немцами горячо обсуждался. Может быть для Д. Шуба это не стоит 60-70 страниц, но я считаю, что Брест-Литовская конференция и партийная дискуссия вокруг нее — большая глава в истории большевицкой революции.

Скажу еще об одном: в своей «Жизни Ленина» я пишу: «Нет доказательств, что Ленин был последователем Ткачева...» Д. Шуб перечисляет ряд авторитетов, которые утверждали, что «Ленин в своей тактике был под большим влиянием Ткачева и Нечаева». Среди тех, кого Д. Шуб упоминает — проф. М. Карпович, почтенный основатель вашего журнала. Я внимательно прочел его статью о Ленине и Ткачеве и ссылаюсь на нее на стр. 40 моей книги. Из этой статьи не видно, что Ленин был последователем Ткачева и Нечаева. Я доказываю, что у Ленина были очень развиты черты терроризма. Но то, что он это взял от Ткачева или Нечаева — не доказано.

С уважением,

*Луи Фишер*

## ОТВЕТ Д. ШУБА

В своей рецензии на книгу Луи Фишера о Ленине я писал, что это «наиболее подробная биография Ленина» и указал на большие достоинства ее, но я не мог не указать и на ее недостатки, на обилие ошибок в ней. Пусть название вел. кн. Николая Николаевича братом царя — описка. Но я ведь привел ряд грубых ошибок, о которых Фишер не может сказать, что это описки. О них Фишер умалчивает. Зато он находит в моей рецензии «две описки». Я писал, что он, рассказывая о русском народничестве даже не упомянул о Лаврове и Михайловском, Фишер же говорит, что Лавров упомянут на стр. 75, а Михайловский — на стр. 27. Как же он упоминает на стр. 27 о Михайловском? Что Ленин в 1894 г. «выпустил гектографированный памфлет против народников, особенно против Михайловского». А на стр. 75 он рассказывает, что Инесса Арманд, близкая приятельница Ленина «в 1898 году, будучи на даче в Крыму, прочитала там книгу П. Л. Лаврова, выдающегося идеолога русского народничества». Это всё, что Фишер в своей «исчерпывающей» биографии Ленина пишет о двух выдающихся русских мыслителях-народниках, с которыми Ленин так страстно боролся.

В рецензии я писал, что Фишер в своей книге рассказывает о бунтах Стеньки Разина и Пугачева, которые к Ленину никакого отношения не имели, и не единым словом не упомянул ни о декабристах, ни о влиянии на русскую интеллигенцию Герцена и Чернышевского, ни о знаменитом «хождении в народ», ни о деятельности партий «Земля и Воля» и «Народная Воля». И даже о социал-демократическом движении, в котором Ленин принимал деятельное участие, он пишет очень мало.

Фишер отвечает, что я «плохо понимаю его мысль»: бунты Стеньки Разина и Пугачева, оказывается, «научили русских марксистов, что крестьянин может только жечь и убивать, но не сделать настоящую революцию». Но странно, ни в первых марксистских произведениях Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия», ни в «Критических заметках» П. Б. Струве, ни в произведениях других выдающихся русских марксистов, легальных и нелегальных, эти бунты даже не упоминаются. И даже Ленин считал предшественниками социал-демократов в России землевольцев и народовольцев, о которых Фишер почти ничего не пишет.

Если бы Фишер поставил себе целью дать психологический портрет Ленина, то он, конечно, не должен был бы рассказывать о съездах РСДРП, где Ленин играл большую роль или об отношении Ленина к Первой Государственной Думе. Но книга Фишера — это ведь *биография* Ленина, а Ленин вошел в историю как создатель большевист-

ской партии, как вождь большевистской революции, как коммунистический диктатор России. Поэтому для действительного понимания большевизма необходимо прежде всего знать его историю. А в истории большевизма 4-ый Стокгольмский и 5-ый Лондонский съезды РСДРП играли огромную роль. Для характеристики Ленина, крайне важно знать и об отношении Ленина к Первой Государственной Думе. Именно, Ленин первый начал кампанию бойкота выборов в Думу. После открытия Думы между Плехановым и Лениным шла отчаянная борьба по вопросу — надо ли рабочим и социалистам активно поддержать требование Думы об ответственном министерстве (как это рекомендовал Плеханов) или же бороться против «конституционных иллюзий» и «разоблачать контр-революционность либерального большинства Думы» (как это делал Ленин).

О съездах партии, Советов и о заседаниях Цека, где обсуждался вопрос о заключении Брест-Литовского мира, конечно, необходимо было писать. Но кому нужно подробное описание заседаний самой Брест-Литовской конференции, на которой Ленин ни разу не присутствовал? Этой конференции Фишер посвятил десятки страниц, а вот разгону Всероссийского Учредительного Собрания, который сыграл роковую роль в истории России, он посвятил три-четыре странички. Большевистскому массовому террору и роли Ленина в нем — немногим больше, а Коминтерну, созданному Лениным и разрушительной деятельности Коминтерна во всех странах по подрыву демократических учреждений и того меньше.

Фишер, однако, упорно воюет за свои ошибки. Он не хочет признать, что ошибся, утверждая в своей книге, что «нет доказательств, что Ленин был последователем Ткачева». Я назвал девять авторитетных авторов, большевиков и антибольшевиков, которые утверждают, что Ткачев имел большое влияние на Ленина. Восемь из них писали об этом в русских изданиях. Только профессор М. М. Карпович писал об этом в американском журнале. Фишер ссылается только на Карповича, остальных же авторов, писавших об этом по-русски, Фишер, повидимому, не читал. Но хотя Карпович писал не о Ленине, а о Ткачеве, заглавие его статьи — «Ткачев предшественник Ленина» — и в самой статье он несколько раз говорит: «...и тут Ленин буквально повторяет Ткачева и т. д.». Еще в своей брошюре «Что делать?» в 1902 году Ленин писал: «Подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством 'устрашающего' и действительно устрашавшего террора — попытка захватить власть — была величественна». Кроме того, мы имеем свидетельство В. Бонч-Бруевича, долголетнего соратника Ленина, об отношении Ленина к Ткачеву. В статье «Ленин о художественной литературе», в первом номере московского журнала «Тридцать дней» за 1934-ый год, Бонч-

Бруевич писал: «Чернышевский — особенно был близок Владимиру Ильичу... Вслед за Чернышевским Владимир Ильич придавал *очень большое значение Ткачеву, которого он предлагал всем и каждому читать, изучать*». В другой статье Бонч-Бруевич писал, что еще в 1903-04 г.г. в Женеве «Владимир Ильич тщательным образом прочитывал и просматривал всю старую революционную литературу, обратил особое внимание на Ткачева, говоря, что этот писатель несомненно был ближе других к нашей точке зрения, нам очень хотелось собрать всё то, что Ткачев писал в легальной прессе. Мы поручили Куклину пересмотреть различные журналы 70-ых годов для отыскания всех произведений Ткачева, собирали эти статьи и приносили Владимиру Ильичу. Владимир Ильич не только сам читал произведения Ткачева, но рекомендовал и всем нам познакомиться с богатой литературой этого оригинального писателя». (Бонч-Бруевич. Избр. статьи, т. 2. Изд. Акад. Наук СССР, Москва, 1961, стр. 314-315).

Д. Шуб

---

#### ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 77 «Н. Ж.» надо сделать следующие исправления:

В статье Г. В. Вернадского «П. Н. Милюков и месторазвитие русского народа», на стр. 266, 6 строка сверху, должно быть: «бороться всем их единоплеменникам». В статье «Из записок Леонида Пастернака», на стр. 193, строка 9 снизу, должно быть: «Офорт, литография. И. И. Шишкин, С. И. Щукин». На стр. 211, строка 10 снизу, должно быть: «привлечь Ключевского к чтению лекций по русской истории, в Училище». В статье Д. Шуба «Три биографии Ленина», на стр. 245, строка 10 сверху, должно быть: «Ной Жордания, Николай Бердяев»; на стр. 288, строка 8 снизу, должно быть: «радикальных ежедневных газет и Союз Союзов сыграли».

В кн. 76 надо сделать такие исправления:

В воспоминаниях Г. Н. Кузнецовой, на стр. 152, строка 13 снизу, должно быть «25 октября». В статье А. А. Шика, на стр. 242, строка 11 снизу, должно быть: «Сачко Сенькович».

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ  
4-й ВЫПУСК АЛЬМАНАХА  
(1965 г.)

# ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

под редакцией

Р. Н. Гринберга

Стихи **И. Бродского**, **В. Вейдле**, **И. Елагина**, **О. Мандельштама**, **Б. Пастернака** (неизвестные наброски к фантазии «Поэма о ближнем»), **М. Русалкина**, **Е. Тагер**, **В. Ходасевича**, **И. Чиннова**.

Неизданные воспоминания: **А. Ахматовой** — о Мандельштаме; **С. Вермеля** — о Мейерхольде; **Г. Кузнецовой** — о Бунине; неопубликованный русский текст воспоминаний **А. Ахматовой** — о А. Модильяни; перепечатка отрывков автобиографии, «Младенчество», **В. Ходасевича**, не изданных в собраниях.

Статьи: **В. Вейдле** — О любви к стихам; **Ю. Иваск** — Парадоксы звукописи; **А. Лурье** — Феномен и ноумен в музыке; **Ю. Марголин** — К диалектике мифологического мышления; **Ф. Радле** — Ходасевич — поэт гротеска; **Ф. Степун** — Историко-софское и политическое миросозерцание А. Блока; **Е. Тагер** — Две записки; **Б. Филиппов** — Н. Клюев; **Н. Ульянов** — Шестая печать; **Л. Шестов** — Итоги и комментарии; **Н. Штильман** — Заметки об одном повторяющемся мотиве у Гоголя.

Письма **В. Д. Набокова** из Крестов к жене. 1908 г.

Стенографический отчет судебного процесса **И. Бродского**, происходившего в г. Ленинграде 18 февраля и 13 марта 1964 года.

В сборнике портреты **Б. Пастернака**, **А. Ахматовой** и **В. Мейерхольда**.

Цена сборника \$4.75  
Книготорговцам обычная скидка.

Заказы и деньги направлять по адресу издателя:

R. GRYNBERG, 304 West 75th St., New York, N. Y. 10023.

---

# “Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1965 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---